ЛИДИЯ СЕЙФУЛЛИНА

ПОВЕСТИ

ЛИДИЯ СЕЙФУЛЛИНА

ПОВЕСТИ

Художник
Ю. Пожарская

МОСКВА
«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»
1984

СОДЕРЖАНИЕ

Сейфуллина Л. Н.
С28 Повести/Послесл. В. Еремина.— М.: Сов. Россия, 1984.— 320 с.

В книгу вошли лучшне произведения писательннцы, в которых отражены трудные годы революцнонной борьбы в деревне. Повести эти прннесли Л. Сейфуллиной известность не только в нашей стране, но и за рубежом.

$С\frac{4702010200—183}{М\text{-}105(03)84}109—84$

Лндня Нколаевна Сейфуллина

ПОВЕСТИ

Редактор *Л. В. Сидорова.* Художественный редактор *Г. В. Шотина.* Технический редактор *И. И. Капитонова.* Корректоры *Т. В. Новикова, М. С. Никитина, Т. А. Лебедева, Н. В. Бокша*

ИБ № 3412

Сдано в набор 18.01.84. Подп. в печ. 29.04.84. А05836. Формат 84×108/32. Бумага типографская № 2. Гарнитура литературная. Печать высоная. Усл. п. л. 16,80. Усл. кр.-отт. 17,01. Уч.-изд. л. 20,38. Тираж 400 000 экз. Заказ № 2646. Цена 1 р. 90 к. Изд. инд. ЛХ-387.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советсиая Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и кннжной торговли,
Мосива, проезд Сапунова, 13/15.

Днапозитивы изготовлены на книжной фабрике № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и иннжной торговли, г. Электросталь. Отпечатаио с фотополимерных форм «Целлофот» на Калининсиом ордена Трудового Красного Знамени полиграфиомбинате детской литературы им. 50-летия СССР, Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР, Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.

изнь большая. Надо томы писать о ней. А кругом бурлит. Некогда долго писать и рассказывать. Лучше отрывки.

1

Кругом тьма. Одинокий фонарь светит только себе. Унылая перебранка собак. Тоскливо брести по ветхому тротуару. По дороге иногда проедет кто-нибудь. И снова безлюдье. Люди затаились в домах. Крепко закрыты ставни. Блеснет глазок в ставнях. Напомнит тюрьму. И станет тесно на широкой улице. Чудится за каждым углом кто-то враждебный.

До центра надо пройти еще две мертвых площади.

Шел большой, сутулый, смотрел исподлобья и думал: «Проклятая страна. Застыла в молчанье. Ну, кричи. Кто отзовется? Чем проймешь? Привыкли. Видали всякую боль. Сюда скакала ее Россия. Убийца принес кандалы. Бродяга — звериную тоску о воле. Крестный путь за землей проторили переселенцы. Звенели цепями каторжники. Всех приняла и сдавила».

Из-за угла неожиданно вывернулся человек. Белая заячья шапка. Оба вздрогнули. Поспешно метнулись в разные стороны.

Усмехнулся нехотя и горько.

— Да-с... Человек человеку волк. Волков, пожалуй, здесь меньше боятся...

Сквозь закрытый ставень прорвались звуки рояля. Наивная и робкая песенка. В ней задрожала струна человеческой тоски. Захотелось уюта, семьи. Старался думать о своей работе. В ссылке начал писать о Сибири. Мелькали в мозгу цифры и факты. Но только мелькали. Побеждало другое. Нежданно ожившее юное волненье. Может, действует весна? Еще робкая чужестранка здесь. Но уже побеждает. Сдаются снега. И в воздухе томленье.

— У-у-у...— загудел автомобиль. Блеснули огни. Хмуро покосился городовой.

«Ага! Вот и центр. Уголок Европы. Магазины, городовые и люди на улице. Часовые у генерал-губернатора. Все, как в больших городах».

Невольно ускорил шаги. Увидал театр впереди. Кривил насмешливо губы.

«На кой черт иду? Воспоминания детства, изволите ли видеть».

А сердце билось неровно, и хотелось скорее дойти. Там, в театре, Анюта. Ее в детстве знал. Когда еще был маленьким. Играли вместе. Вспоминался большой двор. Ребятишки... Точно мать позвала: «Сыночек, Володенька».

Вот и театр.

Долго путался в темных коридорах. Нерешительно вошел в ложу. Внизу была мертвая черная пасть. Завтра оживет. Загорится огнями. Сегодня жизнь теплится только на сцене. Там слабый свет, но двигаются и говорят. Привычно обращают лица и слова к пустому провалу. Слова умирают в пустоте.

Опять путался в коридорах. Нашел маленькую дверцу и попал за кулисы.

Из открытых дверей актерского фойе донесся обрывок анекдота:

— Война, так для всех война.

Заглушенный похотливый смех. У кулисы стройная девушка шепталась с военным. Тоненькая, нежная, синеглазая. Лицо совсем юное, а у губ уже черточки. Неслышно на мягких подошвах подлетел маленький человек.

— Вам что угодно? Посторонним сюда нельзя.

— Я бы хотел увидеть Гремину.

— Гремину? Ага? Анна Николаевна!

Из фойе вышла тонкая, длинная. Шла стремительно, точно летела.

— Что? Начинать, Костя?

Говорит лениво низким, грубоватым голосом.

— Нет, спрашивают вас.

Повернула голову, на лицо упал свет. Губы — точно усмешка застыла в них. А черные глаза тоскуют и смотрят широко. Будто спрашивают.

Подошла и смотрит молча.

— Не узнаете меня? Володя... Жили на одном дворе.

— Володя!

Порывисто протянула руки. Он пожал их обе крепко. Глаза у ней заискрились, сразу стало милым лицо.

— Какими судьбами? Как нашли?

— Случайно... Видите ли...

— Подождите немного. Звонят. Надо кончать репетицию. Я скоро. Посидите здесь... Да, неожиданно... Привет из далекого!

Провела большой тонкой рукой по лицу. Вспомнил — так делала маленькая Анютка в волнении. Сразу стала родной. Улыбнулся невольно нежно. Смотрел, как играет. Двигается легко. С особой угловатой грацией. Запоминается. Не сливается с другими.

Засмотрелся на режиссера. Сидит огромной неподвижной глыбой. Лицо сонное, с отвисшей нижней губой. Дышит тяжело и жадно курит. Смотрит в одну точку из-под припухших век и думает о чем-то.

Высокий актер с длинным лицом цедит нехотя, сквозь зубы. Очевидно, премьер. Складки на брюках заглажены. В движениях подражает аристократам из романов. Годов не определить. Под глазами мешки. Лицо старчески дрябло. Фигура юная. Молоденький актер отвечает ему громко, с пафосом. Лицо от волнения в красных пятнах. Старается, поглядывая искоса на режиссера. Тот невозмутимо дымит папиросой, не замечает стараний.

Синеглазая девушка была простая и легкая, когда говорила с военным. Теперь голос деревянный, движения связаны. Плохая актриса.

А чудны́е люди! Всю жизнь говорят чужие слова. И думают, верно, по привычке чужими мыслями. Лучший у них тот, кто меньше всего похож на себя. Не жалко им своего.

Репетиция кончилась. Анюта на ходу бросила:

— Сейчас оденусь.

Дорогой говорили мало. Больше взглядывали друг на друга и улыбались. Много лет прошло с последнего свиданья. Встретились на жизненном перекрестке и не знали, о чем говорить.

Жила Анна в дорогой гостинице.

В номере неловкость усилилась. Раздражали кресла, занавески и запах духов. Все чужое и враждебное. Угрюмо смотрел исподлобья и ерошил волосы над высоким, с залысинами лбом.

Анна двигалась легко из одной комнаты в другую. Говорила незначительные фразы, ставила на стол тарелочки и чашки.

Неприязненно подумал:

«Две комнаты в гостинице. Богато живет».

А оиа остановнлась и в раздумье провела рукой по лнцу. Сиова ближе стала.

— Ну-с... Будет вам суетнться. Сядьте, поговорнм.

Послушио опустилась в кресло рядом и улыбиулась:

— Все вспомниаю. Знаете, детство как будто тяжелое у обоих было, а вот сейчас хорошнм кажется.

Усмехнулся:

— Да. Прошлое всегда так вспоминаешь. Краски потускиели, углы сгладнлнсь, н все кажется мнрным,— это хорошо. Легче думать о нем. А думать ниогда ие мешает. Корни вспоминать надо. Жнзиь иногда отрывает от инх и пересажнвает в чужую почву.

— Вы обо мне? Я — да, оторвалась от корней. А это плохо?

— Не знаю. Не жил в теплнце.

Сухо прозвучал ответ. Это рассерднло Аииу. Встала и заметалась по комнате.

— Разве иепременно иадо любнть свое? А еслн свон были только обнды, прнинжеиность, грязь... Я люблю маму-кухарку, но ненавнжу господскую кухню. Неиавижу себя, Анютку иа побегушках... Я не забыла любви к иашнм играм. Вас ие забыла. Сохраннла любовь к ребятншкам. Ах, как хорошо было играть в чнжнк с мальчншками. Вы колотнлн меня... Но это я забыла... Право же, забыла... Сейчас нечаянно вспомннла.

Засмеялась молодо и звонко.

На смех ие ответнл. Смотрел спокойно, исподлобья:

— А вот это не иадо было забывать. Колотушкн человек должеи помиить. Вы забыли иеиавнсть. Лучше было бы забыть любовь.

Встретнлнсь глаза. Поспешно отвела свон.

Стало скучно. А он иеожиданно улыбиулся. Все лнцо осветилось. Стало юным и нежным.

— Я прнвязаниостей детства тоже ие забыл. Мие очень хотелось увидеть вас.

— Я мало нзменилась. Была длнnная н несуразиая, такой и осталась. Правда?

Покоробило иеиужное, грубоватое кокетство. Но сдержался.

— Хуже. Потускнелн глаза. Но все-такн прежнее осталось. Сколько лет я не видел вас?

— О, много! Было мие двенадцать лет, а теперь двадцать пять.

— Да. Миого.

— Мама умерла, когда я еще учнлась. Все говорнла,

когда отдали господа в гимназию: «Потерпи, доченька, в люди выйдешь». И не дождалась.

Вздохнула тихонько и сжалась. Вспомнила сгорбленную, старенькую, угодливую. Все в глаза смотрела господам. Анютку била, когда не угождала им. А ночью целовала и плакала: «Дочушка моя, ягодка...» Эх, мама!

Закипела старая, замолкшая обида. Обучили с единственной дочкой. Скучно было одной в гимназию ходить. А когда закричали про Анютку: «Талант, талант!» — обиделись.

— Как вы на сцену попали?

— Ну, обычно. Выдвинулась на гимназических вечерах, потом любительские спектакли со студентами.

— Что же, сейчас любите сцену?

— Что вы! Это было только у восемнадцатилетней... Когда пришла на подмостки. А после семи лет — благодарю покорно. Первое — положенье люблю. Хорошо платят. И успех люблю. А сцену? У меня нет даже любимых ролей. Охотно страдаю в драме. В фарсах раздеваюсь не менее охотно. Не все ли равно, чем прельщать?

Подумал:

«Удивительное сочетанье чистоты и цинизма. В конечном, это — цельность. Это у нее от простонародья. Наше».

И взглянул любовно и внимательно.

А она присела и заговорила доверчиво:

— Актеры... Вы знаете... Мы ведь все какие-то выпитые... Своего нет ничего. Есть в душе какая-то чувствительная пластинка. Она одна и живет. Заденут — расцветаем чужим цветом. Иногда посмотрю-посмотрю на нашего конченого человека... режиссера... Видели? Или на Ниночку синеглазую. Служит искусству. Бездарна и бесхарактерна. Ей за партой бы сидеть, а она кутит с офицерьем, успех создает. Вот погляжу, и душа чешется...

— Вы образно говорите.

Смеется и ласкает взглядом.

Зазвонил на столе телефон. Взяла трубку. Лицо стало капризным и пошлым.

— Ну, я. Что надо? Напрасно заезжали. Я же сказала: сегодня не надо! Каприз? Хочу покапризничать. До завтра... Ни в коем случае... Я обозлюсь, Георгий Павлович. Что? Ну, разумеется. Завтра, завтра... Хорошо... Спасибо... Покойной ночи.

Ворвался кто-то чужой. И, кажется, властный. Стало неприятно.

Но опять заговорила образно, иногда грубо и искренно. Стала спрашивать.

— А вы? Ведь я иичего ие зиаю о вас.

Помолчал и заговорил спокойио:

— Ну, что ж. Был подмастерьем у отца, потом работал иа заводе, потом упорио учился. Это было трудио. Приходилось урывками учиться. Потом тюрьма и ссылка. Сейчас в ссылке в малеиьком сибирском городишке. Служу у иотариуса. Сюда приехал под его покровительством. Надо достать киижи иекоторые и иструмеиты. Я ие только писарь, ио и слесарь. Вот и все.

Подумала:

«Все у иего прямо, ровио и... скучио...»

Сиова подиялась порывисто.

— Давайте ужииать.

Выпили по бокалу виина. Аииа опять оживилась. Забрасывала вопросами, ласкала взглядом. И ои как будто оттаял. Говорил подробиее о ссылке, о глухом, угрюмом захолустье, об уходящих годах. Голос был ие так уж ровеи. Прорывалась злоба. Захватил чувствительиую актерскую пластиику — зацвела чужим цветом:

«Какой ои прямой и сильиый. И голос красивый...»

Как и когда сели близко? Почему обиял крепко?

Уже деиь гляиул в окио, когда собрался уходить. Пожалела, что отдериула штору. Диевиой свет беспощадеи. Ночь показалась лживой. Устало смотрела иа иего. Отмечала потертое узкое платье. Неприятеи был вид расстегиутого ворота чериой рубашки.

«Белье иесвежее».

Привлек к себе и прижал крепко. Но ей был уж чужим. Досадливо подумала:

«Ну, кто обиимает за шею? Неудобио и иекрасиво».

А у иего в глазах была иежиость. Но говорил отрывисто и властио:

— Завтра возьму тебя отсюда. Уедем вместе. Все это иадо к черту! Из теплицы иа волю иадо.

Усмехиулась.

— Ты сам-то в ссылке.

— И все-таки больше иа воле, чем ты. Здесь тебя обстаиовка закабалит. Сама ие уйдешь потом. Ну, разговаривать иечего. Жеиа да боится своего мужа. До завтра.

Поцеловал и точио оттолкиул. Оторвал от себя. Одевался долго. Уходить, видио, ие хотелось.

А оиа уж злилась:

«Ну, что миет шапку в руках? Ногти иа пальцах короткие, точио обкусаиы».

Но вслух только сказала:

— Ну, ндн, мнлый. Я устала.

— Прощай, Аииушка. Отдохни... Моя Аииушка!..

В два последиих слова вложил всю силу иерастрачениой нежности.

Поцеловал еще раз крепко и властно. И пошел. Пальтишко потертое, сутулый. Да, диевиой свет беспощадеи. На пороге оглянулся. Но взгляд у иего прекрасиый: иапряжеииый, зоркий. Упрямый взгляд человека. Кивиул головой н вышел.

Спать, спать, спать...

В полдеиь разбуднл Анну стук в дверь. Негромкий, но настойчивый.

Встрепеиулась, и краска залила лнцо и уши.

Сразу вспомнила вчерашиее.

«А, это стучит Георгнй». Вчера ие позволила прнехать. Слушался. Крепко связала за год блнзостн. Была в ней не утраченная еще совсем простонародная цельиость. Пожившего барина влекла.

Вскочила стремительио н открыла дверь. Прнжаться к нему было прнятно. Овеяло ароматом дорогих сигар н аиглийских духов. У этого белосиежиое белье н холеная чнстая кожа. Но отстраннлась быстро.

Почувствовал холодок н объятнй ие затяиул.

— Одевайся, Нетти. Сегодия хочу серьезио поговорить с тобой.

— Это ново. Ведь сам же подчеркивал: говорят только с мужчииами. Жеищин ласкают н балуют.

Спешила, ио одевалась долго. Упорио мылась. Хотела что-то сиять с себя.

Когда сидели за кофе, заговорил:

— Мие придется уехать на прииска иемедлеиио. Вызывают. Дела.

Закурнл, ие коичив кофе. Зиачнт, взволнован.

Стало холодно. Не узиал ли? Не осилила скверной боязии. Ои дал покойную, удобиую жизнь. Уж привыкла к богатству. Но даже для себя закрыла подкладку испуга. Показалось: боится потерять Георгня.

Встал прямой н ловкий. Двигается по комиате иеслышио. Щурнл светлые глаза и медлил.

Следила за ним ласковым взглядом. Седеет, но нзящеи н легок.

— Итак, Нетти, поговорим.

Подошел блнзко н руку с отшлифоваииымн иогтямн на стол положил. Была она красивая и нежная.

Взгляиула — н сиова лицо зарделось. Вспомнилнсь Володнны рукн. Сжалась от мыслн:

«Как я могла... Развратиая тварь. Ведь Георгия люблю».

— Я снльно привязался к тебе, Нетти. Больше, чем следует. Жеищнна мешает дельцам. Но рассуждеииями уж не поможешь. Вчера ты капрнзиичала и не захотела меия видеть. И, представь, я волновался, как юиоша. Целый день тосковал. Ночью долго не мог уснуть н решнл... Я не могу с тобой расстаться... Поедешь ты со миой на прииска? Обсуднм серьезио. Степь, глушь. Ближайшнй город — сквериый, маленькнй городишко — в ста верстах. Комфортом я тебя окружу, но многого тебе придется лншнться. На сцену я тебя ие пущу больше. Даже когда возможно будет уехать с прииска. Уважеине свое я тебе даю и постараюсь, чтобы другие считались с иим, но узакоинть иаш союз ие смогу. По крайней мере, скоро это сделать иельзя. У меия есть и жеиа, н детн. Имени отнять у ннх ие хочу.

— Брось, Георгий. Я знаю, ты чтншь святость брачных обязательств.

— Неттн, я...

— Да мне это иравнтся в тебе. Брось. Я поеду с тобой всюду... Ты... Ну, я тоже люблю тебя.

Прнльиула нежно.

Высокая, а стала как девочка. Смотрит по-детски. Просительно.

Порозовела вся.

— Детка моя... Я старше тебя н боялся... Ты ведь прямая н строптнвая. Милая!

Повторяла упорно:

— Я люблю тебя...

Лгалн большне черные глаза. Лгалн губы. Но сама в этот миг верила своей лжн, как правде.

Посаднл иа колени.

— Ну, вот. Теперь я спокоен. У нас с тобой большой стаж. Блнзкн целый год и ие соскучнлнсь... Так ты ие бонשься продолжеиья?

— Да иет! Нет!

— Я завтра уеду. Тебя сразу не возьму с собой. Прндется ехать на лошадях. Уж начинается весна,— ехать опасно и скверно. Ты прнедешь с первым пароходом.

— Нет, иет! Я не могу остаться!..

Почему заплакала нскреиио н горько? Сама уднвнлась.

Но слез сдержать ие могла. Слезами отмывались тайная боль, стыд и обнда иа себя. То, что бременем осталось от прошедшей ночн...

Георгнй подавал воду, нежно ласкал, успокаивал. Лнцо у него было радостное. Правда, вндно, прнвязался. Перестала плакать. Вернулись к столу.

В дверь застучалн неровно и сильно.

Георгнй удивленно поднял брови.

— Кто это не умеет стучать?

— Войдите!

Вошел Володя. Увидел чужого, улыбка погасла. Сдвинул бровн н неловко остановился у порога. Всего секунду длилось молчание. Но, казалось, даже мебель враждебно подчеркнула, как неуместно его появление.

Георгнй вежливо встал. Думал, глядя на одежду, проситель. Но взгляд исподлобья разуверил. Смотрел властно н прнстально.

Оправилась Анна.

— А-а-а... Здравствуйте. Георгий Павлович, это мой друг детства. Пожалуйста, раздевайтесь и знакомьтесь сами. Хотите кофе?

Смотрит прямо, а лицо покраснело неровными пятнами. Пристальным взглядом ответил Володя.

А она опять:

— Хотите кофе?

— Нет. Я хотел поговорить с вами, но могу зайти в другой раз.

Встала, высокая, и бросила, как вызов:

— К сожалению, я скоро уезжаю. Если хотите, поговорим сейчас. Раздевайтесь и проходите.

— Куда?

Отчеканил и ждет ответа, как хозяин! Наглец! Георгий никогда не был так груб.

— Мы уезжаем на прииска. Далеко. Когда мы едем, Георгий Павлович?

Георгию сцена показалась нелепой, но остался верен себе. Не выразил, спокойный н воспитанный, ни удивления, ни негодования:

— Когда вы будете готовы, Нетти.

У Володи лицо было тоже спокойно. Но глаза загорелись, и губы дрогнули.

— Ну, так с неделю еще пробудем здесь. Если сегодня вы не располагаете временем, заходите как-нибудь.

Плюнула в душу и смотрит ясными глазами.

Владимир побелел. Проснулась плебейская целость души. Захотелось взять затейливо причесанную головку и ударить о пол. Но гордость помогла. Сдержался, сжался в комок.

Скользнул по обоим взглядом.

Не спеша повернулся, строгий и сильный, и вышел. Дверью даже не хлопнул.

Анна засмеялась. Окрепла дерзость.

— Ну? Смешное явление?

— Странное. Я бы тебя заподозрил, но... я хочу уважать тебя...

Провела рукой по лицу и взглянула смело, прямо в глаза.

— Не буду оправдываться.

— И не надо. Я верю тебе. Ну-с, вернемся к кофе.

Жила день, как всегда. Но ночью проснулась с тяжелой тоской. Георгий рядом дышал ровно. Боялась разбудить его. А хотелось прижаться к нему и заплакать. Казалось, он бы защитил. Помог спрятаться от темного, тяжелого. Тот ушел... Ну и хорошо.

Отчего же боль?..

Была большая звериная злоба. Не рассказал бы, как изжил. Долго метался по улицам. Но показалось: все встречные знают и радуются обиде. Каждый напоминал:

«Раскис... Излился... Продажной девке открыл заветное...»

Хотелось рычать.

«Как смотрел этот барин... Точно дарил своим присутствием... Как он смел так смотреть!.. Избить бы его... Растоптать!.. Чтобы жалким стало гордое лицо».

Душил гнев. Все гадки... Омерзительна жизнь.

В комнате стало легче. Можно спрятаться от людей. Молчат и не лгут эти грязные стены, жесткая кровать, ветхий стол. Видом своим говорят:

«Мы мертвые».

А люди... Блеснут глазами, сольются в ласке, а потом харкнут...

Схватил обеими руками голову, сжал коленями локти и крепко стиснул зубы.

Кричал там, внутри, глубоко. В безмолвной человеческой боли был этот крик. Не думал, что затихнет она.

Но затихла. Вырвано.

Ночью уж был спокоен. Снова сталь в серых глазах и гладок высокий с залысинами лоб.

Со стороны смотрел на все.

Думал:

«Оторвалась Анютка от своей почвы. Причудливо, на свой

барский вкус подрезали, подстригли ее. Нечего думать о ней. Приживется в том лагере».

Расстегнул воротник рубашки, погладил грудь, вздохнул два раза освобожденно и сильно.

И ладно.

В мозгу опять цифры и факты.

II

Две жизни были на прииске: дневная и ночная.

Рано утром гудела фабрика. Степь далеко разносила угрозу гудка. На рев его выползали люди. В семейных казармах, низких и длинных, раздавался плач детей и визгливая перебранка женщин.

А поодаль от прииска просыпался киргизский аул. Выскакивали голые черные ребятишки и начинали дикий гортанный концерт. Киргизки, с подоткнутыми под бешмет рубахами, показывали грязные, замызганные штаны. Они шли за водой и к табуну. Киргизы в шапках и меховых штанах ковыляли к фабрике. И каждый день повторял свое удивление рыжий штейгер. Он кричал киргизам от конторы:

— Не сопрели еще, кривоногие? На фабрике и без одежы сдохнешь от жару. Косоглазые черти!

Степенно отвечал аксакал (старший):

— Зачим дохнишь? Лучча жар не прамет.

И бесстрастно выжидал, когда ответный хохот смолкнет.

Из казарм с лопатами, ломами, кайлами, веревками шли рабочие. Потом делились. Шахтеры шли к шахтам, заводские — на фабрику. С шумом подъезжали приисковые таратайки. Тянулись из близкой деревни мужики на телегах. Фабрика давала последний исступленный вопль. Гудок смолкал. Начиналось гуденье машин и грохот бегунов. Они дробили камень, спрятавший золото, журчала вода в длинных желобах. Она уносила разжеванный бегунами камень. Оставляла драгоценные крупинки. Вдалеке динамит рвал каменную груду. Эхо повторяло стон взрывов. Все сливалось в сатанинскую музыку. Она была грозна и величава. Как проклятье. Жалки были только музыканты.

— Дунька, паскуда, чо сяла? Берись за тачку... Думашь, золото высидишь?

— А твое како дело? Ночь с англичаном проблудила, так в хозява вышла. Я те зенки-то поскребу, надзирашь больно!

— Ах, язви те в душу, стерва присковая!

Визжали дико и надрывно. Наступала Дунька. Белокурые волосы сбились войлоком.

Синие глаза под воспаленными красными веками стали от злости темными. На лице жирным потом размазана грязь. Как ведьма.

Федосья не сдавала. Лила потоком циничную брань и рвалась в потасовку.

Но увидел уже надсмотрщик. Грозит обеим кулаком.

Проворно обе взялись за тачку.

У дверей фабрики скулит, как собака, молодой киргиз. Хватается за живот и молит звериным воем своего дикого бога. Вчера надорвался. Сегодня пришел работать, не смог.

— У-у-й, бульна... У-у-у... Шипка бульна... Алла, уй-уй-уй...

Равнодушно проходят мимо, грязные, со своими ношами. Эка невидаль! Всем «бульна».

Жалеет один старый Куржан. В оборванном длинном халате стоит и качает зеленой чалмой.

— Джяман... Джяман урус (плохие русские)...

Он рассказал бы, что степь эта киргизская.

Отдали свою степь за деньги. Русский денег дал мало. Пошли к нему работать. И за работу киргизам дает меньше. Русским — больше. Кочевать нельзя. Надо работать. Скот дохнет. Урус в степь болезни принес. Нужду принес. Хотел бы рассказать Куржан, да слушать некому.

— Ваньша, на праздник живем! Спиртоноса видал.

Стоит у телеги, кашляет с хрипом, а меж кашлем смеется. Не то старик, не то молодой.

Другой с испугом оглядывается.

— Иди к месту, чертово хайло! В рот те дышло... Услышит. Живьем слопат.

— А лихоманка его задери. Што вяжется? Не ему достанется.

— И не тебе. Айда, пошевеливай задом-от.

Сплюнул, пошел. А на ходу прошептал:

— На приисковый праздник с водкой будем, Ваньша!

У Ваньши глаза загорелись. Поредела застывшая в них тоска. Камнем давит второй год. Зародилась, как увидал первый раз обоз с золотом. Маленький воз — и куча солдат. Увозили под охраной в банк. Хозяин стоял, как царь.

А они все жались кучкой сзади.

И схватило сердце у Ивана.

— Кабы мне... Так же бы глядел, как хозяин.

С тех пор тяжелее стало жить. Навалилась злоба. У других ее тоже видел. Но таил и ее про себя. Жили как скован-

ные. Один день в году только взыгрывала буйная жизнь. На приисковый праздник. Боялся его хозяин. Вызывал из города охрану. В этот день почти всегда добывали спирт. И разливалось по прииску страшное веселье. Спиртоносам грозила беда. Их расстреливали на месте. Только поймать удавалось редко. Каждый год кто-нибудь кончал праздник в могиле. Но все-таки был праздник.

Длинный рыжий Киркальди и стройный Вульмер шли к «мокрой» шахте. Смеялись и лопотали что-то по-своему.

Старик Пахом у телеги провожал их взглядом.

— Ишь аглицкие черти. Жадные! Господа, а каку рань встают. Золото караулют.

В «мокрой» шахте всегда по пояс стояла вода. Студеная, подземная. Выкачивали все время. А она все прибывала. Работали в кожаной одежде, но стыли. Смена была частая, вылезали мокрые, продрогшие. Отряхивались, как выкупанные собаки. Грелись на солнышке. Другие стояли в воде. Долбили упорную стену. Потом менялись. Ныли кости. Утром возвращались опять. Хорошо платили за эту шахту. Богатая жила в ней шла.

Завидев англичан, Егор ворчал:

— Прутся, лешаки... Своей земли мало. В чужу приехали наживать!

А старшой заступался:

— Ну-ну, богова дубина! Свое дело знай.

Егор огрызался:

— Знам не менее твово, подлизун хозяйский.

А сам настораживался. Угодливо улыбался. Сдавать стал. Кабы не выгнали. Киркальди, подходя, кричал:

— Я лезть буду. Кому со мной начинать должно?

От спусков в другие шахты доносились брань и разговоры. Целый день кипела работа под землей и на земле. Только когда гудок кричал о перерыве на обед, просыпался хозяйский дом. Но до ночи казался безлюдным. Большой и нарядный, лучше конторы, он стоял особняком. Окнами глядел на степь и холмы, еще не взрытые. Отвернулся от картины труда.

Два года назад оттуда выходил ежедневно хозяин. Закрывал чистую барскую одежду рабочей и смотрел. Горел хищный огонек в глазах. До всего сам доходил. Лазал в «мокрую». Зверем глядел на всех. Золото съело жалость. Осматривал рабочих, когда из шахты выходили. Самородки спрятанные находил. Тогда бил сам. Жестоко и долго. Откуда сила бралась в барских руках. Больше попадались киргизы. Прятали в штанах и думали, как дети,— не найдет. Цеплялись за свое добро. В «мокрой» и смерть уцепи-

лась за него... Еще не скосила, но дышит близко. Второй год гниют легкие. Лечился за границей, лечился у русских докторов. Когда отпускало, лез опять в шахты. Теперь не встает. Оттого и безлюдным кажется дом.

Анна проснулась давно, но вставать не хочется. Во сне бывает хорошо. Прижалась к подушке и ждет. Ветерок шевельнул кружево занавесок. И замер. Испугался могильной тишины.

— Сейчас закашляет, ненавистный!.. Как долго борется со смертью... Эх, была бы посмелей, убежала бы...

А кашель точно подстерег мечту. Начался упорный, надрывный. Кажется, стену пробьет. Там сиделка двинула стулом, что-то говорит. А он все кашляет. Кончил. Теперь упал на подушки, весь синий. А сиделка смотрит — в кружке кровь и гной.

«Ах, начался день!»

В стену стучат. Зовет. Вцепилась пальцами в волосы, бьется от беззвучного плача. Опять стучат!..

Накинула дорогой капот, пригладила волосы. Постучала в стену.

— Иду!

В столовой часы тиканьем подчеркивают тишину. Позвонила.

— Настя, молоко барину.

Настя кивнула кружевной наколкой и понеслась через коридор в кухню. Там старая Митревна в одиночестве пила кофе.

— Молоко давай скорей. Проснулся!

— Поспеешь. Не помер еще?

— Нет. Однако нонче помрет. Сиделка сказывала: обиратся. Ну-ка я хлебну кофейку-то.

Проворно присела и налила чашку. Митревна неторопливо встала, перекрестилась на образ и двинулась к плите.

— Сам-от сдохнет, а она куда пойдет?

Настя фыркнула.

— Другого найдет. С одним без закону жила, ишшо пристроится. Таковска!

— Капиталы-то, однако, все ухайдакал. Ей не оставит. В конторе сказывали, англичане купили прииск-то. Без малого мильен дают... А только-только рассчитаться за машины да с рабочими. Вам, говорят, холуям, и то поди заплатить нечем будет.

— Ну, Митревна, нам хватит. Да и без хозяев не будем. Звони, звони... Не сдохнешь, дождешься...

Звонок трещал, в ушах звенело.

— Бери поднос-от. Готово.
— А наша-то боится приисковых. Никуда не выходит!
— Эдаки-то, однако, из нашего брата каки выдут — хуже чураются. Знат, блудня, как от нашей жизни сердце-то кипит.
Из коридора Анна закричала:
— Настя!
— Иду!
— Что же вы, Настя? Знаете, как раздражается барин.
— Ну, у меня не десять рук. Дали бы расчет — богу бы свечку запалила. У благородных барынь служила — угождала. Пустите-ка с дороги!
Затряслись губы от обиды. Остановилась в коридоре. Дух перевести.
Грубит ей Настя. В одну бессонную ночь жизнь ей свою рассказала. Теперь насмехается. Кто выпил душу у холопов? А сама знает — кто. Поэтому и терпит.
Опять воет проклятая фабрика. Обед кончился. Вздрогнула и сжалась.
В душе боязнь. Живут там за конторой, в земляных казармах. Боится их Анна. Когда проходила с мужем нарядная, чистая, те женщины глазами провожали. Не забыла их глаз! На женщин не похожи. Грязные, по-звериному грубые. Эти «в люди не вышли»...
Не заметила, как прошла в столовую и остановилась.
— Вас барин требуют.
— Иду, Настя.
У дверей уже встречает злой, сверлящий взгляд. Подошла, наклонилась поцеловать. Отстранил рукой. Рука упала на одеяло. Задышал чаще. Уж двигаться не может.
Где затаилась у него жизнь? В глазах, верно. Жгут и одни говорят.
Спросила:
— Ну, как ты себя чувствуешь сегодня?
Хрипит шепотом. Уж горло поражено.
— Лучше. Не надейся, встану.
Метнулись к нему молящие огромные глаза. Какая-то прозрачная она стала. И робкая. Пронизала душу жалость.
— Я пошутил. Хорошо спала?
— Да, но беспокоилась за тебя. Марья Алексеевна, вы теперь отдохните. Я буду здесь.
Пожилая спокойная женщина в белом отозвалась от столика с лекарствами:
— Уж после доктора. Сейчас придет.
Опять хрипит:

— Уйдите пока. С женой поговорю.

Не спеша, мягко ступая, вышла.

«Пойдет на кухню судачить. Как все они ненавидят меня!» — заныло опять у Анны.

— К вечеру все привезли?

— Да. Но я боюсь, милый... тебе вредны эти сборища. Кричат, шумят.

— Ты глупа, как корова.

Болезнь сняла весь внешний лоск. Обнажила пустоту его. Только на прииске узнала, что скрывал он.

— Я не могу не устраивать приемов, пока не закреплена продажа прииска. О моем крахе уже говорят. Понимаешь ты, бестолочь, тратами я заставлю молчать кредиторов.

— Но ведь синдикат уже решил... Покупают. Только пустые формальности.

Сказала и испугалась. Так дико блеснули у него глаза. Но смягчился опять:

— Не решили. Кварц исследуют. Золото эти два года не шло.

Обожгло воспоминание. Задвигался на постели, закашлял. Поставила поспешно кружку.

«Как картежник, живет азартом. Боится, что последняя карта будет бита. Неужели думает выжить?»

На прииске узнала настоящего Георгия. Под спокойной, холодной внешностью таил постоянный азарт. Жажду выигрыша. Власти золота. Себя не щадил. Всю жизнь одна цель: настоящее богатство. Когда не считают.

Откашлялся, отдохнул и опять хрипит:

— Не может быть, чтоб я не выздоровел. Один не выдержал, нужен синдикат. Я войду в него. Человек всегда добивается, чего хочет.

А противная, липкая испарина уже пропитала белье. Сморила усталость, закрыл глаза.

«Не умер? Нет. Дышит».

Жалко вдруг его стало.

Вот человеческая жизнь. Упал у цели. И обнажилась страшная, конечная пустота.

А он уже очнулся.

— На прииске не была?

Виновато поникла головой.

— Боюсь.

— Глупо! Там охрана! Все они в моей власти. Преступники, беспаспортные! Да и где скроются в степи.

— Нет, я не бунта боюсь. А так.

— Что так? Говори.

— Разве может человек терпеть? Золото в руках держат, а живут... Ты зиаешь, как живут... Я взглядов их боюсь.

Замолкла, повела глазами по комиате.

Захрипел раздражеиио, со свистом:

— Каждый имеет то, что заслужил. Оии рабы от рождеиия. Молчат, зиачит, могут терпеть... Дай воды, и будет. Всегда расстроишь меия.

Пришел доктор. У двери долго протирал очки. Потом тер одиу о другую ладоии. Когда иаклоиялся с Аииой иад лекарствами, услышала запах водки. Сегодия молчалив и сдержаи. А бывает груб. И его боится Аииа. И часто жалеет. Из ссыльиых, жеиат иа грубой кержачке. Несчастлив в семье. Посидел мииут десять и ушел. За иим выйти Аииа ие смела. Догадается Георгий, будет пытать. Но зиала: доктор в ее комиате оставит записочку. Так условились. Больиой дремал, просыпался, кашлял, ел, давясь, через силу, чуть ие каждые два часа. Говорила, помогала, а мысли плели свою сеть:

«Противеи. Почему ие брошу? Хочу пробыть в чистилище. Хоть этим оправдаться перед собой».

Вспомиила прежиюю Аииу. Разиуздаииую в словах, дерзкую иапускиым цииизмом, ио ядром хорошую. Падеиье было с Георгием. Не физическое. До иего зиала одиого. Случайиая близость. Ушла свободио и гордо держала голову. А вот с Георгием! Тут продалась. И в этом грех. За иего хочет искуплеиья и ие уходит теперь. За эти пять лет иа прииске выросла в душе какая-то затаеииая скорбь. Может, прииисковую, ие желая, впитала?

«А Володя?»

Сразу прилила краска к щекам. Загорелись даже уши. Может, из-за иего и жаждет искуплеиья. Первые годы с Георгием вспомиила, ио редко. Угарно было. Легко отогиать мысли. Кутежи, иаряды, всегда иа людях. Но совсем ие забывала. Больше ие измеияла Георгию. А вот год тому иазад... К чему это проклятое воспомииаиие? Написала ему в тот глухой городишко. Плакала иад письмом. Ждала ответа, как праздиика. Думала, иапишет трогательиое прощеиье. Написал: «Бросьте переписку. Напрасиые стараиья, наказаиы по заслугам». И все письмо. Ударил метко.

Перед вечером сказал Георгий, чтобы оиа ушла, отдохиула. У себя в комиате вместо записки увидела доктора.

— Третий раз захожу. Хорошо, что увидел. Георгий Павлович умрет сегодия или завтра. Будьте готовы.

Задрожала, побледиела, иоги подкосились.

Доктор подвииул кресло.

Взглянул удивленно. Обидело недоверие взгляда. Заплакала беспомощно, по-детски.

— Тише, услышит! Что вы? Выпейте воды.

Зажала рот платком, а слезы льются потоком.

— Что вы? Анна Николаевна! Ведь вы же знали. Я не думал. Ну, перестаньте.

— Сейчас, сейчас... это нервы... Смерти испугалась.

Злоба загорелась в красных от пьянства глазах.

— Нервы! Вот там нервов нет. Взгляните в казармы. Или в аул. Вы что теряете? Георгий Павлович вас обеспечит, получите свободу. Да не плачьте же. Эх, барынька! Ну, какие у вас страданья? Умрет — забудете. Вон там рабочего запороли. Спирт нашли. А баба осталась сам-шесть. А жрать нечего. Повыла да на работу пошла. Киргизка родить долго не могла, они ее за ноги к косякам дверей кибиточных привязали, а за руки давай трясти. Ну и затрясли. Ребенок мертвый, и сама сегодня умерла. А киргизята воют. Вот это трагедия. А у вас и кусать есть чего, и жить будете с людьми, не с дикарями.

Сразу замолчала. Почему-то особенно страшно про киргизку.

— Зверье! Настоящее зверье. Как поглядишь, так нервы забудешь.

Потирает ладони. Трясет головой. Смотрит по сторонам. Вынула из шкафика приготовленный спирт и подала.

Подняла заплаканные глаза. Улыбается. Точно прибитая.

«Фу ты, пропасть возьми этих баб!»

Кое-как откланялся, ушел.

Последний гудок. С фабрики тянутся. Ноет после работы тело. Опять ревут дети. Из труб тянет кизячный дым. Ест глаза. Скорее бы сон. Но молодость и здесь жива. Парочки в степи. Поет гармошка, и оскорбляет заснувшую степь дикая похабная песня.

У кибиток киргизин тянет свою монотонную и дикую, как его житье, песню.

А хозяйский дом засветился огнями. Началась другая — ночная жизнь. Из окон разносится далеко веселый смех. Нежно поют о красивой любви. Приехали женщины с соседнего прииска. Анна, нарядная, томная, забыла киргизку.

Читает гостям «По вечерам над ресторанами...».

И веселит уловленный шепот:

— Интересная женщина...

К больному заходили. Улыбается сквозь смертные тени на лице. Уходили быстро и забывали. Присылал раза три за Анной. Колол ревнивыми словами и отпускал.

За ужином пили искристое шампанское. Красный Вульмер, чокаясь, шептал:

— За русскую женщину... Анна Николаевна, как счастлив, кого вы любите...

Обдавала искрами глаз, смеялась. Потом пели опять. Рокотала рояль. Пьяные инженеры говорили о красивой страсти, а в темном коридоре грубо тискали Настю.

Киркальди пробрался в кухню и приставал к молоденькой Поле:

— Пола, Пола, пойдем гулять в пола...

И заливался довольным пьяным смехом.

Поля мыла посуду и пугливо косилась на него.

Разъезжались, когда гудок возвестил новый день. Ласкал утренний холодок. Пахло степью, но на нее не смотрел никто. Анну исступленно мучил ласками умирающий. Митревна, кряхтя, укладывалась спать и кого-то проклинала. Поля, сиделка и Настя допивали бокалы в столовой.

Настя докладывала:

— Наша-то, уж и паскуда! Муж не муж, а жила с им. А она — и глазами и боками... Тьфу!..

Сиделка зевнула и спокойно сказала:

— Сама така будешь около их... Вон Степанида научилась: по ночам инженеру голая воду носит. Так приучил.

Когда Анна пришла к себе, вдруг вспомнила киргизку. Охватила жуть. Потушила огонь, отдернула плотную ночную занавесь. В окно глянуло утро. Успокоил дневной свет. Легла и уснула.

А на фабрике снова начался стон, рев и жар...

Через день приехал нотариус. Потом с ним Анна ездила за двести верст в город. Закрепили продажу прииска.

В конце недели умер Георгий. Боролся отчаянно, злобно. Умер неожиданно тихо. Был кроток с утра.

Сказал ей перед смертью:

— Нетти, дай воды.

Выпил.

— Еще.

Так три стакана.

Потом попросил:

— Согрей кофе.

Возилась с машинкой. Слышала, вздохнул глубоко. Подошла, а он мертвый.

Постояла. Провела привычным движением руки по лицу.

— Ну, кончено. Как просто!

Денег осталось только на дорогу. Скорей отсюда!..

Когда уезжала, рабочие толпились у конторы. Бритый, розовый управляющий кричал:

— Синдикат купил... Синдикат... Ну, компания! Англичане и русские.

Егор степенно допрашивал:

— Из русских каки?

Управляющий обозлился:

— А тебе, сукин сын, не все равно? Царский придворный Воейков есть. Знакомый твой или родня?

Кругом загоготали. Егор смутился.

— Оно, однако, верно, хозяева будут. А каки, все едино.

Ваньша крикнул:

— Англичане или русские — один черт. Эх, жизня! — И сразу оборвал.

Увидел Анну в дорожном тарантасе. Остановилась проститься с управляющим. Управляющий пробрался сквозь толпу, поцеловал вежливо ручку. Кучеру приказал хорошенько барыню на пароход доставить и отошел. Киргиз-кучер замедлил, подбирая вожжи.

Ваньша подскочил к тарантасу.

— Прощай, барыня-сударыня!

Испуганно откинулась в угол.

— Да ты не бойся, не тронем. Добра от тебя не видали, да и зла тоже. Не робь, поезжай!..

А толпа галдела о новых хозяевах и радовалась одному нерабочему дню.

Тронули кони. Метнулись в глазах казармы, кучи эфелей у прииска.

Дальше, дальше! Мелькнул одинокий крест. Могила Гастингса. Умер на прииске от черной оспы. Рабочие поставили ему деревянный крест. На кресте кто-то жалостливый написал: «Здесь похоронили англиского анжинера Гостинса».

Последняя картина. Прощай, прииск!

III

Деревня все такая же, как и была. Срослась с землей и живет, темная и тяжелая. Но ворвалось в нее и новое. Белеют в грубых пальцах листки газет. Слышится не русская речь. Дивят крестьян военнопленные. Грешат с ними солдатки. На почте в очереди стоят мужики и бабы. Ждут, когда примут письма и посылки в чужую страну. Думают, сколько пришлось походить, пока написали адрес на непонятном языке. И от этого еще дальше и страшнее кажется чужбина, в ко-

торую пишут и шлют своим кровным письма. На улице по ночам частушку голосят одни женские голоса. Мужских не слышно. Взрослых парней почти не осталось. Голоса подростков тонут в визгливом женском хоре. Свадьбы «играют» редко и тихо. Под венцом с молодыми невестами стоят не юные, как бывало. Больше вдовцы и инвалиды.

Что-то треснуло в многолетнем укладе. Кряхтят старики. Снова за землю с детворой принялись. Старшие сыновья в жаркой пасти войны. Четвертый год крутит. Все сцепились. Весь мир закрутился. Перебросило чужаков сюда, русских — в другие царства.

Анну учительницей в это село кинуло перед самой войной. Да, «кинуло». Бросилась, как в монастырь на покаянье. В женской истерике.

Прощаясь с ней, Митревна вдруг расчувствовалась:

— Ну, што ж, уезжай. Не сладка твоя жизнь, птаха. Не по закону пошла — испоганишься! Кабы детная была али при работе какой... А так-то, на мужчинских хлебах, на забаву пойдешь... Выходи-ка взамуж. Да не за богача, за середнего. Штобы с мужем тяготу нести. Детки пойдут, заботы будут. Зато от скверны обмоешься. А так-то, в сытости, нужна ты кому, как сладкий пирожок к обеду. Есть — хорошо, а нет — и без него хлебушко-батюшко насытит.

Гладила Анну по голове шершавой рукой. Анна плакала от сладости бескорыстной ласки.

— А побелет голова да сгорбишься — кому будешь нужна? Задарма никто не пригрет. Капиталов не наживешь с ними. Не таковска. А привыкнешь в сытости, сама угла не заработашь. Так-то, милая. Нагляделась я на господ-от. Сверху-то мило, а внутре-то гнило. Ну, поезжай. Христос те спаси.

Бывает так. Простое слово вдруг осветит затаенное в человеческой душе. Осветило и Аннину боль. Ту, что зародилась на прииске. Потянуло к простым и мудрым.

Как приехала сюда, было плохо. Видом городская и повадкой чужая. В Россию не тянуло. Захотелось остаться здесь. Почему? Не рассказала бы. Может, и о Володе думала. Митревна и о нем ярко напомнила. Сибирские крестьяне суровы. На ласку не податливы. Туго пришлось. Но год за годом таял лед. Привыкли. Вместе с нарядным платьем износила многое. Стала грубее, но прямее и лучше. Уж не торчала клином в деревенской жизни. Иногда с буйной силой просыпалась тоска по городу. Хотелось яркого света, толпы, шума улиц. Услышать изысканную речь.

В маленькой келье чадил сальный светец. Для лампы ке-

роснну не было. За перегородкой тесно стояли неуклюжие длнниые парты... Скреблась в шкафу с учебннкамн мышь. Воздух был спертый. Форточек в деревне не любят. За сенямн в хозяйской половнне раздавался могучнй храп уставшнх за деиь людей. Но здесь было тихо. И гробом казалась деревня. Отгороднлась от города тайгой. Задавила людей ежедневным трудом. И жнвут в ией угрюмые, скупые на слова. Литература, иаука, искусство — там, за гранью. Здесь ие иужны. Родят, работают, умнрают н ннкуда не ходят из своего заколдованного круга. Земля задавнла. Жутко. Завыть хотелось вместе с собакой иа дворе.

Но проходнл деиь. Прнводил в школу разноголосых ребятишек. С нимн утоляла иесознанную жажду материнства. И затнхала тоска. Некогда было. Временами, особенно весиой, налетал дерзкий дух желаиия. Тело, знавшее ласкн, просило нх. Ходнла бледная, разбитая, с горящнмн глазамн и пересохшими губами. Квартириая хозяйка Иваиовна смотрела пристально н, поджимая губы, говорила:

— Кровь в тебе, баба, играет. Мужика надо. Дите иадо. Порожней бабе плохо ходить.

Откровенное определение жеищнны простой, как прнрода, отрезвляло.

Стыд зажигал румяиец на щеках.

А Ивановиа спокойно говорила:

— Тут уж мужнка по себе ие иайдешь. Наши на тебя ие польстятся. И мало нх осталось. Своих девок впрок солнм. А ты уж не молоденька. В твон годы я уж десять ребят отваляла.

Сжнмалась, бодрилась. По ночам писала Володе пнсьма. Утрами рвала н сжнгала нх.

На второй год стала прнвыкать. Гладко причесывала волосы с утра. Неделями иосила одно простороое темное платье. Полюбила пнмы и теплый платок. Забывала смотреться в зеркало. Беззлобно смотрела на огрубевшне рукн.

Были в селе и верхи. «Интеллигенция». Молодой поп с попадьей, лавочинк с лавочницей, холостой волостной пнсарь, выписывающнй «Родиıу» с прнложеинями, начальинк почтового отделения с иачальинцей и урядник с уряднницей. По воскресеньям они ходнли друг к другу на пирог. Вечерамн — на пельменн с самогоикой. Иногда жаловал к инм и волостиой старшнна. Раза два в месяц наезжал сам становой. Прнветили Анну. Матушка жаловалась:

— Опускаешься с этнми деревеискнми. Так, росомахой ходншь. В городе синематографы. А у нас у старшины только граммофон есть. Опять моды взять. Где их узнаешь? У писаря

в приложении к «Родине» достаточно интересные есть. А кто сошьет? Сама-то лепишь-лепишь, да и вылепишь: на парижску моду не похоже, и людям смехота. Псаломщица шьет на меня. Где ей! Живут как мужики. Совсем неинтеллигентная женщина.

Лавочница дергала носом, икала после сытного пирога и приговаривала:

— Поминат и поминат кто-то. Уж не ваш ли Афоня влюбился в меня?

Все смеялись. Всегда насмешит лавочница. Афоня — дурачок, в работниках у батюшки служил. Шутница.

Почтовый начальник, усатый, коренастый, басом докладывал новости из газет. Он просматривал все, получаемые на почте. Адресатам выдавал по расположению.

— В Ракитянку опять столичные газеты пришли. Незачем! Снеси-ка, Михеич, их батюшке. Читать не будет, так матушке на выкройку пригодится.

Начальница у него была маленькая, бледная. Урядница говорила про нее:

— Маленька, черненька да немудрященька.

В гостях она часто краснела, молча ела, что подавали, и вздрагивала, когда к ней обращались с вопросами.

Урядник с урядницей, оба толстые, большие, с одинаково грубыми голосами, казались одним существом, разделенным надвое. И говорили часто так: он начнет фразу, она кончит.

— В нашей волости...— забасит он.

— ...везде порядок, только в Ракитянке ссыльные мутят...— в тон ему закончит жена.

А писарь на вечерних собраниях перед пельменями играл на гитаре и пел: «Отойди, не гляди, скройся с глаз моих прочь...»

Косил глаза на Анну и хитро подмигивал.

Говорили всегда о том, что скоро разобьем немцев. О немецких зверствах. О деревенских новостях: какая солдатка от кого родила. Иногда — о Государственной думе. Но только мужчины. Женщины «презирали» политику. На именины или крестины наезжали гости из других сел или со станции. Тогда устраивали вечер. Тряслась мебель от тяжелого пляса. Нестройным хором пели: «Эй, баргузин, пошевеливай вал». А когда пьянел урядник — «Нагаечку» и «Укажи мне такую обитель». Рассказывали скоромные анекдоты. Ставни раскрывали любопытные и, приплюснутые носы, смотрели. Гости удалялись парочками в сенцы или во двор. Супруги перепутывали супругов. Но все обходилось без скандала.

Анне претили плоские шутки, жирная еда и противная самогонка. Но она все-таки ходила на эти собрания. Только раз в сенях ее грубо прижал писарь, а в «зале» она увидела скотски пьяного попа. Еле нашла свой платок и шубу. Убежала домой неверными шагами. На стук в окно ей открыла Ивановна. Жалея сладкий сон, она сердито ворчала:

— Добегаешься, гулена,— в подоле принесешь писаренка. Кто укрывать будет?

Анна заплакала. Ивановна смягчилась и вошла в ее каморку.

— Ну, ну... Чо заливаешься? Не укусила. Правду, жалеючи, сказала. Ишь самогонкой разит! Порядошны так не делают. А ты учительница. Ребятишки узнают — задражиют. Я все вижу, только молчу. За молодымн грех-от ходит.

Анна сквозь слезы проговорила:

— Все одна да одна. Скушно мне, Ивановна. И ничего я дурного не делаю.

— Пошто скушно? Вдовье дело, знаю, не сладкое. Терпи. Трудом да молитвой изгоняй. А с ими, лешаками, како веселье? Ты-то простота. Разглядела я тебя. А они-то замуторят, да и надсмеются. Не наш брат. Мы побьем, да пожалеем.

Долго в эту ночь проговорили две женщины. Ивановна забыла сон.

— Э-эх, милая. Трудно наше бабье дело. Крепись. Меня вон по шашнадцатому годочку взамуж отдали. Старик-от, он теперь на человека походить стал. А молодой-от был... Рыжай, веснатый, глупой. Только регочет. Вся деревня дураком звала. А злющий... Спаси, царица небесна! Как не по его — ножом пырнет. Чистый варнак. А родители-то не путем добро нажили. А вот за богатство-то и отдали. Сколько я слез-то пролила... И до старости сердце кипело. Не по духу был. И бил он меня, ягодка. Ух, бил! Раз я чижолая Фенькой ходила. Он с гумна приехал осенью. Я с обедом замешкалась. А он меня еще к корове позвал. Я вышла да у крыльца-то и остановилась. Он меня наземь, в лужу, да ногами-то в брюхо, в брюхо, а кулаками сверху дубит. Чуть отдышалась! Как не скинула — не знаю. Да Фенька-то хила родилась, мало помаялась и померла. Дак я как встала, в грязи вся, иду в избу, трясусь, думаю: зарежу ночью. А вот пятый десяток с ним бок о бок сплю. Не зарезала.

Анна с испугом взметнула глаза.

— Как же ты прожила с ним столько? Детей родила?..

— Прожила. И он-то привык. К старости лучше стал.

Теперь, вишь, я всем заправляю. Все девок носила. Он и злобился. Петеньку родила — обмягчел.

— А ты-то... Ты-то как? Никого не любила?

— Ну, ягодка, баба грехи свои иа том свете только скажет. Коль не поймают. Об этом чего баять. Дети пошли. В их утихомирилась. А теперь вот и Петеньку взяли. Федяйко-то малой еще. Девок выдала. Тоже в солдатках ходют. Ох, детки, детки. Плакать-то неколи, а сердце-то мое никому не видать. Да ладно, терплю. Только бы бог потрудил да помиловал.

— Как же можно так? Всю жизнь с ненавистью, с притворством!

— Ну, мы люди темные. Так бабе положено. Гляиь-ка, светат, никак? Ох, согрешила я с тобой! Пойду корову убирать. А ты иа часок приляг.

С тех пор не ходила Анна в гости. Сдружилась с Ивановной. Глубже вошла в деревенскую жизнь. Часто думала: «Мудрость или тупость в них? Сколько силы таит Ивановна! Десятки лет сжимать себя, прятать ненависть, добиваться укрощения зверя... Не понять мне их».

Вспомнилась Митревна. Сливалась с Ивановной в один образ. Совсем разные по складу характера, по условиям быта. Но в основе было общее. Одинаковое приятие жизни. И это общее было во всех крестьянских женщинах, каких видала. Затаила себя. Под внешней покорностью мужикам прятали бунт. Смелее были солдатки. Они больше походили на приисковых. Их боялась сначала. Но пришла раз солдатка Аксинья. Анна знала про нее от Ивановны. Торгует самогонкой. Гуляет с Францем, военнопленным. Сам становой ее отмечает.

Вошла, русая, статная. Глаза голубые и дерзкие.

— Здрасьте. Как принимать будете? Помелом аль добром?

Анна сидела за партой с книжкой.

Ивановна пол подметала. Остановилась. Лицо сразу строгим стало.

— Влетела — дуром! Видать птицу по полету. И на бога не глянула: здрасьте!

— Бог-то не уйдет. А мы свое откстили. На старости будем замаливать.

Огрызнулась, и глаза блеснули.

— А я к вам с докукой, Николавна. Хозяин-то мой без вести пропал. Не знаете ли, где справочку навести? Сказывают, вы до всего дошли. Не откажите!

Ивановна опять не стерпела.

— Что, занадобился? Чужаки-то аль ие слаще?..
— А ты попробуй. Узнаешь.
И вдруг стихла. Черточки на лбу легли, и губы дрогнули.
— Я, Иваиовна, покору ие боюсь. Людям меня можно судить, я сама знаю, что делаю.
— Ну, рты-то ие заткиешь. Знашь, так не делай. Мужик отыщется, куда ты ему, гулена-захватана?
— Это мы с им разберем. Забыла, как молода была? Думки-то, однако, и у тебя бывали. Иссохнешь ожидаючи. А бабий век короток. И ие увидишь, как скрючишься. Кабы я девка была али хлипкая какая. Я здоровая. С им году не прожила. Плоть-то, оиа грешиая. Пошто с мужиком разлучили? Не постылый был.
— Тьфу, бесстыжая. Ты ей слово, она десять. Ну и блудила бы тихомолком. Глянь-ка, и ие скраснет! Пялит глаза... Тьфу!
— Тихомолком, Иваиовиа, ие желаю. Кабы я зиала: по своей воле пошел, целым вернется, сам ие испоганится, ждала бы. А ты видала, каких вертают? Будь оии прокляты! От их мой блуд да от тоски.
Жгла Анну гиевными глазами.
— Я напишу справку. Есть адрес один. А вы присаживайтесь, пожалуйста.
— Сяду, сяду. Не серчай, Иваиовиа. Ты по-старому, а нас выкинуло. При детях да при муже думка о домашием. А как у меия иикого, думки другие пошли. Пошто мы как скот? На што моему мужику ермаица убивать? А меня и не спросили, милая.
— Да ие тараиги ты, окаяииая. Тьфу!
Хлопиула дверью. Ушла. Аксинья вздохнула.
— А што я вас попрошу: напишите-ка письмо ему! В старо место пошлем. Може, дойдет?
Смолкла. Поблекла и съежилась. Аииу жалость взяла. Заторопилась, все иашла, села писать.
Аксииья иараспев стала диктовать. И глаза — как на молитве. Скорбиые и просящие.
— «...Низко кланяюсь я вам, дорогой супруг, Алексéй Иваиович, и целую вас в сахариые уста. Только и думки у меия, што про вас. Не видать мие, видио, вашего лица белова...»
Анна быстро писала и, как песию, слушала тоскующий голос.
— «Как помер сыиочек иаш, свету я иевзвидела...»
Долго говорила свою бабью жалобу и тихоиько плакала. А иочью Анна слышала, как иа улице оиа визжала похабиую

частушку. Утром Ивановиа рассказала: Аксинья избнла своего Фраица.

И много нх было, отчаянных солдаток. Угарнлн буйно. Часто протнвио. Но Анна понимала:

«Молодое бунтует. Исхода силы не находят».

Жаркая жалость мучнла сердце. Что у нних осталось в этой беспросветной жнзни? Даже молодость отнялн.

Акснньа прнвела н другнх. Узналн, что может писать и по-нностраниому. Жены и матери приноснлн иадпнсывать посылкн.

А одни раз вечером пришел хозяин. Стороинлась его Анна. И он с ней не разговарнвал. Только самое необходнмое. Волосы желто-серые. Глаза белые. Подбородок квадратный. Говорнт, как рубит. Пришел и соседа, Лазеикова Петра, с собой прнвел.

— Не почитаете ли иам газетку? В Ракитяике у ссыльных взял.

— Почнтай-ка, молодка,— зашамкал Лазеиков.— Сказывалн, про царский дом что-то неладное пишут. Не повернл я. А сам нащет печатн слепой! Гляжу в кингу — вижу фнгу.

— Так располагаю,— рубил хозяии,— ссыльиы мутят. Ну-ка, разберн. Ты ие омманешь.

Прнласкало доверие. Быстро схватила газету. Читала долго о Распутнне. Поняла, какой-то нарыв лопнул.

— Ну, дела,— качал головой Лазенков.— Вот-те так!

Хозяин сомиевался:

— А ие брешут?

— Ну... Не дали бы пропечатать.

Говорнлн в этот вечер долго. Анна, сама слепая, прозревала быстрее. Загорелась откровеньем. Горячо обсуждала. С этого вечера стали заходить мужнкн. На внд суровые. Виачале молчалнвые. А в беседе иеожиданно открывались. Наивные, как детн, в частностях и мудрые в обобщениях.

И старнки повадилнсь. Егор Низовых объясинл почему:

— Так-то, маточка... Писарь да батюшка — начальство, так-то. С ими ие побалакать, так-то... А ты сама с нами под нх начальством ходишь, так-то... Захочут — сгоиют, так-то. Ну, а иам-то и поблнже, попроще, так-то... А грамоте хорошо разумеешь, дай тебе бог здоровья... так-то...

Покорнла иемудрая похвала. Душой ожнла. И подарком праздннчиым былн улыбки иа грубых лнцах.

Из Ракитянкн ссыльный Яровой заезжал. Два раза с Анной побеседовал. Точно фоиарь иа иочной дороге поставил. Всю ночь продумала.

«Тридцать лет прожила. Проклятая! От корией ушла, к высыхающим лнстьям пристронлась. Если б вериуть!..»

В новом ореоле Володя встал. Пнсать больше ие смела. Но иовым загорелась пламенно. В вечерних беседах с мужикамн мыслн н слова находнла. Кингн чнтала не те, что прежде. Радовалась: себя иашла. Мать и детство чаще вспомниала. В деревне родню почуяла. И в крестьянскнй круг другой вошла: победней и попроще. Отошла от Ивановиы. Уряднnк попугнвать стал. Но долетел и до Сибнри раскат столичного взрыва.

— Нnколавна... Нnколавна, подь-ка суда.

Что это с Ивановной? Дверь в сеин растворена. Тепло ие бережет... И глаза бегают. На себя не похожа.

— Сейчас...

— Кинь кинжку-то. Начнтаешься. Скоре ндн...

И скрылась. В последиее время реже говорила с Анной. Недовольна была знакомством со ссыльнымн.

Анна прошла сенцы. Вошла в хозяйскую половниу. И там иеобычно. Ивановна не мечется от печкн во двор. Стонт у стола. А на скамейке Аксинья. Ннкогда ее не приваживала Иваиовна.

— Нnколавна, слышь, звонют...

— Ну, так что же? Праздннк, верно, какой-ннбудь.

— Не хуже тебя бога почитам, праздннкн знам. Ннкакого нету! И время нн к вечерне, ни к обедне.

Акснnья вмешалась:

— Маинфест читать будут, царь от престолу отрекся.

— А ты постой... Правда аль нет?

Смотрнт на Анну круглымн глазамн. В ннх испуг н иедоверне.

— Маннфест... Да что вы... Акснnья, пойдем скорее в церковь!

И как не бывало их в избе. Ивановна обозлилась:

— Богу молнться — трн дня просбнраются. А тут — нако! Ннчо толком не разъяснлн... Шалавы!

А сама тоже в церковь спешит.

В церквн поп в облаченье с амвона читал:

— «В дни великой борьбы с внешннм врагом, стремящнмся почтн трн года поработнть нашу родину, господу богу угодно было ниспослать Росснн иовое тяжелое испытание...

...прнзналн мы за благо отречься от престола государства Росснйского».

Оглушнло деревню. Из теплых углов повысыпалн. Ожнла площадь, где церковь с почтой, поповскне н купеческне дома

стояли. За новостями уже не боялись ходить. Урядника как ветром сдуло. Из Ракитянки приезжал Яровой. Собирались в школе и в волости. Звучали непривычные речи. И тайга шумела не так угрюмо. Точно расступалась. Пропускала весну и новые песни. Ссыльные организовали комитет общественной безопасности. Яровой переехал из Ракитянки. Председателем выбрали. Маленький, седой, с ястребиным взглядом, взбудоражил все село, Анну тоже выбрали в комитет. Бабье за нее горой стояло. И диво: старики приняли. Егор Низовых за всех говорил:

— Четыре года с нами отмаячила, так-то. Баба правильная, так-то. И ребятенок пригрела, так-то. Можна.

И утвердил Анну. Событиям дивились. Но царя жалели мало. Анна не могла понять этого. Так чтили царя! Станового чуть не наместником сделали. Как в своей вотчине здесь расправлялся. Но Лазенков объяснил:

— Мы, милая, кого хошь почитали. Нам со зверьем да с морозами только впору было сладить да землицу-матушку уберечь. А на начальство силов не хватало. Сторона наша сердитая. Хоть каку холеру пришли — поклонимся. Только бы не трогали. А стону-то наслыхались. У себя каторжан томили. Правду-то чуяли.

Ивановна по-другому объяснение дала:

— Далеко до его, до царя-то. Без нас мазали,— патреты посылали. Нам што? Кого хошь — мажь, ихо дело виднее... Порядок бы был, и ладно. Там выберут! А этот, однако, войной разбередил.

Молодое победно ликовало. Вернулись солдаты некоторые. Говорили новые слова: «Учредительное собрание», «резолюция», «протест». На улице пели «Дружно, товарищи, в ногу». Живой водой вспрыснули деревню. Точно из земли поднялась. Анна смотрела на ожившие лица. Видела, как раздвинулись грани. Говорили не только о своем, обиходном. Все казались светлыми. Новая жизнь, новая деревня.

Но жизнь еще раз поучила. В небо не уносись, на землю гляди... Дико и неожиданно вылезло старое, многовековое.

В двух дворах пропали лошади. Их не нашли. Но за селом в тайге поймали цыган. Семь человек. Трое мужчин, три женщины и один семилетний мальчик. Цыгане всегда считались конокрадами. Их притащили в село, на площадь. Анна в школе услышала рев толпы. Когда выбежала на улицу, увидала: бегут мужики, бабы и дети к церкви. А около церкви дикий вой. Людским потоком выбросило ее на площадь. Двое лежало на рыхлом весеннем снегу. На них навалился десяток мужиков. Били двоих с уханьем, со сладо-

страстием. Женщины-цыганки с разметавшимися черными косами дико вращали желтыми белками, молили о пощаде истошным воем. Их сразу сгребли и закрыли плотным кругом.

— Уши вырви ей, стерве...

— Каленым железом его надо бы, братцы...

— Проклятая чернять... Коней воровать!

Третий, связанный веревками цыган бился в дюжих руках. Молил и проклинал.

Скоро от пятерых остались изуродованные тела да красная кровь на снегу. Тяжелыми пимами и сапогами наступали на разметавшиеся черные косы цыганки. Наваливались все на шестого, связанного.

— На веревке его протащить,— визгливо крикнул Лазенков.

Анна не узнала его кроткого старческого лица. Покраснел весь, глаза выпучил, и губы трясутся.

— На веревке, на веревке. Все берись... Всем миром отвечать.

— Эй ты, раззява, берись... Всех не засудят!

Накинули петлю на шею. Схватили за длинную веревку. Десятки рук уцепились. Кому не хватало веревки, держались друг за друга и поволокли по площади. Молчал ли цыган иль стонал? Не было слышно за ревом толпы. Скоро страшный, синий удавленник прибавился к мертвым на площади.

И вдруг разорвал глухое ворчание остывшей толпы страшный детский крик.

Забытый цыганенок кричал. Поднял одну руку, другой вцепился в голову. Шапчонка слетела. Одинокая на пустой части площади чернела голова, бессильно дрожали в воздухе смуглые пальчики. И смертный ужас застыл в глазах.

— А-а-а!

Только дети могут так ранить своим криком. Анна метнулась к нему. Но уже закрыл его стоголовый зверь.

— Бей пащенка!.. Бей чертово отродье!

Всю силу голоса собрала:

— Звери!.. Ребенка... Отдайте... Мне, мне отдайте!

Раскатилось по площади. Аксинья заплакала в толпе. Но зверь не слышит. Бьет, давит... Затих звенящий детский плач. Семь человек прикончили. Анна выла, свернувшись клубком на земле.

— Ишь как растревожила себя молодка. Вставай-ка...

Лазенков подошел. Улыбается кротко. Ведь только что веревку держал!

— Уйдите, зверье... Палачи!

Подияли с земли. Бабы уговаривали. Мужики говорили:

— Квелая. Воров как не поучить?

Убирали трупы. Складывали их иа телегу. На одном увидали крест.

— Ишь ты. Крещеиые. Паиифидку отслужим по убиеиным, так-то,— примирительио сказал Егор Низовых.

Убрав трупы, ушли спокойиые.

Аииа билась головой о стеику кровати. Ее успокаивал Яровой. Ои только что приехал.

— Ну... Да полио... Эх, иервы. Истерикой жизиь не исправишь.

— Звери... Дикие звери!

— А что вы ждали? Думали, по манифесту сразу возродятся. Эх, вы!.. Века гиета, насилия, самодурства, как вы ие поймете!

Говорил долго. Затихла. Ночью поияла и смирилась. Эта расправа ие иа их совести. Цыгаиеиок долго снился. Осталась раика в сердце. Но окрепло созиаиие, что ие мечтами и порывами перестраивается жизиь. Впереди еще не одии ожог кнута.

Война все ие коичалась. Отлетела праздиичиая радость. По-прежиему стоиали люди. И стои этот стала слышать Аииа. Услышала, вспомнила прииск. И не могла уже замкиуться в своей скорлупе. Все, что впитала иа жизиеииых этапах, породило боль и гиев. Искала выхода, металась.

Записалась в партию Аииа вместе с солдатами-фроитовиками. Оии были буитарями и стали ей ближе всех. И сразу миогих отсекла от себя. Ходить стали к ней в старых азямах, больше батрачье. Богатые хозяева отшатнулись. Было в этих иовых меиьше привязаииости к старому, меиьше примиреииости, больше гиева.

Ивановиа косилась и говорила:

— Нащет войиы они правильио, а как стали товары отбирать да купцов в кутузку сажать... Нет, не дело! Рази можио по-ровиому? Ты-то сдуру за ими вяжешься, а я на тебя и глядеть ие хочу.

Аина отмахивалась. Сильио уставала за деиь. Шла упорная борьба с самогонщиками. С иепомерным вздуваиием цеи лавочииками. Приезжали агитаторы. Готовились к выборам в Учредительиое собраиие. Шла ломка. Постройка иового. Больше иеумелая. Валилась. Надо было начинать сиова.

— Ты — баба золотая,— говорил ей солдат Матвей.— Миого иам помогаешь. Я вот иыиче речь говорить буду...

— Да говори ты, Матвей, поиятиее. Ну, что это? Заладил «рука об руку», «попили кровушки», а дальше тумаи.

Матвей обижался. Надо было его ободрнть. Сказать, чтоб поиял.

Аксинья за большевнков лавочинцу расцарапала. Посылали Аииу. В борьбе иезаметиой, но долгой уставала. Яровой пожалел. В городе, в комнтете уже зиали про Аииу. Ракитяиские ссыльиые хвалили. Ее вызвали в город. С трепетом шла по сквериому тротуару. Столнцей казался уездный городишко.

В комитете, узиав фамилию, жалн ей руку.

Стриженая восторжеиная Лебедева хлопала по плечу и говорила:

— Цеииый товарищ.

Приятио было вндеть улыбкн. Встречать прнвет поиимающнх глаз. Ласкалн ухо обрывки разговоров:

— В деревне... Огромиая популярность.

Старый работиик спросил:

— Вы в Сибири остаиетесь работать?

— Да.

— Это очень хорошо. Отлетают товарищи иа родииу. Натосковались в ссылке. Очеиь хорошо. Работы будет миого.

Ореол популяриости средн крестьяи выдвииул быстро. И в дело вложила природиую страстность. Вправду цеииой была.

Город, партийиые, прнобщеиие к одному делу остро иапомннли Володю, вндиого товарища Степанова. Для иее — Володю. Захотелось сказать ему: «Я — другая. Прости прежиюю Аииу».

Напнсала.

«Вы не захотелн ответить мне. Теперь я поняла почему. Четыре года чистнла душу. И теперь прихожу только потому, что верю в свое очищенне». На четырех страиицах рассказала всю боль пережитого. Знала, что он еще в Сибирн. В областиом центре. Увндеть его... Больше иичего ие надо. Согласиа на долгне годы тогда ие думать о себе. Только о деле. Так казалось. Ответ прншел, когда уже перестала ждать. Сердце остановнлось, когда увидела незабытый твердый почерк на коиверте.

«Мне не хотелось пнсать вам. Я рад, что вы работаете, и работаете удачно. Мне ие хотелось быть каким-то современным Онегиным, ио решнл напнсать и буду откровенеи. Вы — натура талаитлнвая н партин, безусловно, будете полезны, ио я не верю в длительность вашего увлечеиия. Долго светнт только ровиый огоиь. Пламя вспыхнвает и гасиет. У вас все слнщком бурио и коротко. И не люблю я покаянных подвигов. Четыре года в деревие выдержать трудно, но

я боюсь, что вы жили только разыгрыванием своих ощущений. И на пятый год их не хватило бы. Буду рад, если ошибусь. Что касается наших личных отношений,— в этом я буду также откровенен,— продолжения их не будет. Я — узкий человек, Анна. Порывов не понимаю и не люблю. То, что вас купили когда-то мои враги,— мне не забыть. Мне неприятно, что вы просите прощения. Это ненужное унижение и только свидетельствует о том, что в вас осталась старая сущность. Вы упиваетесь своим покаянием. Я, не зная вас, подошел к вам близко, а мы оказались разными людьми. Правда, я не могу забыть лжи вашей, но это не потому, что ее надо прощать. Я просто не понимаю ее. Вы пишите даже о любви ко мне. Любовь никогда не играла большой роли в моей жизни, но уверен — полюбить могу только правдивую женщину. Резче вышло письмо, чем я хотел, нет гибкости у меня. Кончаю заверением, что от души желаю вам успокоения и удовлетворенности работой. *Вл. Степанов*».

Побелели губы. Покрасиело пятнами лицо.

«Ну, что ж. Не верит... Думает, играю. Посмотрим».

Провела рукой по лицу. Легла новая морщинка между бровей. Так и осталась. Врезалась.

IV

У жизни нет пощады мечтам. Но справедлива жестокость ее. Если здорова душа — привыкнешь крепко на земле стоять. В тридцать лет поняла это Анна. Уж не кричала и плакала редко. Поэтому спокойны черные глаза. Бледность лица и морщинки говорят только о прожитом. А то, что сейчас,— не пугает. И жалко ей молоденькую спутницу. Сидит рядом с ней и меняется в лице. Когда закутывала ребенка, пальцы дрожали.

— Татьяна, возьми себя в руки. Не волнуйся.

— Я не боюсь... Я так.

— Можно и бояться. Живой человек. Только не показывай.

Сидят обе на узлах у дамской уборной. Вокзал живет обычной суетой, бестолковым метаньем людей и окриками начальства. У входа серый человек с винтовкой томится ожиданием смены. Нарочно сели поближе к нему. Бояться нечего. Узнать Анну некому. В этом городе в те дни не бывала.

Усмехнулась мысли:

«А портретов моих еще не продавали».

Но устало тело. Наскучило мельканье людей и густой

храп сидящих рядом. С утра на станции. А поезд запоздал. Вьюга рвется в окна. Как-то им?.. Тем, что затаились в тайге. Невольным движением чуть было ие пощупала меховую шапку на голове. Но вовремя задержала руку. Привыкла к осторожиости.

— Соня, возьми ребеика.

Протягивает живой сверток Аине, а сама озирается.

— Ты встань, Татьяна, походи. Разомнись.

Татьяна встала, но заплакал ребенок у Анны иа руках. Живо метнулась обратио. Анна только взглянула. Поняла и поспешно пошла к двери. Тоненькая, горбится на ходу. Пичужка... Жалко ее. Жена партизана. Должна уехать с Аниой в Иркутск. Там ждут.

— Ничего... Выдержит. Робеет, краснеет сейчас. А в иастоящей опасности кремеиь баба. Хоть и молода. Испытали.

Ребенок сиова затянул громкую жалобу.

Прижала его к себе, стала покачиваться, похлопывая сверток рукой. Годовалый человечек. Беспомощный и требовательный. Крохотная искорка жизни. Не задуют тебя? Затих. Хотел еще заплакать. Дернул губами, сморщил нос, но раздумал, заснул. Волной прилила нежность. Прижала к себе и все забыла в тихой ласке прикосновения теплого свертка...

«Чужой. Своего не дождусь. Но сегодия мой, хоть и родная мать рядом».

Татьяна вериулась. Осветила полудетское личико улыбка.

— Спит?

— Да. Не слышио поезда?

— Нет еще. А ты прекрасная мать, Соня. У тебя лицо, как у кормящей мадонны.

Скрыла смущение улыбкой и вдруг иасторожилась. Что так пристальио смотрит этот офицер? Постоял, прошел и дальше. Вериулся. Опять прошел близко около женщин. И смотрит в упор.

Ответила ему открытым, удивленным взглядом. Лица не помнит. Может, пройдет. Может, ие то. Просто легкой победы ищет. Нет, не похоже. Да и она в широкой шубе, тяжелая, с ребенком на руках, усталая, не могла прельстить кажется. А на Татьяну не смотрит? Уф, ушел. Взглянула иа Татьяну. У той взгляд сразу твердым стал.

Чуть шевеля губами, Анна сказала:

— Шапками надо поменяться.

— Да. А ребенка бери с собой. Не пропадет. Лучше будет...

Хотела спросить — хватит ли мужества... Подошел мили-

ционер. Нехотя, угловато пробрался через спящих прямо к ней.

— Ваш документ покажите, гражданка.

Анна удивленно протянула:

— Это зачем же? Ни у кого не проверяют, мой на что?

— Предъявите документ.

— Скажите, почему у других не требуете? Только у меня. Что это такое, батюшки? Нигде покою нет! Только ребенок уснул... Документ!

— Приказано. Не скандальте, предъявите документ.

— Кто приказал? Где приказ? Сколько людей сидит. Привязался ко мне. Приведите, кто приказал.

Рядом завозились. С любопытством прислушивались к громкому разговору.

— Я от документу не отказываюсь, покажу. Только у всех смотрите. Приведите, который приказал.

Тараторила бойко и громко. Ребенок заплакал. Милиционер смутился. Оглянулся назад на кого-то и нерешительно отошел.

— Даже жарко стало... Ну-ну, сыночек, не плачь. Таня, подержи-ка платок и шапку. Надо документ достать. Ну-ну, сыночек, полежи.

Деловито расстегнула шубу, сняла платок и шапку. Положила около ребенка. Достала из внутреннего кармана паспортную книжку и стала возиться с ребенком. На Татьяну только глянула. Та поняла.

— Надо пеленку замыть. Дай-ка.

Вместе с пеленкой захватила Аннину шапку с ушами, такую же, как у нее, и скрылась в дамской уборной. Анна не торопясь застегивала шубу. Быстро вернулась Татьяна. Бросила на узлы пеленку и шапку свою. Аннина была на голове. А милиционер уже подходил с офицером.

— Пожалуйте к коменданту.

— Что это... Господи-батюшка! Да вот вам паспорт, подавитесь!

— Ну, не разговаривать!

Жалит глазами офицер. Знает ее или нет?

— Ну и пойдем. Ишь запугали. Покарауль мой узелок-то, Татьяна. Или лучше с собой возьму, не знай, куда поведут.

Надела шапку, взяла небольшой узелок, шаль и ребенка. Татьяна смотрит спокойно. Довезет документы.

— Может, подержишь ребенка-то?

Татьяна спокойно в ответ:

— Ну, куда я с ним. Скоро вернешься. А поезд придет — ждать не стану.

Офицер иетерпеливо крнкиул:

— Ну-иу, скорей!

На Татьяну даже не взгляиул, дурак.

В комеидантской спорила жарко и внзгливо.

— К мужу еду иа последиие деньги. В Сибирь от большевиков бежал. А вы — тоже защитиики. Тьфу!

Обыскали, кошелек и паспорт забралн.

За окнами загрохотал поезд.

— Ну, вот... Пришел... Царица иебесная, за что же это такое?.. На последиие деиьги. Здесь продержнте... Проживусь — как доеду?

Комеидант иерешительио посмотрел иа офицера.

— Как ваша фамилня? — резко спросил офицер

— В паспорте чнтали. Кадошиикова Софья, мещанка города Ореибурга. Да что ж это за люди, господи! Ехала, ехала сколько верст... На-те вам... Вот н письмо от мужа...

— А я вам скажу сейчас вашу фамилию.

Порылся в карманах шииели. Достал записную кииЖку.

— Яковлева... Аииа Николаевиа, члеи Н-ского исполкома.

Анна перекрестилась.

— Господн, батюшка... Никак, в комиссарши попала.

Ребенок громко заплакал: «Мам... мам... мам... А-а-а».

Играла вдохновеиио и легко. Смутила обоих.

— Отпустнте ее,— вполголоса сказал комендант,— с ребеиком!

Офицер еще раз взгляиул иа Аииу. Не сдержалась,— привычиым жестом провела рукой по лицу.

— Нет. Она.

Сказал решнтельио:

— Видел сам. И слушал, как говорнт. Рукой по лицу проводнт. Взять ее!

Скрестнлнсь взгляды. Бешеио схватила иеиависть сердце. В первый раз услышала это: взять. Но сжалась. Не прежияя Аина. Привыкла держать себя в руках.

В тюрьме впитала ее в полноте, эту священную злобу. И узиала твердо: теперь не уступнт. В тесноте на иарах, обнрая вшей с себя и ребеика, думала миого. Подытожнла все. Рядом с ней спала старуха. Седая, высохшая, темиая. По ночам долго молилась. Дием гадала на бобах. Говорила мало и на всех смотрела нсподлобья. Как старый, затравлеииый зверь.

— За что тебя взяли, бабушка?

— А тебе на что? Миого вас, пытальщиков. Про себя знай.

Пожевала губами и занялась опять бобами. Сидело их шестнадцать человек. Все политические. Нового вида политические преступники. Жены восставших рабочих, матери дезертиров колчаковской армии, жена одного комиссара. Грамотными были только она, Анна, да молодая Феня, дочь старика-партизана. Больше всех занимала Анну старуха. Никому не говорила о себе. Советовалась только с богом да с бобами.

Но однажды ночью, когда в жару метался прихворнувший маленький Павлик, повернулась к Анне и уставилась упорным взглядом.

— Павлушенька... Детка моя... Ну-ну, милый.

Ласкала нежно. Чужому отдала тоску по материнству. И ребенок привык к ней. Здоровый смеялся, стал чаще говорить «мама» и тянул ручонки.

А сейчас высохли губы. Лежит неподвижно и тихонько-тихонько стонет.

«Неужели умрет? Татьяна, прости!»

В лице были боль и страх.

— А ребенок-то у тебя чужой.

Вздрогнула от свистящего шепота старухи. Оглянулась кругом. Тускло светила под потолком лампочка. На нарах храпели. Бредили, стонали во сне. Не слышал никто. А старуха смотрит. Словно ждет ответа.

— Как чужой? Что ты?

— Да ты не рожала вовсе — по бокам и по грудям видать.

— Ну, вот еще. Выдумала. Спи, солнышко, детка моя... А-а-а...

— А пошто под ручками не глядишь? Подопрело, а ты и не знаешь. Томится, присыпать нужно гнилушками. И на руки берешь не как мать. Мать сцопат как попало. Свое, не боится. А ты прилаживаешься.

Анна лживо засмеялась.

— А мое како дело, твой ли, чужой. Так молвила. Охота было сказать: примечаю. Мне ево не надо, от своих намаялась.

— За что тебя взяли, бабушка?

— За сына. Последнего прикончили. А я дождалась у суда ихнего, да какому-то в форме, старому,— думала, главному,— морду искусала. Ножик был, да пырнуть не сумела.

— Как же тебя не убили?

— По злобству своему. Молодых в могилу гонют, а старуху на муку жить оставили.

— Так и сказали?

— Ну, сказали не так. Старая, темная, будто жалеючи. Прикладами только солдаты поучили, а мне эта жалость ихняя... В могиле зашевелюсь, ежели вспомню. Всех прикончили, не жалели. Ну, не долог их срок! Теперь дожить хочу. Зубами рвать стану!

Выбились седые космы из-под платка. Глаза горяг, как у волчицы. Эта не простит. Сибирский зверь.

С воли вести стали передаваться. Отступает Колчак. Точно живой водой спрыснуло. По ночам охватывала жуть, когда в коридоре звенели ключами. Никто не знал, кого расстреляют и кто доживет. Важных «преступников» оставляли, за пустяк убивали. Не было мерки. К убийству привыкли.

Анне было лучше других. Надзирательницы жалели ребенка. И часовые ласкали его на прогулке. Когда заболел, приходил врач. Чистенький, молодой и неловкий. В глаза прямо не смотрел. Не привык еще. Жалел и стыдился. Анна показала ему свои руки. На руках и ногах появилась экзема. Ночью мучила сильно.

— Необходимы ванны. Переговорю с администрацией.

Повезло и тут. Каждую субботу два часовых отвозили Анну с Павликом в баню. Один ждал у входа, другой наверху, в коридоре, где были номера.

Часто думала во время поездок:

«Культурные люди! От экземы лечат, а гноят в тюрьме. И каждый день могут прикончить».

Понимала старуху. Сливалась с ней в злобе против лживой гуманности. Но баня выручила. Узнали на воле, и в одну из поездок устроили побег. Новая банщица одурачила часового. Анна с ребенком скрылась по черному ходу из бани. Два дня прятали в городе. Потом отвезли в деревню за семь верст. Самое тяжелое было — расставанье с Павликом. Последний цветок личного чувства. Узнала: Татьяна доехала и все привезла. Теперь доставят ей сына. Пора.

— Пусть он передаст тебе привет, тихая героиня.

Долго целовала ребенка. Прощалась, как мать. Своего не будет. Поздно. Другая любовь и другая ненависть влекут. В деревне свалил сыпняк. В бреду говорила лишнее. Только немножко собралась с силами,— перевезли в город. На тихую окраину.

Там близко пронеслось дыханье смерти. И узнала человеческую буйную жажду жизни. А думала, что ее уж нет.

Было так. Томила еще болезнь. Дрожали от слабости

ноги. Мутилась голова. Сидела на печке. Вихрем ворвалась Поля — хозяйка. Жила она одна. Мужа убили где-то под Курганом. Детей унес дифтерит. Ходила стирать белье и этим жила. На вид разбитная, болтливая, а духом твердая. Верный товарищ. Днем прятала Анну на полатях и в подполье.

— Николавна... Обыск по всему кварталу. Из тюрьмы кто-то убег. Полезай в подполье.

Силилась Анна найти край печки. А жар туманом застилал глаза. Приступка отодвигалась далеко и казалась у другой стены.

— Не могу... Не перешагнуть мне. Далеко.

— Вот горе-то. Ну-ка, дай, не сыму ли...

Охнула под тяжестью безвольного тела. Но выдержала. Билась долго у подполья. Уронить боялась. Но силы хватило. Спустила. Закрыла крышку и дров на нее наложила. У печки подполье было. Анна вяло думала: все равно.

Но когда застучали сверху тяжелые шаги, донесся смех и быстрый говор Поли, разом воспрянула. Ногой задели дрова или убирают? И огнем пробежало по всей:

«Жить... Имею право жить!»

В тюрьме, в подвале — скорбно, только жить.

Могучий звериный инстинкт требовал властно — жить. Исчезла вялость. Не стало песку в глазах. Притаилась и ждала. Когда услышала — ушли и Поля открыла подвал, потеряла сознанье. Много было хлопот с ней Поле. Потом опять увезли в деревню. Оттуда, на далекой от города станции, пристроилась в эшелон чехов. В тифу не срезали волос. Падали. Но были еще густые и блестящие. Заплела в одну косу. Надела прежнюю богатую личинку.

— Пожалуйста, разрешите.

— Не могу, мадам. Я биль бы рад весма.

— Ну, как не можете. Я тихонько проеду. Ведь я тоже все потеряла из-за большевиков. Мужа, семью... К матери еду. Умирать.

— О-о, так рано?

Взметнула кокетливо глазами, а в сердце ныло:

«Проклятый. Тебе бы узнать, как со смертью в душе похоть гешить».

— Ну, пожалуйста! Я немного места займу.

Взяли в свой вагон. В пути был вежлив. И другие глазами ласкали, но сдерживались. Ехали в купе четверо. Ночью почуяла дыханье близко, закричала. Комендант зажег свет, успокоил, строго взглянул на двух,— и больше не было попыток. Наутро комендант сказал ей:

— Я чувствоваль уваженье к вам. Русски дам отчень легкий. Без бой сдаются.

Посмотрела строго и смолчала. Но думала:

«Знал ты русских дам, а женщин русских — нет».

Этот разговор напомнил ее прошлое.

Бесстыдное ненужное кокетство. Сближенье с Георгием. Прииски. Но жгучая боль стыда за это прошлое подсказала: «Кончено». Осталось там, за гранью. В Иркутске узнала о Володе. Уезжал в Москву, оттуда был послан в Оренбург. Теперь неизвестно. Слушала спокойно. И не удивилась этому. Много этапов прошла. И выросла... Теперь прощенья не попросит и Володю не позовет. Думает о нем светло и без боли и память сохранит. Но только память. Ни страсти, ни злобы. А если и есть любовь, так другая: спокойная, человеческая. Не бабья, путами связывающая. Мелькнуло в голове полузабытое стихотворенье:

И если в дверь мою ты постучишь,
Мне кажется, я даже не услышу...

И в партийной работе стала другая. Вначале любила шумиху. Льстили похвалы. Из-за них старалась. Когда увидала в рядах пролаз, политических спекулянтов и мелких чванливых мещан, вначале возмущалась бурно. И в глубине души гордилась своим возмущеньем. Теперь следила строго за собой, а о них думала:

«Отмоет. Еще ряд испытаний — и всю накипь сметет».

Стала простой и мудрой.

Перед самым концом колчаковщины, когда жила, таясь, в Иркутске, ей принесли письмо.

Скупо светила лампа на одиноком столе. Освещала книги, узкую постель и над столом голову с серебряными нитями. Последние годы вплели их в черные косы. Держала в руках серый листок и читала:

«Сегодня во сне я видел твоего ребенка, Анна, и проснулся в глубокой тоске. Пишу из тюрьмы. Письму удастся вырваться, минуя тюремщиков, а мне нет. Прими письмо смертника. Если бы иначе сложились обстоятельства и я бы остался жить, этого ребенка я видел бы тоже только во сне. В нем воплощенье того, что я хотел для себя лично и о чем тосковал в минуты, когда человек один и живет собой. И только от тебя я хотел его, потому что только тебя я назвал бы женой. Единой не по указке закона, не по собственническому инстинкту мужчины, а по глубокому внутреннему моему стремлению к единству во всем. В моей жизни была одна цель, одна работа и только одна женщина,

с которой я хотел бы всегда быть вместе. Это, вероятно, узость, но я такой, и на исходе дней хочу поговорить с тобой об этом, потому что моей узости я не преодолел и в отношении моем к тебе. У меня была одна ненависть. Только к тем, с кем я боролся. И каждый из того враждебного стана был мне ненавистен. Тебя осквернила близость одного из них, и никогда этого я забыть не мог и не пришел бы к тебе, если б остался живым. Но ты понимаешь: я не виню и не сужу тебя. Виню я только их, потому что оторвали тебя от корней, изломали тебя, отняли у меня. Отняли и того ребенка, которого я хотел иметь. Во сне и видел его. У него были большие черные глаза. Твои глаза, Анна. И я захотел послать им мой прощальный поцелуй. Я знаю, у тебя нет детей, и это меня странно радует. Плохо пишется письмо. Я никогда не умел говорить о нежных чувствах. Попробовал сейчас — не выходит. Прощай. Уношу с собой утешение, что ты действительно пришла на наш общий путь и теперь уж не уйдешь с него. Не уходи».

Скривила лицо боль. Дрогнули губы.

«Не уйду... Но ты шел прямо, а я плутала. И в кривых тропинках потеряла тебя. Ну, что же!»

Провела рукой по лицу.

Теперь на пути.

I

го поймали иа стаиции. Ои у торговок съестиые продукты скупал. Привычиый арест встретил весело. Подмигиул серому человеку с виитовкой и спросил:

— Куда поведешь, товарищ, в ртучеку или губчеку? Тот даже сплюнул.

— Ну, дошлый! Все, видать, прошел.

Водили и в ортчека. Потом отвели в губчека. В комеидаитской губчека спокойио посидел иа полу в ожидаиии очереди. При допросе отвечал охотио и весело.

— Как зовут?

— Григорий Иваиович Песков.

— Какой губериии? — брезгливо и иевиятио спрашивал комеидаит.

— Дальиий. Поди-ка и дорогу туды теперь ие иайду. Иваиово-Возиесеиский.

— Как же ты в Сибирь попал?

— Эта какая Сибирь! Я и подале побывал.

Сказал — и гордо оглядел присутствующих.

— Да каким чертом тебя сюда из Иваиово-Возиесеиска прииесло?

Степеиио поправил:

— Не чертом, а поездом.

На дружиый хохот солдат и человека, скрипевшего что-то пером иа бумаге, ответил только солидиым плевком иа пол.

— Поездом, товарищ, привезли. Мерикаицы. Детей питерских с учительем сюда иа поправку вывезли. Красиый Крест, что ли, ихиий. Это дело ие мое. Ну, словом, мерикаицы. Леиии им, што ль, за иас заплатил: подкормите, дескать. Ну, а тут Колчак. Которые дальше уехали, которые померли, я в приют попал да в деревию убег.

— Что ты там делал?

— У попа в работииках служил. Ты ие гляди, что я худячий. Я, брат, иа работу спорый!

— Ну, а добровольцем ты у Колчака служил?

— Служил. Только убег.
— Как же ты в добровольцы попал?
— Как красные пришли, все побегли, и я с ими побег. Ну, никому меня не надо, я добровольцем вступил.
— Что ж ты от красных бежал? Боялся, что ли?
— Ну, боялся... Какой страх? Я сам красной партии. А все бегут, и я побег.
Солдаты снова дружно загрохотали. Комендант прикрикнул на них и приказал:
— Обыскать.
Также охотно дал себя обыскать. Привычно поднял руки вверх. Весело поблескивали на желтом детском лице большие серые глаза. Точно блики солнечные — все скрашивали. И заморенное помятое личико, и взъерошенную, цвета грязной соломы, вшивую голову. У мальчишки отобрали большую сумму денег, поминанье с посеребренными крышками, фунт чаю и несколько аршин мануфактуры в котомке.
— Деньги-то ты где набрал?
— Которые украл, которые на торговле нажил.
— Чем же ты торговал?
— Сигаретками, папиросами, а то слимонию што, так этим.
— Ну, хахаль! — подивился комендант.— Родители-то у тебя где?
— Папашку в ерманску войну убили, мамашка других детей народила. Да с новым-то и с детями за хлебом куды-то уехали, а меня в мериканский поезд пристроили.
И снова ясным сиянием глаз встретил тусклый взор коменданта. Тот головой покачал. Хотел сказать: «Пропащий». Но свет глаз Гришкиных остановил. Усмехнулся и подбородок почесал.
— Что ж ты у Колчака делал?
— Ничего. Записался да убег.
— Так ты красной партии? — вспомнил комендант.
— Красная. Дозвольте прикурить.
— Бить бы тебя за куренье-то. На, прикуривай. Сколько лет тебе?
— Четырнадцатый с Григория-святителя пошел.
— Святителей-то знаешь? А поминанье зачем у тебя?
— Папашку записывал. Узнает — на небе-то легче будет. Мать забыла, а Гришка помнит.
— А ты думаешь, на небе?
— Ну а где? Душе-то где-нибудь болтаться надо. Из тела-то человечьего вышла.
Комендант снова потускнел.
— Ну, будет! Задержать тебя придется.

— В тюрьму? Ладно. Кормлют у вас плоховато... Ну, ладно. Посидим. До свиданьица.

Гришку долго вспоминали в чека.

Из тюрьмы его скоро вызвала комиссия по делам несовершеннолетних. В комиссии ему показалось хуже, чем в губчека. Там народ веселый. Смеялись. А тут все жалели, да и доктор мучил долго.

— И чего человек старается? — дивился Гришка.— И башку всю размерил, и пальцы. Либо подгонял под кого? Ищут, видно, с такой-то башкой...

Нехорошо тоже голого долго разглядывал. В бане чисто отмыли, а доктор так глядел, что показалось Гришке: тело грязное. Потом про стыдное стал расспрашивать. Нехорошо. Видал Гришка много и сам баловался. А говорить про это не надо. Тошнотно вспоминать. И баловаться больше неохота. Когда от доктора выходил, лицо было красное и глаза будто потускнели. Разбередил очкастый.

Но вечером в приюте с малолетними преступниками был опять весел. Пищу одобрил.

— Это, брат, тебе не советский брандахлыст в столовой. Молока дали. Каша сладкая. Мясинки в супу. Ладно.

Ночью плохо было. Мальчишки возились, и «учитель» покрикивал. Чем-то доктора напомнил. Гришка долго уснуть не мог. Дивился.

— Ишь ты! От подушки, видать, отвык. Мешает.

И всю ночь в полуяви, в полусне протосковал. То мать виделась. Голову гребнем чешет и говорит:

— Растешь, Гришенька, растешь, сыночек! Большой вырастешь, отдохнем. Денег заработаешь, отца с мамкой успокоишь... Родненький ты мой!

И целует.

Чудно! Глаза открыты, и лампочка в потолке светит. Знает: детский дом. Никакой тут матери нет. А на щеке чуется: поцеловала. И заплакать охота. Но крякнул, как большой, плач задержал и на другой бок повернулся. А потом доктор чудился. Про баб вспоминал. Опять тошнотно стало. Опять защемило. Молиться хотел, да «отчу» не вспомнил. А больше молитвы не знал. Так всю ночь и промаялся.

Пошли день за днем. Жить бы ничего, да скучно больно. Утром накормят и в большую залу поведут. Когда читают. Да все про скучное. Один был мальчик хороший, другой плохой... Дать бы ему подзатыльник, хорошему-то! А то еще учительши ходили:

— Давайте, дети, попоем и поиграем. Ну, становитесь в круг.

Ну и встанут. В зале с девчатами вместе. Девчата вихляются и все одно поют: про елочку да про зайчика, про каравай. А то еще руками вот этак разводят и головой то на один бок, то на другой.

Где гнутся над омутом лозы...

Спервоначалу смешно было, а потом надоело. Башка-то ведь тоже не казенная. Качаешь ей, качаешь, да и надоест. Лучше всего был «Интернационал»! Хорошее слово, непонятное. И на больших похоже. Это, брат, тебе не про елочку!

Вставай, проклятьем заклейменный...

Хорошо! А тоже надоело. Каждый день велят петь. Сам-то, когда захотел, попел. А когда и не надо. Все-таки за «Интернационал» Жорже корявому морду набил. Из буржуев Жоржа. Тетя какая-то ему пирожки носит. Так вот говорит раз Жоржа Гришке:

— Надо петь: весь мир жидов и жиденят.

А Гришка красной партии. Знает: и жиды люди. Это Советскую власть ими дразнят. Ну, и набил морду Жорже. С тех пор скучно стало. За Советскую власть заступился, а старшая тетя Зина и Константин Степаныч хулиганом обозвали. А как белье казенное пропало, их троих допрашивали. Троих, воры которые были. Гришка дивился:

— Дурьи башки! Чего я тут воровать стану? Кормлют пока хорошо. Что, что воры? Сам украдешь, коли есть нечего будет. Вот сбегу, тогда украду.

Крепла мысль: сбежать. Скучно, главное дело. Мастерству обещали учить — не учат. Говорят, инструменту нет. А эту «пликацию» из бумаги-то вырезывать надоело. Которую нарезал и сплел, всю в уборную на стенке налепил и карандашом подписал: «Тут тебе и место сия аптека для облегченья человека Григорий Песков».

Писать-то плохо писал, коряво, а тут ясно вывел. С того дня невзлюбили его воспитатели. И не надо. Этому рыжему, Константину Степанычу, только бы на гитаре играть да карточки снимать. Всех на карточки переснимал, угрястый! Злой. Драться не смеет, а глазами, как змея, жалит. Глядит на всех — чисто нюхает: что ты есть за человек. Сам в комнате в форточку курит, а ребятам говорит:

— Курить человеку правильному не полагается.

Куренье — дело плевое. Вот сколько не курил. Отвык, и не тянет. А как заведет Константин Степаныч музыку про куренье да начнет вынюхивать и допрашивать, кто курил,— охота задымить папироску. А тетя Зина всех голубчиками

зовет. По головке гладит. Липкая. Самой неохота, а гладит. И разговорами душу мотает.

— Это нехорошо, голубчик! Тебя пригрели, одели, это ценить надо, миленький. Пуговки все застегивать надо и головку чесать. Ты уже большой. Хочешь, я тебе книжечку почитаю? А ты порисуй.

Ведьма медовая! Опять же анкетами замаяла. Каждый день пишут ребята, что любят, чего не любят, чего хотят и какая книжка понравилась. И тут Гришка ее обозлил. В последний раз ни на какие вопросы отвечать не стал, а написал: «Анкетов никаких нилюблю и нижалаю».

Побелела даже вся. А засмеялась тихонечко, губы в комочек собрала и протяжно так да тоненько вывела:

— У-у, а я тебя не люблю! Такой мальчик строптивый.

Ну и не люби. Жоржу своего люби. Тот все пуговки застегивает и листочек разлинует, и на все вопросы, как требуется, отвечает. А как спиной повернется, непристойное ей показывает. Девчонки все пакость. У тети Зины научились тоненькими голосами говорить и лебезят, лебезят. А потихоньку с мальчишками охальничают. Манька с копей — ничего. Песни жалостные поет и книжку читать любит. А сама из воску чисто и все перхает. Недужная. Но и с ней Гришка не разговаривает. Боится. Нагляделся на девчонок-то и не любит их. Никого Гришка не любит. И опротивело все: и спальни с одинаковыми одеялами, и столовая с новыми деревянными столами. Бежать! В монастыре детский их дом был. За высокими стенами. И у ворот часовой стоял. Гришка рассуждал:

— Правильно. Правонарушители мы. Так и пишемся — малолетние правонарушители. Важно! По-простому сказать, воры, острожники, а по-грамотному пра-ва-на-ру-шители.

Это название нравилось так же, как «Интернационал». Гришка гордился им и часовым у ворот. Но теперь часовой мешал. Удрать охота.

Весна пришла. На двор как выйдешь, тоска возьмет. Ноздри, как у собаки, задвигаются, и лететь охота. Солнышко подобрело и хорошо греет. Снег мягким стал. Канавки уж нарыли, и вода в них под тоненьким, тоненьким ледочком. Сани по дороге уж не скрипят, а шебаршат. Лошадь копытами не стук-стук, а чвак-чвак... Веточки у деревьев голые, тоненькие, а радостные. Осенью на них желтые мертвые листы трепыхались, а зимой снег. Теперь все сбросили. Легонькие стали, чисто расправились после хвори. Дышат не надышатся. У неба пить просят. Мальчишки за оградой целый день по улице криком и визгом весну славят. Ой, удрать охота!.. На дворе хорошо, когда по-своему играть

дают. А как с учителями хороводы да караван — неохота. В лапту можно.

Монашки во дворе жили. Стеснили их, а выселить еще не выселили. И утром и вечером скорбно гудел колокол. Черные тени из закутков своих выходили и плавно, точно плыли, двигались к церкви. Она в углу двора была и входом главным на улицу выходила. Шли монашки молодые и старые, но все точно неживые двигались. Не так, как днем по двору или в пекарне суетились. Тогда на баб живых походили, с ребятами ругались и визжали. А ребята их дразнили. В колодец плевали, а один раз в церковь дверь открыли и прокричали:

— Ленин... Сафнарком!

Монашки в губнаробраз жаловались. С тех пор война пошла. Веселее жить стало.

II

Все жаднее пила весна снег. В церкви дверь открывали. Солнца хлебнувший воздух сумрачные своды освежал. Врывался он пьяный и вольный. А из церкви на двор выносился с великопостным скорбным воплем людей. С плачем о чертоге, в который войти не дано. Монашки чаще проплывали тенями к церкви. Дольше кричали богу в угаре покаянном. И эти бесшумные черные тени на светлом лике весны, и песнопенья великопостные, и будоражливый гомон весенней улицы совсем смутили Гришку. Воспитатели были довольны. Покорялся он всякой науке. Смирно сидел часами. Глаза только пустые стали. А Гришка жил в себе. Ночами просыпался и думал о воле. Убежать было трудно. Шестеро старших игуменью обокрали и бежали. Но их поймали. А они бунтовать. Парни уж. Усы пробиваются. На работы их в лагерь сдали. А за остальными следить строже стали. Часового, агента чеки и воспитателей прибавили. Но случай помог.

Война детей с монашками все разгоралась. В тоскливой чреде дней стычки с ними были самое яркое. Ими жили в праздном своем заточении. А тут еще пятьдесят человек тюрьма доставила. Необходимо было выселить монахинь. Освободили для них большой двухэтажный дом за рекой. Близко к окраине города. Предложили переехать. Монахини покорно приняли решение власти. Только выпросили церковью монастырской пользоваться. Но потихоньку каждая жалобу свою излила.

По утрам поодаль от высокой монастырской стены оста-

навливалась крестьянская подвода. Иные дни — две-три. С видом виноватым, съежившись, пробирались к воротам монастыря мужики и бабы. Просительно, ласково говорили с часовыми, юркали в калитку. Двор встречал их отзвуками чуждой новой суеты. В воздухе звенели слова: «товарищ», «детдом», «правонарушители». Исконная монастырская жизнь пугливо таилась в глубине. Минуя звонкоголосых и молчаливых с готовым вопросом в детских глазах, шли в здание малые домики. Там встречали их лики святых и тонкие умильные голоса. Вот этим дающим тайную лепту излили душу монахини. Игуменья под бумагами подписывалась: настоятельница трудовой коммуны монашеской, смиренная Евстолия. На собраниях в церкви монастырской, совместно с верующими, уговаривала: «всякая власть от бога». Но и она не стерпела. Знакомому мирянину Астафьеву, который раньше два кинематографа имел, на монастырь хорошо жертвовал, а теперь в губсоюзе служил и бога опять же не забывал, поскорбела:

— От храма божьего отрывают.

И побежали вестовщицы по домам, где бога не забыли.

— Монахинь выселяют!

— Театры в монастыре будут...

— С икон ризы снимают...

— С престола из церкви все председателю губчека на квартиру свезли.

— Мать-игуменью в чеке пытали.

Из домов весть крылатая на базар, что на площади рядом с монастырем, перекинулась. В день, для переезда назначенный, бабы на подводах крестились. Одна, в тревоге,— за капусту три тысячи не дополучила. Охая, мешала возгласы к богу с бабьей бранью, визгливой и бестолковой.

— Матушка, царица небесная, троеручица. Что же это, холеры на их нет... сует деньги, а сам дирака! Коммунист лешачий!.. Жидово племя! Микола-милосливый... Молитвы, вишь, помешали... Чисто черти, ладана боятся. Невесты Христовы, матушки наши... да куда же пойдут? Задави их горой, ироды, антихристово семя!.. А, на-ко-ся. Только глянула: был человек, нету человека... Ну, да я помню рожу твою пучеглазую! Приди-ко еще... Лихоманка собачая!..

Мужики языка не распускали, но с базара, торг закончив, не уехали. Ближе к монастырю лошаденок подвинули.

Подали подводы для монашек. Большие ворота открыли. Часовые около них встали. И, точно проводом тайным, весть передалась. Сразу разноцветной волной прилила толпа. Зорко глянула из-под черного клобука мать Евстолия. И в

воротах остановилась, высокая и важная. Не спеша повернулась к иконе, над воротами прибитой. Наземь в поклоне склонилась. Бабы в толпе захлюпали. А игуменья у подводы своей еще на все четыре стороны поясные поклоны отвесила. Лицо у ней, как на старой иконе. Строгое. Черными тенями двинулись за ней монахини. Как игуменья сделала, все повторили. Четкие в синем воздухе весением, черные фигуры рождали печаль. Метнулась одна баба к монашкам с воплем звенящим:

— Матушки наши! Молитвенницы! Простите, Христа ради!

За ней другая. Еще звонче крикнула:

— Куды гонют вас от храма божьего?

Третья прямо в ноги лошади игуменьиной. И петуха из рук выпустила.

— На нас не посетуйте! Богу не пожальтесь!

Заголосили истошным воем. Отозвались десятки режущих женских воплей. С улиц на плач прохожие метнулись. Конный солдат с пакетом на всем скаку лошадь остановил. Застыл в любопытстве. Торговка Филатова тележку с пирожками бросила. К нему ринулась.

— За что над верой Христовой ругаетесь? Покарат!.. Дай срок, покарат!

Задвигалась толпа. Визги женские всколыхнули. Загудели мужчины.

— Не дадим монастырь на разгром!

— Кому монашки помешали? Кого трогали?

Юркий и седенький учитель бывшего духовного училища, староста церковный, к подводам вынырнул. Задребезжал старческий выкрик:

— Где же свобода вероисповедания? Свобода вероисповедания, правительством разрешенная, где?

Толпу подхлестнул:

— Правов нет!

— Ленину жалобу послать!

— Произвол местных властей!

— Богоотступники! В жидовскую синагогу никого не поселили. Жиды, христопродавцы!

— Ага! Да! В мечеть да в костел не пошли! В православный монастырь подзаборников поселили. В православный... Ни в чей...

А «подзаборники» шумной ватагой уж со двора высыпали. Круглыми глазами всех оглядывали. Весельем скандала упивались. Под ноги, как щенки бестолковые, всем совались. Гришка про тоску и побег забыл. Сняли серые глаза, и голо-

венка с восторгом из стороны в сторону покачивалась.

Чудно!.. Бабы орут, у мужиков морды красные. А монашки чисто куклы черные на пружинах. Туды-суды кланяются. Губы поджали.

— Ишь, изобиделись!

И, набрав воздуху в легкие, полный задором бунтующим, Гришка около игуменьи прокричал:

— Сволочь чернохвостая!

Диким концертом бабы отозвались:

— Над матушкамн пащенок ругается!

— Молитвенницу нашу материт!

Смяли бы Гришку. Но часовой его за шиворот схватил. К стене монастырской отбросил. А сам только очухался. На скандал загляделся было. Другой тоже оправился и во двор крикнул:

— По телефону скажите! Наряд нужно!

Но шум уж разнесся по городу. С разных концов мчались конные.

— Расходись... Расходись...

— Граждане, которы не монастырски, назад подайтесь... Назад!..

Монашка одна взвизгнула и наземь кинулась. Конный к ней метнулся.

— Подсадьте матушку на подводу... Под бочок, под бочок бернсь. Клади... Гражданка игуменьша, на подводу пожалуйте. Подмогните! Проводите!

Смешливый стекольщик, в толпе застрявший, загоготал:

— Ишь ты! Ухажер военный подсыпался.

Живо подхватили:

— Гы-гы... Га-га... И монашкам хотится с кавалерами-та.

— Хотится с ухажерами пройтиться... Ха-ха-ха...

— Лешаки окаянные. Хайло-то распустили. Матушки наши! Печальницы!..

— Ы-ы-ы... Еще на копеечку, тетенька, поголоси, советску десятку отвалю...

— Охальники! Кобели проклятые!

— Ах, не выражайтесь, пожалуйста. Пойдем, Маня.

— Гы-гы-гы... «Пойдем, Маня». Фу-ты ну-ты, ножки гнуты... Юбка клош, карман на боку... Барышни-сударышни!

— Глянь-ка, глянь-ка, монашки добро укладают.

— Ишь, стервы, вышли с узелками. Убогие! А позади сундуки тащат.

— У игуменьи в подполье чугун с золотом нашли.

— Сто аршин мануфактуры!

— Какне мучеиицы, подумаешь! Не на улнцу выгоняют. Молиться и поститься и там можно. Правда, Вася?

— Я, как коммунист, губнсполком одобряю.

— А я не коммунист, ио тут я нх понимаю. Детей девать иекуда. П-а-ннмаю.

— Зиамо, околевать ребятам-то, што ли? Им тут покои да послушницы, а дети под заборамн.

— Которы снроты... В пролубь их, што лн?

— Ну-ну, расходнсь... Граждаие, граждане! Осадите!

Моиашки юбкн подобралн. Суетливо вещи укладывалн. Икоиопнсность свою потеряли. Толпа гудела. Сочувствне монашкам в разговорах сгасло. Гришка от стены тихоиько отделился и в толпу шмыгнул.

III

Вот один мужик на станции про себя рассказывал, сколько ему по разным городам шмаияться прншлось. И говорит: «Планида у меня такая беспокойиая». Гришка тогда засмеялся. Со всемн вместе, а не поиял. А теперь вспомнил, к себе применил:

— Плаинда у меня беспокойиая.

Сейчас, к слову сказать, ребятам там «бутенброты» с чаем дают, а Грншка по улнце ходнт да слушает, как в жнвоте урчит. Назад туда неохота все-таки. Да брюхо-то иесговорное. День протерпнт, два, а там н замает человека. И припасы — ау! Все нзничтожили. Шестеро их иа кладбище прячется. Пятерых Гришка сыскал, которые склад губиаробразовский с кучером обворовали да из прнемннка сбежали. Ну, на кладбище на иочевки прнстронлись. Деньги у тех-то были, да и Грншка с себя рубаху да штаиы верхине продал. Пальто казеииое иа худеиькое сменял. Прндачу дали. Все проели. Дием по городу каиючили без опаски. Кому иадо искать? Новых ребят каждый день приводят. Разве иа плохого человека попадешь, прнвяжется.

— Кто ты есть? Откуда?

А хороший пройдет себе по своим делам, куда ему полагается. И ие посмотрит!

Нынче деиь плохой выдался. Гришка у советской столовой стоял, инкто билетика ие дал. В детской, когда без карточек, с тарелок доедать дают, а иынче погиали. «Рабкрину» какую-то ждут. В один дом сунулся.

— Подайте, Хрнста ради... Отца на войие убилн, мамка от тнфу в больиице померла.

Взашей вытолкали.

— Иди, говорят, у комиссаров своих проси. Развели вас, пусть кормят.

Дивится Гришка.

— Дак нешто иас комиссары развели? Отцы да матерья. А к им подбросили. Ну, дак, говори с дураками! А есть охота. Столовые уж закрывают. Эх ты, иезадача какая вышла!

С горя дал башкиреику — тоже у столовой стоял — по уху, а тот ловкий. Кулаком в живот. Охиул, отдохиул да дальше пошел.

— Товарищ... дайте иа хлеб...

— Пшел с дороги. Сколько развелось, и мор не берет.

— Ишь, пошел, порфельчиком помахивает! Скупяга толстозадая!

Мальчишка папиросами торгует, к нему подошел.

— Почем десяток?

— Проваливай, шпаиа! Эдаки папиросы не тебе курить.

Гришка глаза прищурил.

— Ох, какой зазнаистый! А може, у меия десять тыщ есть.

— Есть у тебя десять тыщ, других оммаиывай. Ну-ка, покажи!

— Стаиу я всякому показывать. Може, и побольше было.

— Были да сплыли. Проходи, проходи, а то в морду дам!

— А ну, дай!

— И дам!

— А иу, попробуй!

— А попробую!

Встали посреди панели и друг на друга иаскакивают. А тут барыню какую-то нанесло:

— Это что такое? Ты торгуешь, мальчик?

А у того папироски-то в ящике в руке. Сдуру-то и суиься:

— Высшего сорту. Сколько? Десяток?

А оиа его за рукав:

— Пойдем-ка в милицию. Приказ о детской спекуляции читал? Неграмотиый? К родителям сходим.

Тот упирается, а оиа тащит. А Гришка, поиятио, драть. Чуть не влопался. Ладно, баба сырая, а то обоих бы захватила. Ну, деиек!

А деиек уж сгасал. Печальиым, серым стало небо. Одиа полоска веселая, розовая осталась. Да ие греет. Люди в дома заспешили. Ветер злее задул.

Путаются ноги одна за другую, а делать иечего. Поплелся на кладбище. Между вокзалом и городом, на пустыре оно. Стеиами камеииыми огорожеио, а калитка не запирается. Деревья иа ием сейчас от ветру скрипят. И сиег ие весь

растаял. Студеные ночи бывают. Но в яме у инх, в углу меж двух стен, потеплее. Два раза осмелели: костер жглн. Но часто нельзя. Дознаются.

Пришел Грншка со вздохом, а там радость ждала. Ребята пнщу «настрелялн» н Грншке оставилн. Две девчоикн от сытостн песню тнхонько заигралн. А онн, мальчншек четверо, друг другу про день свой рассказывалн. В яме снделн плотно. Тесно, а лучше. Теплее, да н по ночам ие страшно. А то ночью иа кладбнще жуть сходнла. Когда ветер шумнт и темно — лучше. А когда месяц на иебе выпялится и тнхо кругом — страшиее. Далеко собакн пролают. Там, где живые. А здесь тихо. Одио слово — могила. Чуднтся, затанлся кто-то н рот зажал, чтобы не дышать, а сам смотрнт. Из ямы выглянешь, кресты месяц освещает. Все кресты да памятннкн стоят прямо, застылн. Тоже будто затанлись, а грозят. Сегодня ночь темная, ветреная. Ветром жнвую жизнь от города доносит Васька конопатый, как сытый, всегда рассказывает. И ныиче иачал. Девчонки тоже замолчали, слушать сталн.

Разговор зашел, что, бывает, живых хороият. Васька н рассказ повел:

— А вот я вам, товарищи, расскажу, какой случай был. В одном городе... Ну, дак вот, барышия одна так-то... Не то реалнстка, ие то емназистка... Пришла ето домой да «ах, ах»... да «ах, папаша, ах, мамаша, помираю». Дрыг-брык, да на пол упанула. Мамашка ето к ей, папаша к ей, а она «помнраю да помнраю». Ну, канешно, снчас за дохтуром. Дохтура прнвезлн. Вот так н так, господни дохтур, памнрать хочет. Дохтур ее вызволять. Ну, каиешио, и квасом н шнколатом, а она, «нет, нет, помнраю». Дрыг-брык, и ие дышнт. Ну, дохтур уехал, канешно. Маменька это повыла, повыла, да в гроб ее обрядилн. Ну и схороинлн. Вот эдак же на кладбище. Оиа каиешио, там лежала, лежала, да давай шебаршиться. Слушает сторож, шебаршнтся! Слушал, слушал да к отцу с матерью барышннным. Онн людей понабралн, могнлку разрыли, а она уж вдругорядь померла, каиешно. А, вндать, шебаршнлась. Ножку одну, вот эдак под себя подвернула. И говорнт тогда дохтур: с ей был лнстаргическнй сои. И в газете так пропечаталн. Я тогда маманьке с папанькой своим прнказал: меня ие хороните, пока я не прокисиу и ие протухну. Да-а.

Ребята слушалн, затаив дыхаиие. А как кончил, Полька-дура завыла: «Боюсь».

Грншка ее урезоинвал:

— Дура, чего воешь? Набрехал все Васька.

А Васька божится:

— Ей-бо, лопни мои глаза, в газете было пропечатано. Не то реалистка, не то емназистка.

Петька-старшой, сам парнишка,— ровесник Гришкин, а строгий. Командир здесь. Он прикрикнул:

— Реви, реви, кобыла. Сторож услышит, он те пострашнее Васькиного покажет. А ты, пустобрех, заткнись!

Васька обозлился:

— Ишь ты! «Заткнись»! Я, што ль, в газетах печатал? А вот как дам тебе бяблю хорошую, так поверишь.

В это время в лесу: бах-бах! За стеной кладбищенский лес сразу начинался.

Дети затихли.

— Стреляют,— прошептала Анютка.

Тихо сказала, но страха́ в голосе уж не было. Не в первый раз они выстрелы слышали.

Гришка в темноте деловито брови нахмурил.

— Это которых на расстрел. Контрреволюционеров.

— А пошто? — Полька пискнула.

Петька отозвался:

— Вот дура. Который раз тебе говорю: супротив Советской власти которые.

Завозился молчаливый Антропка:

— А я боюсь, когда человеков стреляют. Больно.

А в лесу опять: бах-бах! Затаились. Слушали с любопытством. Мертвых боялись, а смерти еще не знали. И не пугала мука тех, в кого бахали. Антропка только задрожал. Он войну в своем селе видал. У него сердце в комочек захватило. И тоскливо, слезы проглотив, тихонько сказал:

— В тюрьму бы их лучче.

Петька презрительно сплюнул:

— А который подлец бесконечный, сам сколько поубивал. Его как?..

— А в тюрьму его...

— А он убегет, да опять убьет.

— А солдатов к ему приставить, он не убегет...

— А он солдатов убьет.

— А у него ривольверту нету, не убьет...

Крыл Петьку. Подумал — и сказал только:

— Ты дурак, Антропка!

А Гришка ничего не говорил, а думал.

«Как в их стреляют, жмурят они глаза али нет?»

И увидал вдруг словно: жмурят. Сердце, как у Антропки, защемило.

Затихли выстрелы. Дети выжидали: не будет ли еще?

Не дождалнсь. Пришел сои, веки смежил н всякне мысли отвел. Аитропка только во сие взвнзгивал тихонько.

Утром, как солиышко обогрело, все стало живым и радостиым. Тьма скрылась и тоску с собой уиесла. За стеиой кладбищеиской в губчека н в расстрел нгралн. Петька председателем губчека был. В одиой руке будто бы револьвер держал, а другой из пулемета стрелял. Польку с Аиюткой расстрелять водили. Аитропка с Грншкой расстреливали. Грншка весело комаидовал:

— Глаза жмурьте! Жмурьте глаза!..

В звоиких детскнх крнках не было ин кощунства, ии жути, ин гнева. Оин в простоте жнзнь больших воспроизводнли. А солнышко грело жарко. Будто лаской своей обещало: иовую нгру еще придумают, эту забудут.

Деиь веселый удался. Парижскую коммуиу праздиовали. В детской столовой без карточек кормилн. Кладбищеиские жнльцы в близкую очередь попали н покормилнсь. А потом по улицам с народом за красиыми флагами ходилн. «Интериационал» пели. На площадях ящнки высокие красным обтянулн. На инх коммунисты рукамн размахнвали н про Парнжскую коммуиу что-то крнчалн. Одии Гришке больше всего погляиулся. Большой да кудлатый, орластый. Далеко слышио! По ящнку бегает, патламн трясет, а потом как по стенке ящнка ударит кулаком:

— Шапки долой, буду говорнть о мучеииках коммуиы!

Здорово и ятио рявкиул. Гришка слова запомиил, а потом сам в толпе кричал:

— Шапки долой, буду говорнть о мученнках коммуны!

Около бабы какой-то закричал, оиа ему затрещииу влепила.

— Свииеиок, вопит без ума! Кака така коммуна-то — не зиает, а орет!

Гришка голову, где влетело, погладил н дальше радостиый помчался. Как не знает? Зиает. Коммуиа — это у коммунистов, а Парижеска... Город такой есть. За Москвой где-то. Слыхал еще в детском доме: «большой город Париж, в его прнедешь — угоришь». Нет, Гришка, брат, знает. И сиова в буйном восторге заорал:

Сваею собственной рукой!

Народ опять остановился. Не то баба, ие то барыия на ящнке тоненькнм голоском визжала. Что — не разберешь, а смотреть иа иее смешно. Расходуется. Грншка ее тоже тоиеиьким голоском передразннл: н-тн-тн-тн! И дальше пошел. А из толпы пьянеиький выскочил.

Пальто чистое, и шапка с ушами длинными набок, а на груди бант красный прилеплен. Худенький, щербатенький и глазом косит. А сам руками машет и орет:

— Товарищи, прашу вас апракинуть капитал!

Его за пальтишко хозяйка его, видно, ухватила, а он рвется к «ящику»:

— Убедительно прашу вас апракинуть капитал!

Подлетели к нему два конных и под ручки подхватили. В толпе захохотали:

— Вот те опрокинул капитал!

— И чем натрескался? — завистливо удивился хриплый бас.

Гришке новая радость. К кладбищу с криком звонким летел.

— Товарищи, прошу вас опрокинуть капитал!

Однажды ночью кладбище оцепили. Крупного кого-то искали, а нашли — Гришкину коммуну. И в призрачный час предрассветный, спотыкаясь спросонок, плелись малолетние правонарушители знакомым путем. Усталые красноармейцы ругались, но не били.

IV

После ночной отсидки опять в наробраз повели. Партию в пятнадцать человек. Три милиционера провожали. Старший всю дорогу кашлял, плевался и ребят отчитывал:

— Ну, какие из вас человеки вырастут, как вы сызмальства под конвоем? Навоз вы, одно слово!

— И на что вас рожали? Тьфу. Ну ты, голомызай, не веньгай! Биз тибе тошно.

А башкиренок косоглазый не понимал по-русски. Визжал и бежать хотел. Рябоватый милиционер ему винтовкой погрозил, потом за длинную рубаху взял и за нее за собой тащил. Тюбетейка в грязь упала. Старший поднял и набекрень ему ее нахлобучил. А башкиренок рвался в сторону и кричал. Неподвижным оставалось скуластое желтое личико, крик был скрипучий, но монотонный.

— Ига кайттырга ты-лэ-эм (домой хочу)!

Ворчал старший в ответ:

— Катырга, катырга... Знамо, каторга. И вам, и нам с вами. А ты не скрыпи! Коли тебе жизня определила каторгу, скрыпи не скрыпи — толк один. Навоз, как есть навоз! Не скули!

А башкиренок скулил. Как щенок, на которого люди впопыхах наступили. Проходящие на ребят оглядывались. Се-

дой господнн, с воротником и в нынешний теплый день поднятым, остановился. Головой покачал н громко сказал:

— Безобразие! Детей с винтовками провожают. Били, верно, малайку-то?

Старший к нему дернулся:

— А жалостливый, дык возьмн к себе! Кажный день таскаем. Жалеете, а кормить не жалаете?

Господин возмущался. Дети дальше брелн.

В наробразе, нзвестно, в комнату по делам несовершеннолетних. А там уж на полу сидят. Старенький делопронзводитель в бумагах заплутался. Мается и листочки со стола на пол роняет. Барышня с челкой завнтой в шкафу роется. Другая, постарше, со стеклышками на носу, шнурочек со стеклышек теребит и сердится.

— В губисполком всех отправлю. Куда хотят, пусть девают! Что это...

А в дверь еще с ребятами. Всякими. И в казенной одежде, н в одном белье, и в ремушках разных.

В прнемник Гришкнну партию отправнлн. Там сказали:

— Некуда. Не примем.

Назад прнвелн. Старший сопровождающнй плюнул и ушел. Двое другнх цигарки завернули и на пол на корточки присели отдохнуть. Грншку замутнло. И от голода, и от воздуха в комнате тяжелого. А больше от тоскн. На пол сел, мутными глазами в потолок уставнлся, крепко губы сжал. Лнцо стало скорбным и старым. А в комнату брнтый, долгоносый, с губами тонкими вошел. На голове, острой кверху, кепка приплюснута была на самые глаза. Ступал твердо. Точно каждым шагом землю вдавлнвал. И башмаки, чисто лапы звериные, вытопталнсь. Как вошел, на стул плюхнулся. И стул тоже в пол вдавил.

— Што? Навертываете? Все с бумажечками, с бумажечками? В печку все этн бумажки надо. А ты, башкур-дистан, чего воешь? Автономню просншь?

Глаза узкне щурнл н тонкие губы кривил. Над всем смеялся. Как говорил, рукн все тер ладонями одна о другую, ежился, ноги до колен руками разглаживал. Весь трепыхался. Смирно ни минуты не сидел. Каждый сустав у него точно ходу просил. Дела.

— Подождите, товарнщ Мартынов,— затянула жалостно старшая барышня.— Всегда вы с шумом. Вот голова кругом ндет. Куда нх девать?

— Сортиры чистить, землю рыть... Куда? Место найдется. Эй ты, арба башкнрская. Долго еще проскрнпншь?

И похоже передразнил:

— И гы-гы-гы...

У башкиренка глаза высохли. Губы в усмешку растянулись. И скрип свой прекратил.

— Ну, так, барышни, как? Все бумажечки, бумажечки? По инструкции, с анкеточками?

И опять ладони одна о другую.

— Десять этих барахольщиков я у вас возьму. Десять могу.

— А вот хорошо, товарищ Мартынов,— обрадовалась старшая.— Мы вам сейчас отберем. Тут есть такие, у которых дела уж рассмотрены.

— Я сам отберу. У меня своя анкета.

И к ребятам со стулом повернулся. На белобрысого высокого мальчишку взглядом уперся.

— Эй ты, белесый! Воровать хорошо умеешь?

Тот скраснел и затормошился.

— Меня занапрасну забрали. Это Федька Пятков украл,— а я...

— Врать хорошо умеешь. А драться любишь? Врукопашную или с ножиком?

— Нет, я не дерусь.

— Не дерешься? Дурак. А ты што прозеленел?

Это Гришке он.

Гришка глянул, как он на стуле вертелся и руки одна об другую скоро, скоро шваркал, и засмеялся. Вспомнил: «Обезьяну эдакую беспокойную в зверинце видал. Похоже. И руки длинные, и мордой чисто дразнится».

— Что смешно? Рожа-то что у тебя зеленая?

Гришка носом шмыгнул и в ответ:

— Прозеленеешь. Не пимши, не емши с утра тут!

— Не привык разве без еды?

— Привыкашь, привыкашь, а все брюхо ноет.

— Из тюрьмы, што ль, бежал?

— Какая тюрьма? Я малолетний. Из монастыря бежал.

— Пострижку уж делали? Это, друг, у них не монастырь, а меди-ко-пе-да-го-гический городок зовется. Сукины дети — придумают? Што же ты бежал?

— А так. Неохота там.

Старшая барышня ученые глаза сделала и сказала:

— Дефективный. Очевидно, категория — бродяжников.

— Вот и под пункт тебя подвели. Умные! А звать тебя как?

— Песков Григорий.

— Ага. Ну, так, Григорий Песков. В тюрьме, говоришь, не сидел?

— Как не сидеть! Сидел. Сколь раз. А только как теперь не полагается. Малолетних правонарушителев устроили.

Захохотал негромко, нутром, и лицо человеческое стало — не обезьянье.

— Слышите, товарищ Шидловская, правонарушителев устроили? Ха-ха-ха. Сортиры чистить будешь?

— Дух от их нехороший. А надо, так буду.

— Ну, ладно. Со мной поедешь.

— Куда?

— Там увидишь.

— Скушно будет — убегу. И через часовых убегу,— со злым задором Гришка кинул.

— У нас часовых нет. Беги. А плохой будешь, так и сами вышибем. Под задницу коленкой! Нам барахла не надо. Этого беру.

И других ребят с усмешкой выспрашивать стал. Смирных да ласковых не брал. Трех девчонок отобрал, шесть мальчишек да башкиренка скрипучего.

— Через три дня на вокзал приходите, а завтра здесь ждите. Для тела покрышку найдем.

— Так ведь их надо куда-нибудь устроить, товарищ Мартынов, на эти дни. Нельзя же их без надзора.

— Как же! Гувернантку им с французским языком приставить надо. Парле франсе, Григорий Песков!

Почти все ребята засмеялись. Даже башкиренок. Морду больно хорошо скроил Мартынов.

— Вы всегда с шуточками, товарищ Мартынов. Даже раздражаете! Вы не понимаете, что они сплошь дефективные...

— Как не понять! Наркомпрос разъяснил в инструкциях все как следует. Накормить их, барышня, надо да на работу, камни ворочать! Ну, вот что, которых отобрал, пойдемте продукты получать!

— Ну, слушайте, это же безобразие! Надо же список хоть на них составить, потом выяснить, куда их на эти дни определить, охрану вызвать, чтоб до места проводить.

— Насчет списка навертывайте, как хотите, если писать больно любите. А охрану не надо. Я их к себе на квартиру возьму. Айда, продукты получать!

— Да ведь они у вас все разбегутся!

— Убегут, в дураках останутся. Опять в ваш медикопедагогический монастырь попадут. Пишите список. Ребята, сейчас за вами приду, пойду снабжение пощупаю.

На ходу мазнул рукой Гришку по голове и ушел. Гришке

отчего-то радостно стало. Длинная рука ласково по голове прошлась. И подумал Гришка:

«Этот ничего. Мужик стоющий».

Никто из десяти не убежал. Не три дня, а неделю прожили с Мартыновым в его маленькой комнате под вздохи квартирной хозяйки. Но вздохи эти слышали только в первый день, когда к вечеру пришли. В остальные дни возвращались поздно. Ко сну сразу. Целые дни гонял их Мартынов за получениями во все концы города. В одном месте посуду достал, в другом мануфактуру, в третьем крупу. Потом в теплушку грузили ящики со стеклом. С кучером Николаем на заимку за коровами ездили. Отовсюду собирал в колонию, как хозяин домовитый, Мартынов. Лазейку нашел во все склады, для других замкнутые наглухо. У председателя губчека, к улучшению жизни детей свыше приспособленного, в кабинете часы стенные для колонии снял. И все на ходу потирал ладони одна о другую. Над всеми посмеивался. На ребят покрикивал:

— Эй вы, барахольщики, что брюхо распустили? Навертывайте, навертывайте. Башкурдистан, с Николаем воду носи! Скот напоить надо.

И понимал башкиренок русскую речь по жестам живым. Летел во двор с гортанным криком.

Гришка ожил. Главное дело — весело. Сколько народу за день переглядишь.

Высыхает уж земля. От деревьев дух сладкий, весенний пошел. Солнце тороватое стало. Почти весь день греет. Дождик, если пойдет, так радостный. Только умоет, и опять допустит солнышко все обсушить.

Бегать легко! В первый же день, как из наробраза вышли, в парикмахерскую их Мартынов повел. Головы всем обрили наголо. Даже девчонкам. Потом в бане отмылись и в штаны короткие обрядились. И девчонки. Чудно! А ничего, привыкли. Одежда легкая. И не хочешь, да скачешь в ней. Штаны до колен, рубашки без воротников и рукавов.

Дорога вся в колонию была для Гришки — как первый сон чудесный.

В двух теплушках ехали. Худых коров и лошадей вместе с собой везли. На остановках убирали за ними. Воду носили. Широко расставив ноги, Мартынов воду качал. На ребят покрикивал. Во время хода поезда с ребятами про них разговаривал. Не расспрашивал, а все сами про себя наперебой ему рассказали. Гришке он сказал:

— Родителей нет — это, друг, хорошо. Родители — ба-

рахло! Мать юбкой над сыном трясет, сын бездельник выходит. Родили — и ладно. Сам живи.

— Да, а милиционер говорил: вы — как навоз.

— Навоз — хорошо. От навоза — хлеб хороший будет. Ну, ну, друзья, коров на этой остановке подоим. Молоко пить будем. Молоко — это хорошо.

Мяса не ел, над ребятами смеялся:

— Барбосом закусываете? Зажваривайте, зажваривайте.

Гришка визжал от восторга:

— Это говядина, не собачатина!

— Все равно. Один черт. Барбос! Вот молоко хорошо. Это, друзья, хорошо!

В одной теплушке Мартынов верховодил, в другой кучер Николай. Вот и вся охрана. Ребята менялись. То одни с Мартыновым ехали, то другие. Сами очередь установили, какой пролет кому с кем ехать. На душистом сене валялись. Песни пели, кто какую знал и хотел. Лучше всего у башкиренка вышло. Слова непонятные, не запомнишь. А похоже, что выходило:

Ай дын бннды дынды бннды.
Ай дын бннды дынды бннды.

Чудно! Пять раз пропел. Ребята просили. Глаза закроет, ножки под себя крест-накрест, качается и поет. Хорошо! Еще пять раз Гришка слушать готов.

В широко открытые двери теплушки вольный ветер степной, духовитый врывался. И буйную радость с собой приносил. Гришка криком, визгом, прыжками восторг свой в степь посылал. Для него мчится этот поезд. Для него паровик ревет. Первый раз так почуял: все Гришкино, все для него! И кричал в открытую дверь во всю силу легких:

— У-гу-гу-гу-гу!..

Вечером, когда кругом прохлада легла и тихоньким быть захотелось, молоко пили. Теплое парное молоко. Сами надоили. Ух, и молоко! Да разве расскажешь? Первый сон чудесный разве расскажешь? Ну, как расскажешь, как сами лошадей из вагонов выводили, сами телеги запрягали? Как темной ночью по лесу незнакомому ехали. И сладкой жутью лес обнимал. Как в сказке!

V

Гришка через озеро громким голосом горы спрашивал:

— Кто была первая дева?

Горы отвечали:

— Ева-а!

Смеялся Гришка.

— Ишь ты, каменюги, разговаривают.

И снова, грудь воздухом подбодрив, орал:

— Хозяин дома-а?

Горы сообщали гулко и раскатисто:

— ...Ома-а!

— Эха это называется. Ха-ар-ашо!

Во всем здесь жилки живые трепещут. Все на Гришкин зов ответ шлет. Не в городе. Там собачонка лаять может, а молчком норовит укусить. Дома не подхватят голос человеческий.

Радостно на камне стоять. Солнце еще раскалиться не успело, а камень теплый. Вчерашнее тепло за ночь не растерял.

Волны на камень несутся. Ровным голосом тянут:

— У-у-у-х... у-у-у... у-х.

Одна большая нарастет. Разбахвалится. Голоса всех прежних покроет и раскатится.

— У-ух-ху-ху-у-у!..

И Гришкины босые ноги обольет. Они все в царапинах от камней и кустарников. Как солнышко обсушивать начнет — саднит. А хорошо!

— Дери, матушка-вода, отмывай.

Штанишки короткие долой. Рубах не носят мальчишки в жаркие дни. И в воду. Охватила, прильнула, и опять кричать охота. С волнами, с небом, с лесом, с горами, с птицами, зверями и человеками говорить.

— Го-го-го-го!

А с горы ребячий отклик несется:

— Песк-о-ов! Гришка-ка горласт-а-а-й!

И трое, по пояс голые, в штанишках коротких, с горы несутся. Ногами камни с крутого спуска сбивают. Впереди всех Тайчинов. Башкиренок, с которым вместе Гришка сюда приехал.

Голову набок и, как лошадь степная, ржет. Потом прыжком, по-звериному легким, с последнего уступа к Гришке на берег.

— Рожка трубить скора нада! Зачим пирвый драл? Работать ни будишь, исть рази будишь?

— А я-то не работал? Магомет прилипучий! Ране всех воду из бочки носил, молоко мерил. Ты глаза-то не разлепил?

— Ну латна, латна. Айда, башкой ныряй, глядеть хочу.

А сам уже в воде. Радостно визжал. Гришка послушно

на песок выбежал. На руки вниз головой стал, в воздухе ловко перевернулся. И в воду головой.

Тайчинов восторгом захлебнулся:

— Баш... кой мырят! Башкой! Уй-уй-уй!..

Синеглазый полячонок Войцеховский тоже «башкой мырнул». Белым, будто хрупким, а сильным тельцем в воздухе сверкнул.

Степенно в воде пофыркивал крепкий плечистый хохол Надточий и вдруг басисто рявкнул:

— Ого-го-го! Оце ж так озеро! Всем озерам озеро-о!

Озеро хорошее. Нынче синее, радостное. А когда с утра дыбом встает. Сердится и белой пеной отплевывается. А само серым станет. И всегда шумит. Морю шумом не уступит. Когда тихое, чуть не до дна всю жизнь озерскую разглядеть дает. Какие-то тут приезжали со снарядами всякими. Озеро вдоль и поперек мерили. Ребят с собой в лодку по очереди брали. Так вот эти говорили по-ученому: вода в нем радиоактивная. Ребята с гордостью друг другу передавали:

— В нашем озере вода радиоактивная.

Большое озеро. Как из лесу выйдешь к нему, широко, вольно сразу станет. Берега горами вздыбились,— горами высокими, лесистыми. Облакам грозят. Но озеро не теснят. В чаще горной вольно колышется чистое. И лес озеру радуется. Березки кланяются. Сосны и ели смолистый запах шлют. В лесу дома-дачи прячутся. А которые близко на берег выпялились. На крутизне надбережной семь дач красуются. Колония детская. Отошла подальше от деревни и других дач.

Веселый берег у колонистов. У пристани четыре лодки качаются. И лучше всех белая парусная «Диана». На палках двух высоких холстина надписью яркой манит:

«Трудом и знанием побеждена стихия».

Любил Гришка эту надпись. Как на лодке в пристань возвращался, всегда громко читал:

— «Побеждена стихия». Во-о!

Слово-то какое! Стихия. И не объяснишь, а как услышишь — богатырем охота стать. И озеро — стихия. Оттого и шумит.

Весь берег каемкой разноцветной у воды украсился. Круглыми, серыми и белыми камешками и песком золотым на солнце. В одном месте из лесу большой старый пень выступил. Дети на нем голову старика в красной шапке разрисовали. Красками разными. И глядит пень, как живое лицо стариковское. Только бородой белой не трясет. А то прямо живой! Вон, с берега глядит.

А на круче, как зверюга лесной, только без шерсти, голоногий Мартынов. Тоже в коротких штанах, как ребята, и в сетке редкой до пояса. Шел и камни на круче вдавливал. Издали гудел:

— Эй, вы! Интернационал чумазый! Проплескались? Будить других пора. Скорее! У меня чтоб — хны!

Четверо мальчишек на разные голоса отозвались:

— Хны!.. Хны!.. Хны!.. Сергей Михалыч, хны!..

Никто в колонии не знал, что это слово значит. А у Мартынова оно все. Хны — хорошо, хны — плохо. Хны — быстро и ловко. Что хочешь. И только в колонии Гришка от него это слово услыхал. В городе не говорил. Это мартыновское здешнее слово. Для своих.

Гришка первым в кухню примчался. Сегодня Гришкина компания дежурит. Восемь человек. Четыре девочки на террасе сейчас хлеб раскладывают. Ух, и обед сегодня будет! Вчера сговорились кашу манную по-новому сварить. С тыквой. Сами ребята готовили, сами и обед придумывали. Состязались дежурные компании каждый день. Кто лучше накормит. Хлеб не навыкли еще печь. Пекарка была. А остальное все сами. Дров-то вон гора на день наготовлена! С вечера рубили. Гришка лихо и скоро колол. Мартынов увидал, рожу скроил и руки потер.

— Ага, Песков — хны!

Весь вечер Гришка похвале радовался.

Ну, сейчас все готово. Молоко, кипяток. Хлеб девчата разложили.

И певуче, но властно запел рожок:

— Ту-ру-ру-туру-ру-туру.

Берег скоро усыпало. Разноголосые, разноголовые, синеглазые, черноглазые,— всякие. Мылись, плескались, барахтались. Крякали, ухали мальчишки на своем купальном месте. У пристани девочки купались. Визжали тонко, пронзительно. Но были стриженые, легкие в прыжках. На мальчишек походили.

Второй раз запел рожок.

С озера гомон в дачи хлынул. Девчонки белыми безрукавками замелькали. Голые торсы мальчишек солнцем золотились. Мчались все на террасу-столовую, как на приступ.

Махонькая черноголовка-девочка прозвенела из толпы:

— Дежурные, чай пить идем.

Гришка, в сером халате кухонном, с террасы закричал:

— Эй, эй!.. Я стих составил. Слушай-ти-и:

Рожок поет,
Чай пить зовет!..

Надточий в ответ рявкнул:

— Не чай, а кофю...

Мартынов тут как тут. Морду скроил и, как дьякон в церкви, пробасил:

— Я без чаю не скучаю, кофю в брюхо наливаю. Графья, не хотите ли кофею?

Смех волной все кругом покрыл. А Мартынов уж на дворе у склада.

— Кто луки разбросал? Хны! Эй, раззявы, прислужников нет. Петруха Федяхин, ты вчера в ночное ездил? Еще кто? Опять скачки устраивали?

Расставив ноги, в землю у склада врос. Завхоз около него тонкие губы поджимал. Жаловался.

— Кучеров не велите нанимать. Николай все в отъезде больше. А это какие хозяева? Перепортят весь скот. Одна слава, что работники!

— Работники — барахло! Научатся. Песков, чего иноходцем с кипятком скачешь? Не видишь, из чайника льется. Хны!

А Песков Анну Сергеевну увидал. Идет высокая, беленькая, тихонькая. На ребят уголком рта дергает. Это улыбка такая у ней.

Ничего и никого Гришка раньше не любил. Все все равно. А в колонии всех полюбил. Анну Сергеевну больше всех. Как солнышко она. Горы, озеро, лес — хорошо! А солнышко лучше всего. Почему она солнышко? Так. Не знал Гришка. Только, как посмотрит, все кругом еще краше станет. Как вместе дежурили, таз с помоями с ней, как икону, нес. Мартынов два раза заприметил. Крякнул.

«Растет, мерзавец!» — подумал и «хны» сердито сказал.

Но потом пригляделся. Весна у Гришки. Здоровая, чистая. Нет хватанья и мути во взглядах. Вся короста шелудивая, от прежних скитаний, отсохла. Нет следов. Здоров. И прояснился.

— Григорий Песков, хны!

Смотрел и за другими зорко. Были с девчонками взгляды нежные. Лысяева Нюрой-большой ребята поддразнивали, но не было мутного вожделения, рано созревшего. К девчонкам привыкли. Прикосновения не обжигали. Не было того, что в городах в детских домах часто случалось. Сам дивился.

— Вот она мать-природа и труд! Вылечили. Сколько город на этих детей налепил нечистот. Отмылись. Как надо, как здоровое растут.— Морду скроил, по ногам себя ударил и мыслью закончил: «В свое время хороший приплод дадут».

Терраса широкая гудела. Вся колония здесь. И дети, и

воспитатели, и кучер с пекаркой, и прачка со швеей. Взрослых не сразу найдешь. Девять их только в колонии — и сотня детей.

После чаю все в разные стороны партиями рассыпались. Одна партия в лес грибы собирать на зиму отправилась. Лошадь с телегой тихо по дороге шла. Ребята в траве кувыркались. Тоненький, легкий, стройной сосенке родня, татарчонок впереди дорогу на грибное место указывал. Первый ходок в колонии. Все места знал. На ночевку в лес один раз за семь верст ходили, одеяла забыли. Сбегал — одеяла принес. Потом целый день с охотником за птицей вприпрыжку без устали ходил. И сейчас шел, точно крылья за спиной помогали. Вдруг остановился и закричал:

— Место! Айда!

За работу принялись.

Другая партия на лодке с песнями отплыла. На тот берег за рябиной ярко-красной. Еще мороз не хватил ее. На сушку набрать надо. Озеро у берегов шумит, а посредине ни складочки. Ну, день сегодня!

Гришка в третьей партии. С большими самыми, версты за три на ферму, с песнями пошли. Мартынов с ними. Новую дачу отвоевал. Поместье целое. Там постройка шла. Колонисты сараи строили, ямы копали, доски возили, камни таскали, кирками камень долбили. Упорно.

Ноги на работе в кровь избивали, а радость не сгасала от боли. Там Мартынов придумал оранжерею на зиму устроить.

В наробразе смеялись:

— Электрификацию в своей колонии не затеваете ли?

Посмеивался, руки потирал, а заявлял твердо:

— Затеваю. Электрическую машину на зиму поставлю.

Дружно над ним издевались. А машину из губернского города, действительно, привез.

В наробразе дивились:

— Ну, хват!

А ребята говорили:

— Мартынов, это — хны!

И когда Мартынов рассказывал, как колония на всю окрестность засветит, как разбросает три, десять, двадцать таких колоний кругом, дети верили. И по-другому смеялись. От радости. Как смеются, когда дух захватывает.

Гришка думал:

«Всяких людей видал, а этакого нет. Рвач!»

Дети в колонии всякие были. И от родителей бедных взятые. С копей. И сироты из детских домов. И правонаруши-

тели, как Гришка. Только хилых и больных Мартынов не брал...

...Ходу здоровым! Вор, мошенник — давайте. Коли тело здоровое, выправится.

Не все выправлялись. Где-то прочно внутри заседала гниль. Томились в обстановке постоянного труда. Отставали в работе, хмуро смотрели после. Кроил гримасу Мартынов и в город назад их отправлял.

Воспитателей много назад угнал.

— Инструкции пишите,— это у вас хорошо выходит.

Барышня одна беленькая, красивенькая приезжала. Рисованью обучать хотела. Все цветочки рисовала и платочки на голове по-разному повязывала. Один раз после бани повязала, на икону похоже.

Гришка, как увидел, громко запел:

— Богородице деворадуйся!

И прозвали ее «богородицей». А если оденется, как все воспитательницы, в штаны широкие и рубашку, то на шее золотая цепочка с побрякушкой болтается, на руке браслет. Ребятам смешно. Ехать куда подальше соберутся, все спрашивает:

— А дождя не будет?

Тайчинов визжал:

— У-уй... Страшна! Размокнит.

Ходить долго не могла. Раскисала. Один раз устала и ребят попросила нести себя. А ребятам что? Руки сплели, посадили. А она улыбки, как подарочки, во все стороны.

Мартынов увидел и рявкнул:

— Николай! Утром на станцию Клавдию Петровну увезешь. Ее в город надо срочно доставить.

И увезли.

До обеда все в разных местах работали. После обеда в колонии. Кто белье себе стирал, кто двор убирал, кто с плотниками работал. Работу свою кончив, в библиотеку шли. Книжки читали. Но читающих мало было. Не тянула книга. Еще мертвыми слова книжные казались. Картинки любили смотреть. В шахматы и в шашки резались. Перед вечером до темноты играли около Дома культуры. Так дача называлась, в которой библиотека и зал собраний были. Играли в баскетбол, в городки, в лапту. После ужина пели. Иногда рассказы слушали. Иногда плясали. Пели Гришкин любимый «Интернационал» и русские песни проголосные.

У одного воспитателя голос хороший был. И у Нюры-большой. Ух, и пели! У Гришки в горле щипало и мурашки по телу ходили. Рассказы были хорошие и похуже. Слушать не за-

ставляли. Гришка один рассказ больше всех любил. Как целое государство от голода на новые земли пошло. В горах крупных поселилось; и был у них стрелок один. Яблоко с головы у сына сшиб. Вильгельмом Теллем звали. Ух, хорошо! Кабы, говорит, не сшиб,— другая стрела для тебя припасена. Это правителю он. Вроде царя который.

И казалось Гришке, что все это в их горах было, где колония. И озеро тут... Все похоже. Из книжек тоже читали. Про Тараса Бульбу больно хорошо.

Но сам Гришка, как и большинство ребят, читать не любил. Живая жизнь книжку заслоняла. После ужина время минутой одной пролетало. И хоть уставали за день, но, когда кричал Мартынов: «Спать, спать»,— уходить не хотелось. Но он, посмеиваясь и руки потирая, выталкивал всех из Дома культуры. По дачам рассыпались. На постель сразу плюхались. И сразу сон слетал. Легкий, без видений печальных. И тут мальчишки охальничали спервоначалу. А теперь не видал Гришка. Главное дело — целый день не присядешь. Постель сразу успокоит.

А лето день за днем на нитку нанизывает. И конец скоро его нитке. Солнышко сдавать стало. Занедужило. Погреет, погреет, да и отдыхать спрячется. Паутинки меж деревьев затрепетали. Листья перед смертью позолотой стали покрываться.

О мартыновской колонии разговоры пошли. Из города смотреть приезжали. Не хвалили.

Одна комиссия сказала:

— Образовательной работы нет. Слишком много тяжелого физического труда. Вредно в этом возрасте.

Мартынов дергался, руки потирал и похохатывал:

— А вам бы для картиночки только работать? Дальше танцуйте, дальше от нас. Здесь свое образование. Зима придет, за книгу засядут. Сейчас некогда. Работать надо, чтоб зимой не сдохнуть. Зимой детские дома закроете, а мы выживем. Больных у меня видали? Хны!

Московская одна баба, худая, рыжая, приезжала. Подкормиться послали, а между прочим по делу. Все везде нюхала и губы поджимала:

— Здесь морально-дефективные есть. С ними работы отдельной не ведется.

Мартынов по ляжкам себя хлопал и опять смеялся.

— Вы книжечку об этом напишите. Нам на подтирку пригодится.

И вдруг свирепел:

— Воров из города привез. Где замки у нас? Только

на складах. А ключи у кого? У воров этих самых. Что пропало? На ночь в швейной открытой всю мануфактуру оставляем. Что пропало? Ни двери, ни ворота не запираются. Сторож — собачонка Михрютка одна. Вон правонарушитель Григорий Песков. Всю Сибирь исколесил. Весь матерный лексикон изучил. А теперь приглядитесь. Хоть в помойку вашу его отпустить — не страшно. Правонарушителей у меня много. Укажите, которые! Ну, ну. То-то! Хны!

Пожимала плечами москвичка.

— С родителями вы очень грубы. Бедные матери повидаться приедут, а вы через день их гоните.

По ляжкам себя хлопал и весело соглашался:

— Это — да. Матерей не люблю! Барахолят тут. А ребятам барахолить некогда. Да и сами они с ними не сидят. «Ах, мамашенька...», «Ах, сыночек». Это, товарищ-мадам, можно, когда гнидой живешь. А сейчас работай, сам себя спасай! Хны!

Губы надула и уехала московская. Ее тоже на работу потянули было.

В полуверсте от колонии дачи здравотделом заняты были. Курорт. Отдыхать советских служащих присылали. Барыни жир нагуливали. Приходили и по колонии прогуливаться с кавалерами. Мартынов раз стерпел, два стерпел. Потом один раз из кухни в халате белом с поварешкой выскочил. Дежурил в этот день. И давай чесать:

— Что, бульвары тут для вас? Мадамы, не желаете ли посуду помыть? Нет? Так в калитку пожалуйте. Проваливайте! Барахольничать тут нечего. Жалуйтесь, жалуйтесь. В Совнарком телеграмму пошлите. Хны!

Еле калитку нашли.

А ребята картинку потом нарисовали. Забор свой решетчатый. На заборе у калитки Мартынов в образе медведя ревет. Внизу Михрютка лает. И подпись:

«Нельзя ли для прогулок подальше выбрать закоулок».

Сам Мартынов всегда в поисках. Книжек не читал, не рассказывал. Некогда было. Накрутит в колонии и в город за мукой едет. Потом лесу для колонии достает. Все в свой муравейник тащит. Затворки герметические для печек печники потребовали. К зиме колония готовилась. Нет затворок. Пошел сам с Николаем в пустых дачах у здравотдела вывернул. Начальство курортное в губернию жаловалось: дачи пустые, но ремонтировать будем, а он стащил. К ремонту здравотдел уже год готовился.

Мартынов бумажку из города получил.

— Хны!

И бумажку изорвал. Что с ним поделаешь?

Осень свою нитку до средины допряла. Березы облетели. Бор глухим, сумрачным стал. Насупилось небо. Злобно плакало проливным дождем. Озеро больше не синело. Прочернело и с ревом берега било. Птицы улетели. Волка на пашне видели. В дачах печки протапливать стали. Мальчишки штаны длинные надели, девчонки — юбки. Курорт опустел. С гор ветер злой подул. В дачах пустых гулял. В колонии в крыши злобно бил. Сорвать хотел.

И не только дождь и хмарь с осенью пришли. Голод поближе к колонии придвинулся. Мартынов из города злой приехал. Своим «хны» не ласкал, а ругался.

На собранье детям сказал:

— Сколько есть муки, на месяц должно хватить.

Хозяйственная комиссия подсчитала и паек определила: без четверти фунт хлеба. Мяса не стало. Рыба из озера поддерживала. Но трудно пришлось ребятам. Работа тяжелая. Пашню пахали. Места мало было для пашни. Пни в лесу корчевали. На ферме работу заканчивали. Техник приехал электричество налаживать. Обрадовались, усталь забыли.

Гришка про Америку недавно услыхал, а теперь глазами засиял:

— Товарищи, на ферме у нас новая земля. Это — Америка. А в старой колонии Европа. Вот дак ух!

И ребята подхватили:

— Айда в Европу! Кто в Америке сегодня ночует? Чей черед?

Партиями с техником на ночь по очереди оставались. Вечерами одеяла стегали. И мальчики, и девочки. Надо было спешить. Вату поздно достали. Вторую швею привезли. Но швеи одежду верхнюю шили.

А ветер с гор все свирепел. С воем злобным в окна швырялся, выл в трубах. Скоро выстывали печи. Дров много надо нарубить и привезти. Сугробы лягут, не проберешься.

Деревня близко от колонии была. Совсем сникла. В деревне и летом хлеба не хватало. Ягодами, грибами, картошкой кормились. Картошка не уродилась. В хлеб кору прибавлять стали. Ребятишки голодные в колонию прибегали стайками. Как воробьи за крошками. Детский дом в деревне был. Заморились там ребята. И летом было — не как в колонии, а теперь смерть дохнула. Мальчишек из детского дома у завхоза курортного во дворе поймали. Мясо украли.

Мартынов колонистам рассказал.

Гришка затрепетал. Глаза помутнели и стал просить.
— К нам их, в колонию!

Собраннем постановнли своим отделением счнтать этот детскнй дом. Хлеб н на ннх распределнть. По полфунту пришлось на каждого. Хозяева былн еще плохне. Летом что запаслн, подъели. Грнбов совсем мало осталось. Картошку поздно выкопалн. Половнну деревня украла. Огород мало дал. Из города ннчего! Крупа кончилась. Щекн у ребят поблекли и втянулнсь. Уставалн, раньше спать расходилнсь. Но смех еще часто звучал.

Мартынов посменвался еще и командовал:

— Пояса потуже! Чемоданы подтяннте. Хны!

Но реже морды кронл н часто на станцню езднл. Ночью одной озеро разбушевалось. С гулом тосклнвым о камнн бнлось. Потом злобой вскипело н раскатывалось:

— У-ух... У-ух. У-уф!

Ветер стены рвал. Разбнть хотел. В трубе гудел: вышибу-у, вышнбу-у. Когда стнхал, вой доноснлся. Волкн илн собаки голодные? Электрнчество еще не провелн. К стеклам темная ночь прилнпла н дачн мраком жутким затопнла. Дети уснуть не моглн. Разговор тоже все обрывался. Слушалн, как стены трещалн и озеро выло. Будто горы разорвать хотело. И всем, кто блнзко, проклятье посылало.

Грншка покрутнл головой:

— Стнхня.

Но богатырем стать уж не думал. Вся колоння маленькой, хрупкой представнлась. И всемн забытой. Одни, в горах. А кто-то за стенамн плачет, грознт, воем похоронным отпевает. Отчего сегодня у всех такая жуть? Тайчннов с тоской сказал:

— Смнрть блнзка гулят.

Входная дверь хлопнула. Все вздрогнулн. Войцеховскнй крнкнул нспуганно. Но поступь тяжелая успоконла.

Грншка радостно встретнл:

— Сергей Мнхалыч?

— Я!

И в спальню вошел. Грншка у дверн спал. На его кровать тяжело вдавнлся.

— Не спнте еще. Разговорчнкамн заннмаетесь? Хны!

У Грншкн жуть прошла. И другне мальчншки радостно завознлнсь.

— Сейчас уснем! Я, Песков, за всех ручаюсь. Мнгом уснем!

А Мартынов устало сказал:

— Дело табак, Григорий Песков. Дело — хны!

— А што?

Тайчннов с кроватн к Мартынову скакнул. Все завознлись.

— Телеграмма из губоно. Велят вас в город в детские дома свозить. Продуктов нам не дадут. А сами ведь — хны. Не прокормимся.

Взвился Гришка:

— Сергей Михалыч, тут подохну, не пойду. Недарма тоска сегодня!

Затрясся весь и головой в коленки Мартынову. Никогда Мартынов не обнимал и не целовал детей. Когда видел, девочки обнимаются, ворчал:

— Сантименты!

А тут рукой Гришку к себе прижал, и его дрожь самому будто передалась. Дернулся на кровати тревожно. Загалдели ребята:

— Зачем в город? Помирать — дак тут!

— Корой прокормимся!

— А там чем кормить будут?

— Не налезай, Васька! Тут колония лопатся, а он в ухо.

— Сергей Михалыч, не дозволяйте!

И все загудели на разные голоса:

— Тут останемся! Никуда ие поедем!

— Да-да, други... И девчонки сейчас. Плакали, а тоже говорили. Тут надо все обмозговать. Хны! Сами знаете, работа, а еды мало. Помереть — не помрем, а изведемся.

Надточий успокоительно забасил:

— Хибаж до новины не дотягнэм? Дотягнэм. Пашня у нас своя.

Гришка в руку Мартынову вцепился:

— Я, Сергей Михалыч, через день есть буду. Пропади я пропадом, коли каждый день!

И вдруг все детские нотки в голосе поблекли. Точно сразу взрослым стал и с глубокой тоской протянул:

— Не отдавай нас опять в правонарушители.

Глянул Мартынов ему прямо в глаза, не увидел, а почуял в них страшную человеческую скорбь. Дернулся, морду скроил, руки потер и сказал:

— Не отдам.

Перегной

Повествование

I

Про Ленина слухи разные ходили. Из немцев. Из русских, только немцами нанятый и в запечатанном вагоне в Россию доставленный. Для смуты. Бывший старшина волостной Жиганов очень этим человеком интересовался. Всегда из города новый слух привозил. Вчерашний день за полночь вернулся. А не утерпел: в земскую библиотеку в окно постучал. Испуганно к окошку от стола щуплый, низкорослый библиотекарь Сергей Петрович метнулся. С газетами все засиживался.

— Кто там? Что такое?

Жиганов вплотную к стеклу черную бороду свою придавил и сквозь двойную раму зычно крикнул:

— Сбежал! Не пужайтесь. Благополучно вам вечеровать! Из городу сейчас. Сбежал!

— Здравствуйте, Алексей Иваныч! Кто сбежал?

— Ленин. Из банков все забрал. Вчистую. И скрылся. Погоня послана. Завтра все расскажу!

— Зайдите, Алексей Иванович. Сейчас открою.

— Неколи. Дома ждут. Завтра все расскажу!

— Газеты привезли?

— Привез. Только старые, в них еще не пропечатано. По телеграмме... Ну, ты, большевицка холера, т-пр-у!

И в сенях уж сам с собой проговорил:

— Не стоится! До дому охота, жрать охота! Сказано — скотина!

А назавтра радость сникла. Обманули в городе: утром какой-то с бельмом на глазу, с «мандатой» приехал и непонятные слова на сходке читал: «Совнарком — исполкомам всех совдепов». Не сбежал Ленин. Он на этаком языке разговаривает.

Про Ленина разговор больше в Небесновке. Народ книжный в ней живет. Сектанты. Как из России сюда пришли, хвалили. На небеса, говорят, попали. Так и прозвали: Небесновка. Все сектанты для чтения Писания священного грамоте обучены. От Тамбовки, хоть одно село Тамбовско-Небеснов-

ское, столбом с доской отгороднлнсь. И доска для грамотных. Белым по черному пропнсаио: Небесновка — мужеского пола 495 человек, женского 581. Под самой доской почтн крайннй дом тамбовскнй, а народ разный. В Небесновке почище. В Тамбовке тоже кто пообразованией и помоложе о Ленине осведомлен, а бабы да старики про большевнков слыхали одно: войну кончают. Откуда большевнкн — в точку ие смотрелн. Короткнй народ. Не дохватывают. Старшниа Жнгаиов нз Небесновки был. Солдатье тамбовское отменнло его от должиостн. А сейчас ие разбери-бери какое правленье. Солдат Софрои верховодит. На сходке к Жиганову прицепнлся:

— Эй ты, ботало молоканско! Какн слухи про нову власть распускашь?

Немалого роста Софрои и плечистый, а жнгаиовскне глаза на иего сверху чериым блеском дразнятся. На голову выше Жигаиов. И иеробкий, но сметлнвый. Зря в драку с дураком ие полезет.

— Чего, как петух на куру, наскакнваешь? Что в городе слыхал, то и рассказал. Мие брехалн, и я брехал. По чем купнл, по том н продаю.

Мужнки уж дышат иа инх, сгруднлнсь. Прнезжнй с мандатом чай пнть ушел. Сход не расходился. Собрать нз домов трудио, а как соберутся деревенскне — не разгонншь.

Туго мозги поворачнваются. Пока все выспросят, много часов пройдет. За Жнганова наставннк сектантскнй Кочеров вступнлся:

— Граждаиин Софрон Артамоновнч, иехорошо этак на морду налезать! Алексей Иваныч — человек с ннтересом. Узнал в городу — сообщенне предоставнл. А ежелн заблужденне вышло...

Софрои человек без резона. От тнхой вразумнтельной речи Кочерова взбеленнлся, заорал зычно на весь большой класс. В школе все сходы собнралнсь.

— Товарнщн! Граждане! Небесновка вся — кулакн! Сладко поют, нм ие верьте. Сейчас я вам слово скажу! Как я сам председатель этого мнтннгу, слово скажу!

И сразу за стол, откуда речн говорнлись. Солдаты отпускные к нему подалнсь. Солдаткн н рванье нз-за оврага, где бедность осела, тоже за ннмн. Небесновскне за купцом из Тамбовкн Сычуговым было к дверям, да шепот жнгановскнй нм быстро передан был:

— Не расходнтесь! Кочеров Софроиу отчнтку делать будет!

Кудрявый рыжнй волос Софронов всегда торчком над

головой, как сиянье. Борода тоже рыжая, н нет в ней степенностн. Клочковатая, во все стороны. И в глазах строгостн нет. Одна сннь, в гневе темнеющая, но без свннца. От того нестрашная.

— Товарнщн! Богатен небесновскн нас сомущают. Мы на фронту кровь проливалн, онн, которы за богом пряталнсь! Вера, дескать, не дозволят на войну ндтн! А сейчас нм опять нашу кровь подавай! Котора власть за войну, энту нм надо! Нашу не надо.

Гулом сход отозвался.

— Правнльно! За богом-то сндючн брюхо нагулялн!

— И нашн на войне былн! Однн добротолюбовцы отказывалнсь!

— Мы каторгн не боялнсь, на войну не шлн!

— Теплоухов только-только с каторгн вернулся...

— Дело говорн! Это все слыхалн!

— Теплоухов у ннх в каторге! А у нашнх рукн-ногн оторваты! Это тебе как?

— Нн за што почнташь?

— Не шлн бы н вы!

— Ах ты, пузо налнвное! Землн-то в вечну награбасталн! На семьн хватнт, н на каторгу можно...

— Чего разговаривать! Бей нх, толстомордых!

— Тнше! Слова дайте сказать!

— Слабода слова...

— Говорн, Софрон!

— Нечего говорнть! Все слыхалн!

— Пролетарнн, которы пролетают! Старалнсь бы, так и у вас в вечну...

Шум разрастался. Голоса свнрепелн.

Во всю грудь Софрон, чтоб перекрнчать:

— Товарищн! Апосля посчнтамся! Этак не слыхать! По череду все скажем.

Жнганов своих успоканвал:

— Помолчнть! Помолчнть! Кочеров ему завертку сделат!

Стнхлн. В глухом, рассерженном, но затнхающем ворчаннн ясный густой голос Софрона занграл:

— Товарнщн! Вон энтн ободранные, заовражные... Энтн нам теперь товарнщн! Мы то есть вам товарнщн! А небесновскн мужнкн богатые. Им все равно, чья земля. Им все равно, колн нас опять в окопы. Дарданеллов нм надо! Вот какн онн! Онн вас сомущают — все от бога. От пнсання. Им ладно на бога-то уповать! Богатому легче войтн в царство небесное. На земле жнром налнваются, а помрут...

Жиганов не выдержал. Зычным окриком из толпы:

— Клеплешь на Священное писание! Там сказано: бедному легче в рай...

Софрон затряс кудлатой головой. Распалился. Яростно, громче прежнего, будто лбы разбить хотел, в толпу кричал:

— Недосмотр в Писанье вышел! Богатый человек богу угоден! Богатый мужик чистый, обходительный. С чего я псом кидаться стану, когда кажный передо мной шапку ломает? А бедному всяк по загривку. От этого в ем завсегда злость. Обязательно! Богатый с господами за ручку, всему обучен. А бедный-то и молитвы по-матерному вывернет, потому ничего не понимат! В Писанье сказано: не укради. Обязательно украдешь, как трескать нечего! В Писанье опять же: не убий. Обязательно убьешь!..

Взревели небесновцы:

— Эт-та хорошо! Значит, крадь, убивай!

— Вот оно ново-то ученье!

— По словам человека узнают!

— Слыхали, каки большевики-те!

— Истинно, острожники у них коноводы!

Заовражные свое:

— Заткни хайло, толстопузый!

— Кого убили? Кого нашински убили?

— А следоват! Бей их, чертей вальяжных!

Старуха Митрофанова поняла: спор на веру перешел. Дребезжащим выкриком из толпы заовражинских:

— В православной церкви святы дары, а в ихнем молоканском чо?

В шуме потонули слова. Задвигались руки, загудели, засипели, зазвенели разные голоса, все слилось в дикую музыку стихийно взметнувшегося рева.

Софрон сначала кулаком по столу стучал, потом табурет поднял. Сиденьем его по столу стал колотить. Затихли было, но прорвался надрывный выкрик Редькина.

— Наша власть! Будя! Они себя пообихаживали!

И опять стон, рычанье толпы, не привыкшей говорить, знавшей только вой и дикий гомон. Не стояли на месте. Надвигались друг на друга, грозили кулаками, толкали, теснили, давили. Близилось побоище.

Кочеров протискался к столу, отвел чей-то увесистый кулак сильной рукой и, выхватив у Софрона табурет, застучал им сильно и часто по столу. Небесновцы стихли. Софрон своих унимал. Опять глухое стихающее рычанье. Выделился мягкий, ласковый, приятный басок Кочерова:

— Братья! Злобствие для зверя оставлено, человеку надо миром и любовью.

Была в мягком голосе привычная властность, уверенность начетчика. Укротила. Один Редькин плюнул и нехорошо выругался в ответ. Остальные замолчали.

— В гневе у человека глаза не видят, уши не слышат. Зачем так-то? Зачем брат Софрон злобе дал себя оседлать? За веру свою от старого правительства большое наказание мы принимали. Из России сюда спасать свою веру унесли. В чужую холодную сторону пешком с семействами шли. В вечно владенье землю купили. А как? Этого вы, братья, не видали? Миром купили, всем миром! Не только что потом, кровью наша землица полита. Да, да! Как старо правительство наших на каторгу гнало, вы тогда нас жалели. На войну у нас добротолюбовцы только не шли. А много ли их у нас? Мы, евангелические христиане, шли. У меня сын на военной службе. Мы с вами тяготу несем.

Правду говорил Кочеров. Голос, будто священным елеем смазанный, был ласков, проникновенен, умиротворял. Толпа сникла и сжалась. Только Софрон крякнул, да Редькин больным звенящим выкриком запротестовал:

— Книжники! На Писаньи насобачились...

На него прицыкнули, и он смолк.

Ровно и убедительно говорил Кочеров. Будто капли успокоительные больному подносил.

— Насчет большевицкого ученья мы не против. Войны мы не хотим, как в Писании сказано — не убий. Бедного человека, по Писанию, мы также подымать должны. Но ученье человеческое — не божье. Оно всегда с собой муть грехов наших несет. Отобрать, да отдать — обида и зло. Нашу, к слову, землю как отбирать? Мы не подарком ее взяли. Все это надо обсудить в мире, в тишине, в спокойствии. Я поинтересовался насчет большевицкого ученья, в город съездил. Разузнал, что главный их учитель был Карла Маркс. Ха-а-ра-шо. Был он человек нерусский, записал по-иностранному свое ученье. Вот узнать бы досконально подлинность Карлом Марксовым прописанного. Русский народ, он у нас скоро уверяющий. Как нам подали, так мы и глотаем. Разбору нету у нас в привычке. Насчет образованья, касательно иностранных языков, слаб. Если к иностранному несумнительно допустить — Ленин чего приписал, как узнать? Надо иностранные языки уразуметь и Карло Марксово писание с русскими сверить. Вот тогда можно: пролетарии всех стран! В таком деле, как политика, без доскональности невозможно. На уразумленье время надо, верных людей

надо, тишину и мир надо. А так, очертя голову, в новый хомут лезть...

Болью подлинной вытолкнуло из тишины свистящий выкрик Редькина:

— Заливат! Товарищи, глаза вам молоканский начетчик отводит.

Сразу Кочерова оборвал. Запнулся на слове от неожиданности.

Софрон крепко, зло и властно крикнул:

— Будя! Напустил туману! Мы едак не умеем! Товарищи, за землю доржится! В ее вцепился, нас обхаживат! Будя!

Опять многоголосый крик:

— Верно! Правильно! Обхаживат! Заткни глотку!

— Охальники! От слову доброго отвыкли!

— Пущай говорит Ефим Кочеров!

— Правильно изъяснял!

— Дербалызни его по затылку-то, забудет, как изъяснять!

— Софрон, твое слово! Ты по-нашински!

Но на стол Редькин забрался.

Худой, нескладный, с воспаленным взглядом злых черных глаз, с яркими пятнами на скулах, он бил себя кулаком по впалой груди и хрипел со свистом:

— У меня девять ртов! Мои ребята, хучь малые, своими бы зубами землю выборонили. А игде она? Игде у мене земля? Ну, игде? Мово брата на войне убили. А игде у его семейства земля? А этот брат Андрей, вам известно, в сектанты передался. Кочеров его накормил? Землю дал? Как не так! В работниках гнулся. Сын у Кочерова взят! Знам! В портных сидит, в спокое! Ему, Кочерову-то Ефиму, сколь добра привез, как на побывке был. А он нам заливат! Кабы у мене достаток!

Выкрикнул, закашлялся, большой плевок крови в руку выхаркнул, махнул рукой и слез с трудом со стола.

Софрон мигом на его месте вырос. Лицо у него побелело, глаза будто чернью подернулись, и в первый раз строгим взгляд стал.

— Товарищи! Нечо долго разговаривать! Мы не начетчики, не умем. Айда, вот что сделам: записывайся всем миром в большевицку партию. Больше нам делать нечо! Эй, Митроха, писарь, айда, записывай.

Заколыхались, встрепенулись, закричали вразброд.

— Вот дак командер!

— Припечатай еще! Антихрист завсегда с печатью!

— Каин тоже меченый!

— Записываться! Правильно!

— Записываться! Записываться!

Софрон старался перекричать всех:

— Скопом, миром за себя постоим! Они нас одурить хочут! Эй, беднота, заовражински, двигайся! Которы не запишутся, нет им земли!

— Правильно! Не хотят с народом, как дурну траву из поля вон!

— Айда, вываливай, которы не наши!

— Митроха, записывай!

Семнадцатилетний смешливый белобрысый Митроха, закрывая рот рукой, пробрался к столу. Мигом перед ним — лист серой бумаги.

Но крикнул библиотекарь:

— Товарищи граждане! Слова прошу.

Все время бурного схода он простоял в кучке у окна. Там были учительницы, священник и он. Все они давно шептались, но в передрягу не ввязывались. Шум в глубине класса не стих, но у стола замолчали.

— Так, граждане, нельзя! В политическую партию так не вступают!

Софрон вцепился ему в узкое плечо.

— Ты с нами не запишешься? Говори, ты не согласен?

Библиотекарь голову в плечи втянул, еще меньше стал, но ответил твердо:

— Нет! Вы сами не понимаете, куда лезете!

— А, так. Ладно. Не понимам? А эндаких, понимающих, нам не надо! Пшел вон к своим богачам!

Неожиданным взмахом руки Софрон схватил его сзади за воротник и пинком ноги толкнул в толпу. Библиотекарь не упал только потому, что ткнулся головой в грудь рослого старика. Повернув к Софрону бледное, перекошенное обидой лицо, он взвизгнул по-детски:

— Насильники! Тупая сволочь!

Заовражинские на него кинулись, но стеной плотной закрыли его небесновцы. И Софрон новым криком остановил:

— Опосля сосчитамся! Подходи записываться! Хто не запишется, сосчитамся. Узнам, которы наши!

Небесновцы завопили. Но Митроха уже записывал:

— Крученых Павел с семейством...

У стола теснились желавшие записаться.

Кочеров рукой махнул и пошел к выходу. Небесновцы почти все за ним вышли. Осталось только пятеро.

У стола гулом стояло:

— Софрон, а Софрон, бабу отдельно записывать ай с собой?

— Бабов, для счету, отдельно. Теперь для них права вышли! Ребятишек не записывай.

— Ой! А как на их земли не дадут?

Солдатка Ульяна к Софрону кинулась:

— Каки права для баб вышли?

В толпе засмеялись. Митроха из-за стола звонко крикнул:

— На мужиках сверху лежать. Айда, записывайся!

Взъерошенный, как нахохлившийся воробей, низенький Артамон Пегих солдатку оттолкнул.

— Записали, и не тараитн! Сказано, для счету!

Оживший Софрон будто вырос. Глазами опять радостно снял и, поворачиваясь во все стороны, объяснения давал.

— Баба, она, дивствительно, корова! А промежду прочим — человек. Теперь так полагается, ее голос примать.

Через два часа Софрон передавал на въезжей квартире оратору из города лист.

— Вот тут, сто пятьдесят восемь человек записались. В большевики. Передайте список, а нам документ пущай вышлют, что есть мы теперь большевицка партия.

У того от радости даже бельмо на глазу будто засияло.

— Да как это так? Вот так успех! Поразительно! Что значит вовремя приехать. Спасибо, товарищ! С радостью передам! Скоро еще приеду. Вы, товарищ, фронтовик?

Софрон охотно и радостно рассказал о своей солдатчине, о ранении, об отпуске домой, о том, как в армии о большевиках узнал. Ему хотелось говорить о себе подробно и долго, но приезжий оратор засуетился, собираться стал, и Софрон вышел.

Хрустящий снег под ногой, далекое, молчаливое, будто застывшее осужденьем беспокойной земле небо, отголоски разговоров еще не заснувшей улицы, обрывки частушки — все будоражило Софрона, поднимало новое чувство торжества и тревоги. Будто на войне отряд вывел.

По сделанному им распоряжению, в этот час подъехал Артамон Пегих к библиотеке, разбудил библиотекаря и объяснил:

— Укладайся! В город тебе сейчас повезу.

— Как в город? Зачем?

— Сход приказал. Нам эдакого не надо! Айда, укладайся.

— Да я не хочу ехать! Это насилье!

— Не поедешь, Софрона разбужу. Приказано.

Отплевываясь и ругаясь, библиотекарь начал связывать

свои вещи. Обида жгла лицо румяицем. Софрои, пьяичужка, всеми презираемый в былые дни! Он один с ним возился. Отмечал, ценил его тягу к книге, а теперь вернулся с фронта командиром! Вынырнул иовый, темный, злой. Другим хмелем хмельной. Д-да! Пожалуй, правда, пропала Россия.

Когда в последний раз вошел в библиотеку, чтобы посмотреть, ие забыл ли чего, вспомнил:

— А ключи кому?

— Софрон сказал, ему завезти.

— Ну, ладио. Ему, так ему! Поедем.

А Софрои стоял уже у подводы, около библиотеки. Когда подошел библиотекарь, ои протяиул ему зажатую в кулак руку.

— На-кось.

— Что это такое? А?

— Трешница! Тебе от меия. Так что много довольны. Никогда не обижал. Возьми-кось, там в городу пригодится!

Из-под иахохленных рыжих бровей застенчиво блеснувший свет и мягкую пугливую улыбку вместе с трешницей при308ял, с екнувшим сердцем, библиотекарь. Не сумел отказаться.

II

«На трех китах стоит земля, говорили старики. Одного, видио, вытащили из-под иее. Зыбкая стала. С июля года тысяча девятьсот четырнадцатого. Не стало твердости и иерушимости ни в чем. У земли учились жить. Она закои поставила человеку: все живое должно принести плод. А у девок румяиец желтизиой отдавать стал. Твердели, теряли молодую хрупость, дожидаясь мужа. Жены солдатские ходили без плода, нагульиых ребят вытравляли у иих равнодушно жестокие бабки-повитухи. Оттого чаще маялись скрытыми бабьими своими болями. Оттого в работе сдавали. Рыхлели. Оттого от тоскующего в бесплодии чрева рождались похоть и грех. Деревенские бабы и девки, как городские, от закоиа земли оторванные стали. Грех для греха, не для деторождеиия, приманивать иачал. Больше покупали наряды. Приучились к мылу духовому, возили из городу пудру, дешевые духи и безобразные медяшки-брошки. Пошили, вместо шуб широких, короткие «маринетки», из-под платка пухового клок волос взбитых выставляли.

Денег у деревни много стало. Продала сыновей. Откуп получала. Пособия семьям солдатским на уплату за приманки иа грех шли. Семейные мужики на блуд с чужими бабами, с девками льстились. Оттого свой род хилел. Слабей оплодот-

ворялась и земля. Не хватало рук. По накатанной за годы войны дороге из города катились в деревню его пороки, дурная хворь и беспокойные, будоражливые мысли. А с году девятьсот семнадцатого город деревню вертуном завертел. Новое, новое, новое. Слова незнакомые гвоздили вялую, годами жившую своим обиходным мысль. Порядки, новизной пугавшие, налетали неустанно в приказах. Все старое на слом обрекали. И обо всем этом надо было думать. Удар за ударом, и все в башку, в башку, в башку! Тряси мозгами деревня! Ошарашилась она, шалая ходуном заходила, за поводырей хваталась сослепу. Не стало в ней крепкой приверженности к своему исконному, деревенскому. Была жизнь подневольная, трудная, но истовая и мерная, многими поколениями позади утвержденная. Когда разрывалось тихое течение дней драками, боями на улицах, в пьяном угаре, пожарами, смертями, то и самые тревоги эти были старыми, понятными. Хмель и драка на праздниках во всем буйстве и дикости их были привычны и нестрашны. Играет ведь река в половодье, грозит и крушит, а потом уляжется, спокойная, мирная поилица. Теперь не то. Самую страшную стихию — кровь человеческую — разбудили, чем и когда ее утихомиришь?»

Все это передумал не раз и не два, много раз, умный широколобый Кочеров. И только в этих думах узнал, что бывает и разумному в жизни препона. Не осилишь! А познав бессилие, познал и сам непреоборимую злобу, бешеной хваткой терзающую человека. Глядеть не мог на Софрона: на другую сторону улицы переходил, когда встречался. Один раз Софрон приметил, что избегает его Кочеров. Оскалил белые здоровые зубы и заорал на всю улицу:

— Эй, молоканский поп! Чо в землю буркалы-то упирашь? С небом, видно, разлучку сделал? Правильно! Под ногами-то говно, а бывает и золото.

Нехорошо, мутно Кочеров на Софрона взглянул, ответил без крику, с достоинством. Только голос не был по-всегдашнему ровен. Осекался.

— Остановите ваши неприличия, гражданин Софрон Артамонович! Вы теперь на виду, не подобает по-прежнему озоровать. Как бывалыча в пьяном виде.

Весь яд затаенный в намеке на прошлое Софроново выцедил и, взбодрив голову, прошел, плотный, степенный и видом благожелательным всякому приятный. Только подоплека рубашки горячей стала. Сердце в гневе сразу всего разогрело. Заходили гневные мысли в голове:

«Неразумные слова, как лай бестолковый, собачий. Про-

шел спокойно и не слыхал! Кабы только слова! Нет, ведь власть таким вот теперь дана, горлопанам. Самая что ни на есть дурнота наверху, куражится. Пьянчуга Софрон. Земли у него не хватало! Какой есть клок, и тот ребятишки старшие да бабы на срам всему селу засевали. А он, пьяный, по дворам куражился или спал под забором. Никогда старанья крестьянского не имел. Чужаком был. Савоська-кузнец — конокрад меченый. Башка боком приросла. Шею повредили, когда всем селом за чужих коней били. И живому-то не быть бы, кабы вот не я да другие небесновцы. От греха отвели, добить и не дали. А теперь он небесновцам за это отплатил! В молитвенный дом евангелических христиан пришел, всех изматерил, самое стыдное показал и про бога, в мыслях нельзя повторить, как выразился! Редькин, у которого внутри все сгнило, потому что всю силищу растаскал по новым местам: все искал, где лучше. Митроха-писаренок, с речью всегда похабной,— срамник. И другие-то: батрачье, измотанное по чужим дворам. Все корявые, хилые, дурашные, самая шваль. Затерялись среди них трое богатых солдат небесновских. Не слыхать. Софроновы оборванцы над здоровым, хозяйственным, правильным за начальство поставлены. И там-то, в столицах, тоже, по газетам видать, в управителях половины русских нет. Евреев насоприглашали, оттого что крику в них, цепкости больше. Э-эх, мать-Россия! Как испоганили тебя татары, так устою в русской крови и не стало. Все под чужаков прешь, на бунт нарываешься!»

Не видел, как и домой в думах дошел. А дома опять новость. Красивая, рослая жена, в сорок лет молодым румянцем приманчивая, в слезах его на дворе встретила.

— Приказ тебе из волости от Софрону... Ты, Жиганов, Глебов да еще каки-то, уж не дослушала, в десятски наряжены. Айдате по дворам народ на сходку сзывать.

Сразу понял: для насмешки. Всегда в десятских самая рвань ходила. Мальчишек из школы тоже наряжали. А теперь Софрон измывается: самых уважаемых, богатых из Небесновки выбрал.

— Кто приказ передал?

— Артамон Пегих. Да в избе он. Поди спроси сам.

Оттого, что на стуле и не в кухне, а в горнице сидел и дымил вонючей махоркой взъерошенный, будто год нечесанный Артамон Пегих, горница хуже стала. Золотые буквы изречений евангельских и наставлений учителей, что на стенах в рамках под стеклами висели вместо икон, казалось, потускнели. На крашеном лоснящемся полу от огромных заплатанных валенок лепешки талого снега и грязь. Занавески

городские и вязаные скатерти на столах в дыму потонули. Сурово сдвинул Кочеров брови, снимая шапку.

— Брат Артамон, табачное зелие почитаю для человека вредным и богу неугодным. Пристав, когда заезжал, тут не куривал. Упреждаю вас обстоятельно: прекратите табакокурение!

Артамон шмыгнул носом, плюнул на папироску и кинул на пол.

— Что же, кады вера ваша молоканска така! Брошу. А вот как вы полагаете, иконов не надо, а эти вот, в рамках, этта почему? Опять же табаку не надо, а с бабой спишь? В ей греху-то боле. Староверы, энти которы...

— Не время, брат Артамон, нам сейчас об вере разговоры рассуждать! Свою-то забыли вы. Како дело до чужой! За делом за каким ко мне, ай как?

— Ы-ы-х ты, какой спесивый! Не вашего, дескать, уму дело!

Вдруг взъерошился и громким, звенящим голосом на всю комнату:

— Врешь, нашего! Под задницей-то у вас сидели, свету не видали. Теперь обвязан ты все рассказать. Обвязан! И я желаю знать, чо к чему. Рассказывай про свою веру!

— Не кричи, брат Артамон! Господу злоба неугодна, и я в грех с тобой входить не стану. Зачем прислан?

Сам прозеленел весь и пальцы в кулак, а держится, не кидается. Только в глазах уже сладости нет. Кровью налились.

Артамон сплюнул!

— Нужон ты мне с разговорами! Так я, поучить. За брюхом за твоим прислан, вот зачем. Иди-ка, потряси его! С бадожком под окнами походи: на митингу, мол, товарищи. Вот зачем!

— Софронова выдумка?

Дух с хрипом перевел. Артамон удивленно-восторженно головой затряс.

— Вот чо, аж вздохом подавился. Ну, ну... Во каки! Срамотно мир извещать, под окошками ходить. А мы ходим, ничо. Много спеси, много у богатого! Пойдешь ли, чо ли? Жиганов не пошел. В исполком уволокли. В холодной сидит за ослушание. Тебе как понимать? Тоже в холодну?

Все забыл Кочеров. Хватил стулом об пол так, что разлетелся на части.

— Пшел вон, пакость!

Артамон от неожиданности мигом в дверь, согнувшись, выкатился. Но оповещать о сходке Кочеров пошел. Степен-

ной обычной своей походкой шел по улице, только на лице смиренье и страданье изобразил. Медлительно, кротко батожком в окна постукивал.

— Граждане! Братья! На сход пожалуйте.

За ним по всей улице шепот смущенный и возмущенный:

— Кочеров под окнами ходит!

— Ну, Софрон! Экого растряс!

— Ах, халиганы! Измываются!

— Христос терпел и нам велел.

Опостылели сходы, но шли. Опасались дома оставаться. Ждали решенья насчет земли, хозяйства. Но приходили уже к распре готовые. Каждый своим еще дома возбуждался. И до начала схода стоял гул спора, препирательств. Нередко были драки. Сегодня взволновало сообщенье об аресте Жиганова. Толпились в сенях около запертой на замок клетушки с оконцем. Под замком сидел Жиганов. Около двери молодой парень с винтовкой стоял. Небесновцы старались словом перекинуться. В дыру оконца кричали:

— Алексей Иваныч, потерпи!

— Одежу-то баба прислала ли?

Парень-караульный отгонял:

— Не подходь к арестованному! Нельзя! Подале! Подале!

Редькин мимо прошел, лицо улыбкой непривычной перекосил:

— Других долго саживал. Сам, старшина, посиди!

Сход начался по новому порядку, который Софрон с солдатами установил. Чисто молебен сходки начинали. Пеньем... Запели «Вставай, проклятьем заклейменный». Шапки все поснимали, но пели только Софрон, солдаты отпускные да ребятишки, везде поспевающие. Несмотря на увесистые подзатыльники и цыканья, всегда на сходах терлись. И самой большой угрозой старикам было их неверное, ломкое, но всегда радостное пенье... Мужики постарше, даже из буйных заовражинских, пенья этого стыдились. Головы в тулупы прятали. Нехорошо. На селе зубоскалы дразнятся:

— Как есть чертова обедня! «Проклятому» молитву поют!

Небесновцы все светские песни бесовским игрищем считали. Пели только свои псалмы на голос песенный. Оттого их хмурое молчание было привычным.

Нынче Софрон праздничный, радостный. Изнутри в глаза бьют свет и ласка. Оттого зорок и чуток. Как спели, без ругани, по-доброму сказал:

— Пошто стеснились, старики? Голосу в песню не даете?

Отозвался смущеиио Артамон Пегих.

— Ладио уж! Свое отпели. Молодых послухам!

Софрои весь в его стороиу подался, трепетиый и радостный.

— Товарищ Артамои Петрович, как мы партейиые, поиимать должиы. Песня эта для пролетарию складеиа. Интериационал зиачит: всякий, который неимущий, жид ли, хрестьяиии — все вместях. Понимашь? И как раиьше иас проклятым обзывали, мы им для ответу! Покажем, дескать, каки мы прокляты! Поиимашь?

Прямо в рот Артамону лез, старался. А тот подальше подался и совсем сникшим голосом сказал:

— Сумиительио. Слово чериое, а промежду прочим дозволям! Все одио уж...

Фроитовик Семеи Головии вступился.

— А что касательно слову интернационал... Это слово большевицкое. Большевицкий язык трудный, ио ежели в кореиь дела взгляиуть, обстоятельный. Хлесткий!

Артамои Пегих деловито, без улыбки, подтвердил:

— Куды хлеще.

Небесиовцы засмеялись. Но Кочеров, мучась иетерпеиием, ие выдержал, крикиул из толпы:

— Довольио бы, братья, обучеиья-то этого! Дела разобрать надо. Зачем скликали народ?

— Дело... Дело изъясияй.

Всегда мучимый болью и злостью, Редькин иадрывио прокричал:

— А это не дело? Слова городски иадо зиать! Штоб не оммаиули.

И крик его был близок и поиятен миогим из софроиовской партии. Приняли гнет иовизиы. Отшиблись от своих учителей-стариков. Городу передались, а искоииого иедоверья к иему еще ие изжили.

Вдруг толпа закачалась, раздвииулась в удивлеиии. Пятиадцать человек фроитовиков и молодых безусых парией с виитовками за плечами пробирались к столу. Сразу тихо стало. И четко, торжествеиио прозвучали слова Софрона:

— Революциониа охрана!

Мииутиое жуткое молчаиие толпы подчеркиуло для всех: иаступает иовый час. Борьба здесь вот, в своей деревие. Оттого твердый, спокойиый голос Софроиов отозвался, как брaииый клич:

— Вся земля в волости общая. Мир — хозяии. Отдельиых хозяев нету. Разобьем иа участки. Всех людей в иашей

Тамбовско-Небесновской, по-теперешнему Интернациональной, волости тоже разобьем на коммуны. Каждой коммуне по участку. Миром сеять и убирать. Кто в коммуны не желат, пущай на печи лежит. Ни хлебу, ни семя не дадим!

Вздох или стон в толпе, и опять миг молчания, потом дрогнувший голос Артамона:

— А машины как?

В годы войны по всем деревням затосковали по машине. Увидали, как справлялись легко богатые с ее помощью. Наслушались от военнопленных о царствах, где машины кормят и спине передышку дают. Но купить их могли только многоземельные, сильные. Разом подхватили Артамонов вопрос:

— Машины... Машины как? Машины?

— Из городу дадут?

Софрон опять твердо и победно:

— Приказ есть. Все машины у хозяев реквизированы! Мало ль у нас богатеев! По коммунам разделим.

Радостное, тревожное, протестующее в гуле. Неподвижные, хмурые мужики с винтовками у стола. Волной толпа к столу, но через миг сникла, от стола подалась. Будто спрятаться хотели. Только Кочеров, забыв всякую осторожность, не своим, резким, крикливым, голосом прямо с места заговорил:

— Это грабежу подобно! Небесновцы миром землю покупали. Последнюю лапотниу за ее отдавали! У господ отбирать ладно. А мы как трудящие? Над трудящими изгиляетесь? Свово брата-мужика зорите? Небесновцы допрежь вас коммуной жили! Сообча землю покупали. Всей Небесновской обчиной. Грабители вы, а не устроители! Свово брата-мужика!

Закричал многоголосый зверь.

— Верно говорит!

— Не дадим!

— По́том, кровью наживали!

Разобрать слов уже нельзя стало. Все слилось в одно грозное: а-а-а-а! Но торжествующий крик Софронова все услышали:

— Силой отберем!

Если б не «революционная охрана», разорвали бы Софрона. Двинулись небесновцы к столу, а парни ружья наизготовку, сзади заовражинские и тамбовские мужики с грозным ревом. Кочеров зубами заскрипел, но понял: да, сегодня сила Софронова. Гурьбой, будто сговорившись, многоземель-

ные повалили к выходу. Оставшимся в школе Софрон горячо объяснял:

— Брешут небесновцы, что их неправильно. «И у нас тоже коммуна». Брешут. Что ни дом, то разна секста. Богато сво́во на клочки разорвали. Добротолюбовцы, субботники, баптисты, евангельски хрестьяне. Грызутся, как собаки. Теперь заодно, как за свой кус испугались. «Землю всем обчеством покупали!» А разделили как? Кто сколь денег дал! Маломочны, так и есть маломочны! А у Жиганова четыреста десятин. У Кочерова триста пятьдесят. «Трудящие». Пузо-то не больно натрудили! Все работниками! Кочеров-то за попа галдит да портняжит — и не нюхат землю-то! Жиганов на нас сидел! Пертрясем! Всех пертрясем! Нашего дню дождались!

Среди оставшихся была половина Небесновки. В первый раз властное требование земли и хлеба слило вместе «православных» и «молокан».

Расходились опять за полночь. Софрон дольше всех в школе топтался. Охрану отпустил. Большебородый фронтовик остерегал:

— Изобьют на улице!

Но Софрон успокоил:

— Седни не тронут! Напужались!

А сам в нетерпенье крутился по классу, ждал, когда уйдут. Как надеялся, так и вышло. Ушли все, и открылась дверь в коридоре. Выглянуло тонкое белое личико.

— Разошлись!

— Ушли, Антонида Николаевна! А вы чо не спите?

И в дрогнувшем голосе Софроновом большая благоговейная радость. Непрошено, нежданно вошла в душу чистенькая барышня из города. Учительница. Как в исполкоме главным заделался, захаживать по делам стала. Разговор о деле, а улыбка такая домашняя, греющая. И потянулся на нее. Сгасал только на миг, когда мысль приходила: как все бабы. На почет льстится. Бегали раньше учительницы к старшине и станового привечали. Эта к новому начальству под крыло. Знал, а совладать с собой не мог. Каждому человеку праздника хочется. Бабы деревенские, с жирными тягучими голосами, с красными загрубелыми руками и грубыми тяжелыми словами — будни. Привычные, постоянные, надоевшие будни. И жена Дарья, рожающая, кормящая, на своей широкой спине выносящая всю работу по крестьянскому хозяйству, не нужна сейчас, в эти новые, торжественные дни. Раньше, когда читал книги, очень любил Софрон писателя Дюма. Так непохоже было все в его книгах на Софроно-

ву жизнь. Оттого прекрасно и недосягаемо. А рассказы о крестьянах и рабочих читал только для того, чтобы уважить библиотекаря, Сергея Петровича. Ни к чему, казалось, пальцами в своем гное ковырять. И признавал эти книги необходимыми только для богатых. «Им черного хлебушка охота, белый надоел. А нам беленького хоть кусочек. Заместо пряника к празднику!» Таким пряником праздничным, никогда не пробованным, была Антонина Николаевна. Раньше водку пил, чтобы в пьяных мечтах не видеть настоящего. Теперь буйным хмелем допьяна напоила революция. Водки не надо стало. Но мечта во хмелю одолевала: все праздничное, неизведанное теперь будет. Был Софрон от плоти и кости деревни, но не старой, кряжистой, а новой, встряхнутой, нищущей. Оттого над ним мечта большую силу возымела. Жиганову, Кочерову и на них похожим нужна была здоровая, широкозадая баба для продолжения рода, иногда для блуда. Софрон от книги заразу любви воспринял. Антонина Николаевна для него дурманным, расслабляющим соблазном пришла. Не мог с собой совладать. Тянулся к ней.

— Ну, что же, посидим здесь. Поговорим немного. Сторожа уж спят?

— Не видать что-то. Стало, спят.

Легкая, вспрыгнула на стол и ножками тоненькими, но крепкими, в тугих черных чулках, заболтала.

Думал, до боли в сердце, нежно.

«Пташечка... Касатушка...»

Сказать не мог бы вслух. Мял в руках папаху. Стоял среди класса смешной, взъерошенный, с растерянной улыбкой, сразу глуповатым сделавшей лицо. И то, что к себе в комнату не пускала, остерегалась, и то, что близко не подходила, только глазами ласку посылала, не сердило, а умиляло.

«Беляночка... Голубушка...»

А она скрыла легкой гримаской позевоту и спросила:

— Ну, как приняли новость? Кричали очень. А я за вас боялась.

Ведь все понимает, хоть женского полу! Слова такие легкие, к месту всегда. Так охота говорить с ней. Все бы рассказал, а язык во рту как бревно. Слова неудачные вылезают, нескладные. И еще комкает их огромная нежность.

А она одобряла.

— Вы совершенно правильно рассуждали, земля не может быть чьей-нибудь собственностью.

Поднимала для внушительности круглые тонкие бровки.

Говорила залетевшие в уши чужие слова, но так уверенно и свободно. Будто свое, передуманное.

А дома толстая, неповоротливая Дарья будет лениво почесывать поясницу, скрести пальцами в свалявшихся косах и сонно тянуть:

— Светат, никак... К стенке лягешь ли, чо ли?

Антонину Николаевну занимала и услаждала власть над новым волостным воеводой. Искушенная городскими, пакостными, без обладания, шалостями с гимназистами и офицерами, она видела, как мает и корежит мужика взбунтовавшаяся кровь. Понимала, что в узде держит только благоговейная вера в особую чистоту ее. Это было ново, смешно и радостно. Ножками играла, возбуждала, а кротким, чистым голосом и взглядом невинным предостерегала. Жутко было при мысли — чем кончится? Поцеловать бы не могла! В интимности, наверное, отталкивающе груб. Нескладный рассказ Софронов оборвался. Почуяла: опасно затягивать частые паузы в их разговорах наедине. Спрыгнула со стола.

— Поздно уж. Вы утомились сегодня.

Под окном на улице заскрипел под ногами снег. Кто-то осторожно карабкался на подоконник. Насторожилась и лицо сделала строгое, а сама пугливо поежилась.

— Подглядывают. Нехорошо говорить будут! Заходите завтра днем чай пить. Сама вам песочники состряпаю!

И ручку издали протянула! Э-эх! Какая сила в бабе бывает!

Зацеловал бы, а боится. Глядит, как на солнышко. Только взглядом всю выпил и руку до боли сжал. Каждый день видятся. И всегда вот так: в сторонке держит.

Когда вышел, видел: от крыльца метнулись к амбару две черные фигуры... насторожился, вынул из кармана револьвер и выстрелил вверх. Испугало только тревожное «ах» за дверью. Крикнул туда молодо, радостно:

— Не сумлевайтесь!

И пошел по мертвой белой улице, которую будили, но не оживляли шалые взвизги собачьего лая. Два ряда темных, живое дыхание затаивших домов были печальны и предостерегали, как угроза. А душа не боялась, ликовала.

Оттого, что рука была настороже у револьвера, оттого, что в своей деревне в первый раз шел с опаской, росла и ширилась горделивая смелость. Оттого, что думал о желанной беленькой, по-весеннему шумело в голове.

А дома скверно стало. Вонь какая! Почиститься надо.

Прибраться. Жирное тело Дарьино, рядом на кровати, будило тошнотную тоску, но притянул его резко к себе, охваченный нечистым, злым, отраженным желанием.

III

Совсем мало спать стал Софрон. Такая радостная бурливая полоса пришла, что страшно спать. Неохота спать. Жизнь расцветилась, заиграла перед тридцатилетним. Стал как парень молодой. Все хватай, лови, тормошись! В городе забирал дерзкие приказы. Узнавал короткие, тревожные и смятенные, как набат, слова.

В селе кричал: наша власть! Смотрел, упоенный, торжествующий, как учатся сгибаться перед низко в жизни поставленными непривычные к поклону спины. Любовался, как заходила бестолковая, рваная рать «маломочных» в грозном беспокойстве. Но в торжестве, для самого незаметно, впивал яд командирства. Не замечал, как в словах, в распоряжениях, в снисходительных шутках со своими маломощными похож становился на старшину Жиганова.

Для Антонины Николаевны мужицкую одежду на городскую сменил.

Словца городские обходительные усвоил. В городе Софрона уж выделяли. Одну его речь даже в газете, подправив и сгладив, напечатали. Газету Антонине Николаевне трепетно подсунул. Думал, обрадуется. Но она только ласково протянула:

— Ах, ваша речь здесь. Очень интересно! Вечером почитаю.

И больше о газете ни слова. Неужели забыла? Ведь для Софрона эта газета как грамота жалованная. По ночам просыпался, огонь зажигал, ее перечитывал. И казались напечатанные слова большими, крепкими. Читал их вслух внушительным шепотом. Вырастал будто, в них вслушиваясь. Неужели забыла?

Из именья господина Покровского уездный Совет передал Интернациональной волости большую библиотеку и часть обстановки барского дома, которую не успели разворовать, растащить.

Софрон сам сопровождал от завода до села воза с книгами и мебелью. Всю обстановку в библиотеку приказал доставить. Новый дом для библиотеки определил. Верх в доме Жиганова. Дом большой, двухэтажный был. Жиганова в нижний этаж выселил. Жиганов не сопротивлялся, но в неделю одежда на нем обвисла и взгляд волчий стал. Обида

прожгла. Сам Софрон установкой шкафов и мебели руководил. Надеялся Антонину Николаевну в библиотекарши определить. Смотреть сбежались со всего села. Даже хмурые небесновцы пожаловали. Потное лицо Софрона сияло, глаза искрились, когда помогал по лестнице пианино втаскивать.

— Заиграм теперь на городской музыке! А тя-желенная, почеши ее черт! Товарищ Кочеров, подпоешь под музыку?

У Кочерова в лице давно уж румянцу не стало. А тут скраснел и сердито пробурчал:

— Не по нам плясы, гармони да матани городски. Это вы уж для всей волости, Софрон Артамоныч, первый гармонист. Забавляйтесь.

Софрон намек понял, но только сплюнул. Не огрызнулся. Когда пианино втащили, Митроха-писаренок сразу пальцем попробовал.

Потом ладное что-то подобрал. Кочеров вздохнул.

— Все бесовски утехи! Гвоздей бы лучше на деревню дали.

Когда стали разбирать картины, Софрон сам смутился. Голых баб много.

Артамон Пегих пальцем в одну ткнул:

— Все как есть! Соблазн. Это для господского распалу, а нам ни к чему. У своей бабы видали.

Небесновцы плевались. Софрон распорядился:

— Сожечь!

Митроха-писаренок спохабничал:

— Знамо дело — куды нарисовану-то...

Кочеров вздохнул.

— Сжигай не сжигай, все одно разблудился народ!

Книжки были в дорогих красивых переплетах. Долго гладили и щупали их тугими негнущимися пальцами. Такие в руках держали первый раз.

Артамон Пегих опять головой покачал:

— Не для мужицких рук. Засусолим! А чтение-то како в их?

Кочеров открыл том Пушкина на «Русалке». В глаза бросилась картина — опять голые. Сердито бросил на стол книжку.

— Непристойность одна!

Но Митроха-писаренок живо со стола подхватил.

— Э... Лександр Сергеич Пушкин! В школе слыхали.— И уткнулся в книжку. Потом вдруг закричал: — А занятно про самозванца тут!

Зачитал вслух. Скоро могучий хохот бородатых, пожилых покрыл чтение Митрохи. Очень понравилась сцена в корчме.

Небесновцы ворчали, но подвигались поближе, будно ненароком. Хотелось слушать. Кочеров возмутился:

— Братья, светско чтенье для греха, для пустой забавы! Одна для нас книга — Библия. Можно когда и для пользительных сведений что почитать. А эту забаву прекратить бы. Не по нам!

Софрон торопливо стал перебирать книги.

— Всякие есть, всякие. Вот тут и по землепашеству есть. А энту тоже сожечь!

Артамон Пегих спросил:

— А про божественно есть што? Про божественно люблю.

Кочеров зло и презрительно хихикнул.

— В большевицку партию записался, а про божественно запросил. Они про бога-то как сказывают?

Неожиданно от стола лохматую седую голову поднял Иван Лутохин, небесновский сектант. Пророком звали. Всегда по Священному писанию предсказания делал. Глухо и торжественно его голос зазвучал:

— По Библии, по священной книге нашей, большевики поступают. В руках бога все поступки их и по бога велению. Написано у пророка Исаии: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселены на земле. В уши мои сказал господь Саваоф: многочисленные дома эти будут пусты, большие и красивые — без жителей... И будут пастись овцы по своей воле, чужие будут питаться оставленными жирными пажитями богатых».

Как все сектанты, целые страницы Библии знал наизусть.

Кочеров, как громом оглушенный, выкатил глаза и руками в стороны развел, будто увидал свои руки пустыми, а свое оружие в руках врага. Потом опомнился и яростно рявкнул:

— Ложь! Суесловие! Осуждат Священно писанье поступки, дела и слова ваши. Осуждат! Гибель им предрешат. Сказано про конец, про ваш, у того пророка Исаии: «Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою, невнятною речью, с языком странным, непонятным». Это про вас сказано! Про слова большевицки. Разнесет вас господь...

Но была ярость Кочерова больше от гордыни, чем от боли. Потому горели одни слова Ивана Лутохина, а кочеровские сказались и сгасли. Артамон Пегих тоже с дрожью в голосе в спор вступил:

— Большевики по-божески хочут!

И многие из софроновской партии сбились у стола, торжествуя. Рушить старое хотели, но привычно обогрело

небесное покровительство. Вековым пластом темная вера насела. И как от стены глухой, Софроновы слова, в городу заученные, отлетали.

— Попы на нашей темноте наживались! Правильно поем: «Никто не даст нам избавленья — ни бог, ни царь и не герой».

Артамон Пегих головой затряс.

— Про бога выхерить из песни! Не желам без богу!

Фронтовики загалдели. Семен Головин махал руками, буйно кричал:

— А нам твово богу не надо! Кому помогал? Богородица в девках родила.

Увесистым, сильным ударом отшиб его к стене плечистый, сумрачный сектант. Головин с наскоку на него и начал душить. Софрон разнимать кинулся. Ворочались на полу трое пыхтящим клубком. Ревом нестройным, бестолковым гудела над ними толпа. Визжала забежавшая на шум снизу баба:

— Задушили! Стриганова задушили!

Митроха-писаренок тоже разнимать кинулся. Его сзади Жиганов за шиворот схватил. Вцепились и в Жиганова. Скоро мужицкая рукопашная крушила вовсю. Стекла от шума звенели. Ломали стулья. Топтали тяжелыми сапогами дорогие переплеты упавших книг. И в драке кричали дико и зычно про веру, про бога. Прибежали бабы за своими мужиками, царапались, ловили за ноги, пронзительно визжали. Только когда избитому, в разорванной одежде, Софрону удалось выбраться к двери, он послал верхового за охраной.

Сцепившихся в драке разливали водой, били прикладами и выгоняли из библиотеки. Семену Головину отшибли что-то внутри. Остался лежать на полу большой, замокший. По серому усу из поблекших губ текла тонкой струйкой кровь. А на лице ни страха, ни боли. Удивленье застыло.

Тонко, с причитаньем бабьим, проголосным, у ног его плакала жена.

Жиганов, уходя, зловеще и хрипло бросил Софрону:

— Вот эдак и тебя разутюжат.

Кочеров печально покачал головой:

— Темнота!

И тоже ушел. Софрон с оторванной полой по-городскому сшитого френча, с налитыми кровью глазами дико, похабно ругался, размахивал руками. Зол был на себя, что револьвера не взял.

— Не приучился еще ходить с ним. Тоже, солдат!

Наутро приехал из другого села фельдшер, написал удо-

стоверение о смерти Семена Головина. В тот же день хоронили. Богатые, почетные жители галдели.

— Хоронить без погребения! Богохульник!

Но старик Головин в ногах валялся:

— Мир честной, сымите грех с души! Пустите сына до бога!

Смилостивились. Послали за попом. Старенький, совсем в селе неслышный иеромонах, вместо сбежавшего попа, был дня за два только до побоища в село прислан.

Он отпел богохульника. Когда гроб несли на кладбище, Артамон Пегих и Степан Гладких с дровами навстречу ехали.

Лошадь остановил Артамон, шапку снял и, кивнув на покойника, спокойно и ласково сказал:

— Домой поехал.

И в мудром взгляде его, проводившем гроб, не было ни жалости, ни страха.

Впитал за долгие годы единой с природой жизни: «Земля еси и в землю отыдеши».

Жена Семена Головина на кладбище дико, заунывно причитала. А вернувшись домой, вытерла слезы, надела старую одежду и сказала свекру:

— Айда ли, чо ли, в хлеву убирать.

И ни одной самой мелкой работы насущной в этот день не забыла, не перепутала. А вечером пришла к Софрону спрашивать:

— За мужика выдадут какое способие, аль как?

Была за Семена из небесновских отбившихся взята. Грамоте сектантами обучена, считать хорошо могла и хлопотать за себя сама умела. Долго и упорно с Софроном торговалась. Только ночью, все управив, в глухой и темной тоске залила едкими слезами грязную, засаленную подушку. Молодой мужик-то был и желанный. Опять же дети остались.

От Небесновки выборные к Софрону приходили:

— Нельзя ли дело об убийстве Семена Головина затаить. Для богу старались! Ненароком до смерти-то!

Но Софрон распалился из-за того, что его всего синяками украсили.

Дело требует на людях быть, а куды с такой мордой выйдешь? И френчу новехоньку раздерюжили.

Распорядился, и увезли сумрачного сектанта, начавшего драку, и еще трех мужиков небесновских в город в тюрьму.

Когда сошли с лица синяки, Софрон снова за устройство библиотеки принялся. Починили мебель, повесили на стенку портреты, печатную надпись «Курить воспрещается».

Внизу под этими словами Софрон рукописью подписал: «так же и плювать на пол». Прямо против выхода повесили большой плакат: великан-солдат разинул рот и кричит. А надпись на плакате: «Подписывайтесь все на военный заем». Нагнали баб. Те вымыли полы и окна и долго не хотели уходить. Пялили глаза на невиданные мягкие кресла, большие столы, шкафы с дверцами стеклянными. Ульяна-солдатка деловито щупала обивку на мебели:

— Рубли по три поди за аршин при царе плочено.

Дарья Софронова тоже убирать в библиотеке пришла. Повяла баба, как муж начальником стал. Все молчит больше.

Бабы распаляли, про учительницу говорили. Губы подожмет и молчит. Строгая. А, видать, мается. Глаза в черных кругах, и старанья в одежде нет. Долго книги смотрела. От шкафа к шкафу ходила. Будто пересчитывала. Потом вдруг сказала:

— Попалить бы их.

— Кого?

— А книжки. Грех в них один. Народ из-за них беспокоится.

И ушла, хлопнув дверью. Когда шла по улице сторонкой с морщинкой скорбной у рта, по дороге новенькие городские сани проехали. В санях Софрон сбочку на сиденье, а рядом учительница Антонина Николаевна, лебедкой, свободно, по-господски расселась.

Белый платочек пуховой и нежный румянец на лице в глаза Дарьи ударили. Слезы выступили. Остановилась, кинуться хотела, закричать режущим бабьим визгом, исцарапать, заплевать. Но будто что-то вспомнила. Круто повернула и почти бегом до дому добежала.

Дома гнев на младшего сынишку излила. До синяков избила. Потом прижимала к себе вздрагивающее от всхлипываний пятилетнее тельце и жалобно тонко голосила:

— О... о... о... и... и... и... Смертынька-а-моя... О... и... м-а-а-м-ы-ы-нь-ка-а...

А в библиотеке Софрон перед барышней старался: заглавия книг в шкафах читал, указывал, что все по-городскому.

— Здеся читальня и завроде клуба. Здеся вот книжки получать, а там дале для библиотекарши комнатка. Полюбопытствуйте посмотреть!

И торжественно дверь распахнул. Туалетный стол под белой кисеей, дорогие флаконы с духами. Кровать с блестящими шариками под атласным господским одеялом с двумя подушками, обшитыми кружевом. Дорогой, маленький, как

игрушка, письменный стол на отлет от стены поставлен. В углу диванчик, мягкие пуфы и стол круглый, с белой скатертью. Все из дома господина Покровского.

Сияя радостной голубизной глаз, Софрон пояснял:

— Нарочно в городу у барышни одной досмотрел, как расставляют и что для барышнев полагается.

— Очень милая, очень милая комнатка. У вас вкус есть, Софрон Артамоныч.

Эх, теперь бы облапил! Сейчас бы посмел, глядит так задорливо. Да бабы мешают. В дверь гурьбой, как овцы бестолковы, суются. И Антонина Николаевна застеснялась, опять в библиотеку прошла. Там мужиков уже много набилось. Артамон Пегих допрашивал:

— Этта самый Ленин и есть?

Софрон гордо, как своего знакомого, представил:

— Владимир Ильич Ульянов-Ленин.

Артамон голову набок, губами пожевал:

— Ничо, башка уемиста, мозговита. И глазом хитер. Волосьев только на голове мало.

Софрон заступился:

— Ты столь подумай, сколь он, и у тебя волос вылезет!

— Знами, их дело — не нашинско. Волосья ни к чему. Таскать за их некому. А форму-то для его не установили еще?

— Каку форму?

— Ну, обнаковенно, царску. С пуговицами там, с медалями, с аполетами. Эдак-то, в пинжаку не личит. Для Россеи срамота: не одела, мол, свово-то!

Софрон засмеялся и к Антонине Николаевне повернулся:

— Необразованность наша! Все на старо воротит.

Антонина Николаевна по-умному брови собрала и наставительно сказала:

— Новое правительство — от рабочих и крестьян, потому и в одежде не хочет роскоши.

Артамон Пегих, приподняв клочковатые седые брови, зорко осмотрел ее с ног до головы, губами пожевал, но ничего не сказал. К портрету Троцкого повернулся:

— Этот ничо из себя, бравый! И шапка господска. Случаем не из жидов?

Софрон грозно прицыркнул:

— Ну, ты! Теперича жидам отмена вышла. Есь евреи, такой же человек, как мы. Почитай вон у Максима Горького, как над ими при царе-то измывались.

Артамон Пегих губами пожевал:

— Горького-то всем хватило тады. Все испили, зато те-

перь и в большевики записались. Сладкого-то мало ели. А я не для укору, у нас в Небесновке свои субботники есть. Парень бравый!

На столе, в рамке красного дерева, стояла кабинетного размера карточка Луначарского. Но подписи на ней не было. Антонина Николаевна и то не знала. Спросила:

— А это кто?

Софрон смутился.

— Кажется, по земельному делу комиссар. Чтой-то я запамятовал.

Артамон Пегих успокоил:

— Должно, сродственник Ленину какой.

Небесновцы на портреты мало смотрели. Больше читали через стекло названья книг. Кочеров пустой передний угол заметил и одобрил:

— Икону не навесили, это правильно! Всякому вхоже. Мы вот, к слову, икон не соблюдаем, башкирин тоже в нашей волости водится. Эдак-то для всех равно.

Артамон Пегих вздохнул:

— Да уж чо весить-то? И православны-то отбились! Тады за веру поругались да человека укомплектовали. Не примат нас теперь икона-то. Ы-хы-хы!

Бабы у плаката сгрудились. Ульяна-солдатка сочувственно сказала:

— Милай, в роте-то все прочернело, как орет. Чо это он?

Но никто ей не ответил. Софрон властно объявил:

— Ну, буде покамесь глазеть, граждане. Завтра часы установим, когда за книжками ходить, тогда пожалуйте. А сейчас закрыть пока надо.

Артамон Пегих затылок почесал:

— Ладно. А по часам-то уж небесновки пущай ходют. У их есь. А мы по брюху: до обеду да опосля до ужину. Прощенья просим. Занимайтесь!

За Артамоном пошли и остальные. Кочеров на Антонину Николаевну, уходя, искоса взглянул.

На крепкие крючки Софрон дверь закинул и к Антонине Николаевне взбудораженный, радостный вернулся. А она опять тихонькая, строгая за столом стала. Как подойти?

— Дак вот, Антонида Николаевна, для вас расстарался! Получайте, хозяйствуйте!

Она тревожно в окно выглянула и улыбнулась Софрону. Но бегло, испуганно.

— Это вы про что?

— В библиотекарши вас определям! Для вас старался! Седни и переехать... А?

Голос мужским горячим нетерпением дрогнул. К ней за стол пошел. А она боялась, ежилась... Но комнатка уж очень хороша! Протянула ему руки. Как перышко на руки поднял.

— Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч, Софрон Артамоныч... Куда?.. Девушка я...

— Баба будешь!.. Лапушка!..

Нес и давил лицо губами раскаленными. Будто отпечатать поцелуи мужицкие хотел. Но в дверь выходную забили настойчиво, часто. Антонина Николаевна с силой уперлась руками в грудь.

— Пустите... Ради бога!

Даже губы побелели! Какого черта принесло? Рвется Антонина Николаевна, ногами бьет, а в дверь стук все сильней и тревожней. Не донес, выпустил. И злой, багровый, взлохмоченный к двери кинулся.

— Кто там?

За дверью голос Дарьи, властный и дерзкий:

— Открой!

Антонина Николаевна тоненько, по-заячьи, взвизгнула сзади и в дальнюю комнату кинулась. Софрон сразу опамятовался: внизу стук услышат. Торопливо откинул крючки. Дарья вошла бесстрашно, лицом и грудью вперед. Софрон отступил. Не то испугался, не то растерялся. Дарья сама оба крюка опять накинула.

— Всей волости начальник, а ум-то, видно, в ж... ушел! Средь бела дня эко дело завел. Где б... то?

Голос у Дарьи оборвался, лицо пятнами пошло, а в плечах дрожь, в глазах — мука.

— Дарья! Убью!

— Не маши кулаками-то! Неколи. Небесновцы сговорились тебя за блудом поймать. Солдатка Кочеровска выболтала... Срам, срам какой! Прибегла я...

И голос оборвался.

— Придут, дак жена тут! Лучче сама топором зарублю!

Диким выкриком последние слова сорвались.

Софрон в разум пришел. Отвела баба беду. Не простили бы битому за блуд! Главный в волости — и за такое дело битый. А то и убили бы сами. Сразу стихшим голосом сказал:

— Жена, как же теперь?

У той лицо злоба скосила:

— Пакостить умеешь, а концы хоронить учить надо?

И властно к дальней комнате пошла.

— Барышня, госпожа! Айда суда. Бить не буду. Опосля рассчитаюсь. Иди суда, сволочь!

И за руку Антонину Николаевну вытащила. У той от испу-

га слезы высохли. А волосы и юбку с кофтой уж поправить успела.

— Придут, виду не кажи, Софрон...

А в дверь застучали. Дарья кивнула на дверь.

— Открой.

Софрон откинул крючки. Первым вошел Артамон Пегих. За ним Кочеров и еще четверо. Три мужика небесновских, три тамбовских, а на лестнице бабий бестолковый гомон. Учительница городская — штучка тонкая. Сразу подбодрилась. Как ни в чем не бывало на вошедших глянула, Дарья глаза в землю, а тоже спокойная. Разом увидал Кочеров, что сорвалось.

— Прощенья просим, Софрон Артамоныч. Слыхали, что вы здесь еще, насчет газеты зашли. Спор у нас вышел.

Артамон Пегих простодушно заявил:

— Кака газета! Сказали, с учительшей в новом помещенье грехом занимашься. Старики обиделись. Поучить хотели: блуди, да место и время знай. А, промежду прочим, и нехорошо.

Антонина Николаевна тоненько охнула и руками всплеснула. Дарья грубо и спокойно заявила:

— Брешут все из ненависти небесновски. Софрон мне приказал прийтить, как все уйдут. С учительшей, говорит, чайком побалуешься на новоселье.

Артамон сердито в ответ буркнул:

— Како новоселье! Не дозволям здесь учительнишу! Мужчину надо, из городу. Эдака чо разъяснит?

Софрон поспешно подтвердил:

— Знамо, попросим из города.

Антонина Николаевна все порывалась сказать что-нибудь и слов не могла найти. Вся пунцовая у шкафа стояла.

Кочеров задумчиво бороду погладил и сказал:

— Ну, нам здесь делать нечего. Мир прислал, не своей волей пришли. Айда-те, граждане!

У Софрона все кипело внутри, но Дарья смущала. Сдержанно и спокойно ответил:

— Не след старикам бабью брехню слушать. Необразованность одна!

Мужики вышли. Задержался только Артамон.

— Ты, Софрон, башковитый. А, промежду прочим, остерегайся. Дыму без огня не бывает.

Потом ясно, умно на Дарью взглянул и улыбнулся:

— Баба-то у тебя разумная. Не в пример прочим!

И ушел.

Как остались одни, Дарья опять властно сказала:

— Айда, барышня, одевайся да уходи. А то кипит, сгребу! Спарились ай не успели?

Антонина Николаевна опять заплакала.

— Господи, как вам не стыдно! Где моя шубка?

Софрон угрюмо сказал:

— Помолчи, Дарья, ничо не было...

Его тянуло к плачущей Антонине Николаевне, но боялся дикости Дарьиной. Потому тяжело дышал и смотрел, будто безучастно, как надевала шубку учительница. Только, когда к двери пошла, сказал просительно, робко:

— Антонида Николаевна, лошадь на дворе. Мальчонка жигановский отвезет.

Учительница поняла, что так лучше будет, кивнула в ответ головой и вышла. Дарья проводила ее загоревшимся, злобным взглядом.

— Ну, айда домой, Софрон. Только вот тебе мое слово: зарублю, если еще! Ты думаешь, я кого пожалела? Детей своих пожалела! Как был ты пьянчуга распоследняя, под забором тебе подымала, сколь раз молилась: умер бы, господи... Жалеть бы не стала. Люди бы не надсмехались. И на детях покор: пьянчужкины, Софроновы. А как выправился ты, детей никто не шпыният. А кто кольнет, так из зависти. Из-за детей себя скрутила! Помни, Софрон, еще не стерплю. Зарублю.

Встретились глазами, и не Дарья, Софрон свои в сторону отвел. Отвердела баба: зубы стиснула и в глазах черных — упорство.

Всегда так размышлял Софрон:

«Баба — народ подлеющий: потому в ей дух на острастке только живет».

А сейчас острастки не находил, сам оробел и поверил: «И весьма просто, эдака зарубит».

Ночью, когда помирились и обмякла баба от ласки мужнинской, обнимая, все-таки подтвердила:

— А разговору нашего не забывай.

IV

Баба в жизни всегда препона. Одолела Софрона Антонина Николаевна. Лезет в душу ежечасно и мешает в делах. От разлуки еще больше распалился. В школе видались часто. Только все на людях. Старался книгами заняться. Напрасно бился. И к библиотеке охладел. Из города ответили: прислать в библиотекари некого. Образованный народ к большевикам на работу идти не хочет. Советовали из своих

кого-нибудь приспособить. Из мужиков некого. Всех позанимал новый порядок. Председателей и секретарей много потребовал. Артамон Пегих недаром жаловался:

— Куда ни плюнь, на председателя попадешь!

И все на грамотных спрос. А в селе они наперечет. В сельской школе почти все обучались, да позабывали ученье. Один раз пришла к Софрону жена Семена Головина, прошение принесла о пособии, которое Софрон за мужа обещал, да выдать позабыл. Все слова в прошении к месту были подобраны, и буквы читать можно, вполне разберешь.

— Кто писал прошение тебе?

— А кто будет? Я сама. Начетчики-те нашинские, спасибо, с малолетства обучили. Все письма мужу на службу сама писала.

— Ну, ладно, будешь у нас по книжной части. Жалованье получишь, вот тебе и способье.

И назначил Головиху библиотекаршей. Комнату, для Антонины Николаевны приготовленную, заперли. Открывали только на случай приезда городских, а Головиха приходила с утра, свекра и ребятишек двух малолетних накормив. Сидела до полудня, потом опять домой шла, кончала с обедом и до вечера опять в библиотеке.

Обязанности свои она выполняла старательно. Сказал ей Софрон, что надо в тетрадку выданные на дом книги записывать. Так и делала. И неровным, но разборчивым почерком записывала в тетради:

«Качиров молоканский поп узял откуда появились люди на земле».

«Дед Евстроп узял без заглавию».

Книги давать на дом очень не любила, выбирала только старенькие и без картинок:

— Наляпате еще что на книжку! Не трогай — пущай стоит! Вот эту можно.

Два раза в неделю мыла в библиотеке полы и в эти дни посетителей не пускала.

— Пущай обсохнет! Завтре придете.

Сама очень любила смотреть картинки в иллюстрированных журналах. Читала мало — некогда. Больше, сидя в библиотеке, занималась починкой и вязаньем крючком кружев на продажу и узорчатых чулок, которые в моду в деревне вошли. Очень боялась ребятишек и парней. Орлицей кидалась за ними к книжному шкафу.

— Упрут чо, и не опомнишься!

Но отучить их от библиотеки не могла. Они были самыми частыми посетителями. Барабанили на пианино, смотрели

картинки и читали книжки. Мужики занимались больше газетами. Заовражинские приходили слушать. Кто-нибудь из небесновцев читал обычно газету вслух. Головиху скоро одобрять начали. Баба разумная, со всеми соглашается. Начнет Кочеров говорить, что оттого неустройство у нас, что бога забыли и божьего слова не знают. Головиха вздохнет и поддакнет.

— Совсем народ спутился! А без богу как?

Говорит Софрон, что попы обман делали, народ обирали, тоже головой кивнет:

— Сказано, у попа глаза завидущи, руки загребущи.

Когда «Интернационал» пели, она подпевала. В церковь ходила по праздникам нередко. Уважительностью своей всем угождала. Платье и при муже носила по городскому образцу, только кофточку навыпуск. Теперь голову стала держать и в комнате непокрытой, а волос не взбивала. Добро библиотечное зорко хранила. Это тоже ценили мужики.

— Домовитая баба попалась!

В городе как-то вспомнили про библиотеку. Софрона запросили: много ли книг из именья господина Покровского доставлено? Софрон сообщил: три тысячи. Ахнули и написали, что пришлют из города знающего человека книги просмотреть и порядок в библиотеке устроить.

Бурливые, беспокойные дни череду свою вели. Потеплело дыхание ветра. Осели, побурели снега. Из-под них пахнуло на людей волнующей истомой земли, ее весенним желаньем и предчувствием оплодотворения. Чаще беспокоилась в стойлах скотина. Изводились похотливым мяуканьем на крышах коты. Румянцем жарким чаще приливала кровь к щекам девок. Податливей стали на ласку, разомлели и льнули к мужьям бабы. В сумерки вместе с густеющей темнотой надвигалась на молодых сладостная тоска, от которой беспокойным становилось тело. Старики мудрыми, знающими глазами определяли, когда на дворе и в семье будет приплод.

Хватками мучить стало Софрона любовное томление по Антонине Николаевне. Часто, грубо и жадно ласкал жену, но только сумрачней и злей становился после этих ласк. А Дарья стихла. Двигалась плавнее и мягче, бледней лицо стало. Взгляд внутренним, теплым и мягким, светом засветился. Ребенка понесла. Ее бояться Софрон перестал. Но Антонина Николаевна сама ловко встреч наедине избегала. Пожелтевший и хмурый, он каждый вечер метался в школе и уходил домой замученный. Всегда у Антонины Николаевны другие учительницы или солдатки.

По-городскому развязные, дерзкие, они больше всего мешали Софрону. В хитром смехе, в скользнувшем намеке они давали понять, что видят тоску Софрона. Он настораживался и уходил.

В один вечер, по-весеннему истомный, Софрон, желтый и усталый, разговаривал с мужиками. Стоял в классе бестолковый, мутящий голову галдеж. Шли перекоры о земле, о весеннем надвигающемся посеве, о том, как распределять засевы озимых, о сделанном учете сельскохозяйственных машин. В школу вошел приезжий в городском меховом пальто нараспашку, в штанах галифе и френче, с красной звездой на черной кожаной фуражке, с пузатым черным кожаным портфелем под мышкой.

В споре его не приметили сразу. Растолкал народ и прямо к Софрону. Спросил скороговоркой:

— Где здесь исполком? Это какое собрание? Ячейка в селе имеется?

Софрон ни на один вопрос ответить не успел, а он уж опять скоро-скоро сыпал словами.

— Здравствуйте, товарищ! Я вас в городе видел, сразу же узнал. Вы, кажется, здесь предволисполкома? Ага, отлично! Поедемте в библиотеку сейчас. Вот мой мандат. Это собрание ячейки? Слышал, слышал, вам удалось сразу многочисленную организовать. Здравствуйте, товарищи, готовитесь к выборам в Советы? Какие планы у вас земельного распределения? Да, да, знаю, разбились на коммуны! А где здесь меня чаем напоят?

Артамон Пегих даже головой покачал и внимательно в рот приезжего посмотрел. Подумалось ему:

«Чисто машинка кака внутре слова выгонят. Так и сыплет! Рвач ай пустобрех?»

Пока приезжий стрелял без отдыха вопросами и сам отвечал на них, Софрон прочитал мандат и, уловив минуту, объявил собранию:

— Инструктор по просветительной части. Вам желательно библиотеку посмотреть?

— И библиотеку, и в ячейке вашей позаняться. Программу проштудировали? Обратите внимание на вопрос о нашей земельной программе. Я вам сейчас объясню...

Передохнул, потому что Антонина Николаевна вошла. Улыбнулся ей широко и радостно, отчего сразу милым стало курносое, скуластое лицо.

— Здравствуйте, здравствуйте, а я ведь забыл, что вы здесь обретаетесь! Право! Совершенно забыл! Вы ведь помните меня? Ну, да, да! В партию еще не решились запи-

саться? Надо, надо! Интеллигенция саботирует, но у вас здравые суждения. Чаем напоите? Я сейчас вот.

К мужикам повернулся и сразу умным и острым, странно противоречащим беспорядочной говорливости, взглядом в лицо Жиганову уперся.

— Вы из крупных хозяев? Сельскохозяйственные машины есть? Это неизбежно, вспять ничего не повернете! Пролетариат сумеет заставить признать его волю.

В полчаса метко, верно выделил из толпы взглядом и вопросами представителей разных толков расколовшейся, смятенной деревни, наговорил много слов, но уже приучил понимать его скороговорку.

Артамон Пегих утвердил:

— Рвач.

Софрон засмотрелся на его подвижное, будто брызжущее мыслью, движением, словами лицо. Даже об Антонине Николаевне забыл. Вспомнил, и заныло привычным, нудным ставшее томление, только когда инструктор сказал:

— Поедемте с нами, товарищ, в библиотеку. Вот мы с предволисполкома... товарищ Конышев, да? Я помню. Фамилии сразу запоминаю. Ну, поехали! Втроем не тесно в санях? До завтра, товарищи! С сектантами мне очень интересно побеседовать. Небесновка у вас где?

В санях дорогой вдруг притих. И было непонятно Софрону, слышит он его или потонул в своих думах. Лицо в сторону отвернул — не слушает, видно. Но Софрон, путаясь, продолжал рассказ о волостных делах. Кровь жгла, потому что тесно втроем в санях. Плечо и нога Антонины Николаевны через полушубок слышны. Говорить все-таки легче, чем молчать и слушать буйный трепет желанья. Но слова неровные, негладкие выходят.

А инструктор, оказывается, слышал. Выходя у библиотеки из саней, сказал Софрону:

— Вы правы: трудней всего с сектантами. Книжники, каждую букву учтут, а декреты у нас того... Не всегда ясные. Что? Не хватает людей? Город поможет, только и там мало. Товарищ Хлебникова, прыгайте! Приехали!

Головиха закрывать библиотеку собиралась. Препиралась с молодежью, не желавшей уходить. Увидав вошедших, сразу поняла:

«Из города начальство».

Поправила кофточку и, приветливо улыбаясь, поклонилась чуть не поясным поклоном.

Инструктор сразу уперся взглядом в плакат, изображав-

ший солдата с разинутым ртом. Заливисто и громко засмеялся:

— Это вы что же, все на заем свободы подписываетесь? Товарищ Конышев, как же это вы проспали? Товарищ Хлебникова, а? Снять, снять! Запоздали. Ах, чудаки! И книжки у вас, верно, так же: на стенах — рядом с Лениным — заем свободы, а в шкафах — вместе с Марксом — Иоанн Кронштадтский. А? Товарищ библиотекарша. А? Не читали книжек-то? Иоанн Кронштадтский есть? Убрать, убрать вместе с плакатами.

Головиха сконфузилась.

— Где их тут все-то углядишь каки! Да новы-те трепать не даю. Стоят, и не видать каки. Так, тряпочкой обмахну...

— Тряпочкой! Большевики, товарищ, народ такой: хотят, чтобы все скоро и первый сорт. Мы срочно сделаем всех грамотными и умелыми. Библиотеки сразу все поставим по последнему слову библиотечной техники. Вы не слыхали про десятичную систему Дьюи? Таблицы Кеттера здесь есть, товарищ Хлебникова?

Головиха вдумчиво повторила:

— Ке-кеттера.

И по привычке согласилась:

— Да, да... Кетера.

Инструктор взглянул в ее карие ласковые, со всем соглашающиеся, но умные глаза и засмеялся снова.

— Откуда вас товарищ Конышев откопал?

И броским шагом пошел ходить от шкафа к шкафу. Головиха вдруг испугалась и растерянно-беспомощно всех осмотрела.

Инструктор вытащил из пузатого кожаного портфеля, который все время не выпускал из рук, две беленькие книжечки и стал объяснять всем, как ими пользоваться при приведении в порядок библиотеки.

Головиха, округлив глаза, внимательно смотрела ему в рот. Подростки и два шестнадцатилетних парня сгрудились у пианино. Двенадцатилетний сын Софронов Ванька, случайно взглянув на Головиху, громко фыркнул.

Инструктор оборвал речь и повернулся к нему. Но в этот момент Головиха подошла к инструктору и ласково тронула его за плечо.

— Слышьте, господин... Товарищ то ись. Больно трудна этака грамота. Понять можно... Отчего не понять? Но так што, детная я.

Инструктор смолк и в первый раз не понял:

— Что, что?

— Детная, мол, я... Уж смилуйтесь! Куды тут Кеетер. Одному подотри, другого покорми, третьему рот заткни. Трое их у меня, детей-то... Уберешь да суды айда. А тут тоже, полы два раза в неделю мою. Уж сделайте такую милость, попроще как изъясните.

И в карих глазах такая оторопь и тоска, что у инструктора смех ласковой нотой оборвался.

— Детная, говорите? Ну, ничего, подмогу вам дадим. Все-таки грамотная, а? Нет, товарищ Конышев, ведь это трогательно: «детная»!.. А мы в планах намечали: библиотекарь должен быть универсально образован. Но «детная» — это хорошо. Мобилизуйте учительниц, товарищ Конышев. Библиотеку обязательно привести в порядок! А вы не беспокойтесь, товарищ библиотекарша, очень понятно все изъясним. Привыкнете! Для полов подмогу найдем.

Инструктор долго и ласково с Головихой говорил. На свои вопросы отвечал сам, но она расцвела улыбкой и кивками головы все ответы утверждала. Потом с молодежью занялся. Ванька Софронов поразил его и отца. Требовательно, с дерзкой усмешкой в серых глазах, он задавал инструктору вопросы о новых порядках, о распределении земли, об отношении города к деревне.

— Дать-то еще ничего не дали, а шерсть собрали! На ново войско то и дело: полушубки, валенки, хлеб! У хозяйства дело делать не дают. Все мужики в председателях да делегатах. Как мужицко хозяйство будет? Войну, сказали, кончам, а еще друг с дружкой схватились.

В дерзости слов, которые бросал срывающимся напряженным голосом, в вызывающей усмешке глаз — смятенная ищущая мысль.

Хотел инструктор отделаться фразой «лес рубят — щепки летят», но, неожиданно для себя, обнял за плечи Ваньку, стал ходить с ним по комнате и посыпал мелкий, но четкий горох своих слов, зазвучавший глубокой полнотой человеческой искренности.

Говорил о том, что пластом тяжелым земля придавила деревню. Была сытее, но темнее, глуше. Миллионы народа жили, как кроты, с тяжелыми мыслями, с упорством мертвых, отживших верований, с тупой покорностью всякой палке. Все условия быта обрекали на продолжение такого существования. Кто приобретал знание, в деревню больше не возвращался. Огромная могила при жизни для миллионов людей: только труд, пьянство, дикие суеверья.

Пока царил прежний порядок, ни школы, ни туманные

картины, ни разговоры изменить порядка не могли. Они только толкали к тому, что совершилось. Надо было разрушить систему этого порядка.

— Я не буду тебе рассказывать, что надо для города, а для деревни надо: облегчить труд, освободить человеческие силы для того, чтобы ум работал. Для облегчения труда нужны машины. Везде, где можно освободить тело человека от натуги. Машины делают в городах. Чтобы их сделать так много, как надо, необходимо освободить рабочих от хозяев, устроить хорошо их жизнь. Освободили. А чем кормить? Деревня для своего освобождения должна тянуться?

Он говорил долго и, в общем, несвязно. Когда замолк, Ванька Софронов сразу простым детским голосом вывод сделал:

— Стало, деревню отменят? Привезут суда всяки машины, все по-городскому устроют. Вон чо!

Видно было, что еще не решил, хорошо ли это — отмена деревни. Но глаза его засветились мягким блеском. Он застенчиво улыбнулся, бережно снял руку инструктора со своего плеча и выбежал из библиотеки.

Софрон не верил своим глазам и ушам. Старшего сына своего он два раза бил тяжким мужицким боем, потом старался не замечать. Сквернослов, курильщик, забияка, он не был изувечен мужиками только потому, что отец в силу вошел. Кроме похабной частушки и дерзких ответов, дома от него ничего не слыхали. А сейчас он так глубоко, хозяйственно язвил инструктора, что, видно, много узнал за это время и передумал. Знал все мужицкие тревоги.

Инструктор взволнованно сказал:

— Д-да. Умный мальчишка! Замечательный молодняк у России.

И Софрон раздумчиво, как будто размышляя, ответил:

— Да, пожалуй, эдаких никто задницей не придавит! Вырвутся!

Неожиданной волной колыхнулось отцовское удовлетворенное чувство.

— Мой халиган-то. Сын.

— Замечательный мальчишка.

Узнав о приезжем человеке, набрался в библиотеку народ. Антонина Николаевна на пианино играла, а все старательно, долго, на церковный медлительный лад, сближая «Интернационал» с национальной заунывной песней, тянули:

Никто не даст нам избавленья,
Ни бог, ни царь и не герой...

Инструктор уехал к Антонине Николаевне чай пить. Ночлег ему был приготовлен в библиотеке. Когда он вернулся, из библиотеки еще не разошлись. Заговорились, и беседа была необычно мирной.

У Софрона екнуло сердце, когда инструктор вышел с Антониной Николаевной. Но рассеял и отвлек разговор с народом. Говорить ему хотелось. Ожили, двигались и беспокоили мысли. Когда вернулся инструктор, на душе стало совсем легко. Шел домой и гудел:

Кто был ничем, тот станет всем...

Дома прежде всего спросил Дарью:

— Ванька дома?

— Спит.

Ванька спал на полу, у печки, с братьями. Кровать была только одна, супружеская. Софрон посмотрел на разметавшегося во сне сына, усмехнулся и неловко, но бережно поправил азям, которым сын одевался.

Инструктор прожил три дня. На второй вечером Софрон опять был угрюм и лицом темен. Щемила ревнивая тревога.

Целый день Антонина Николаевна и другие учительницы работали в библиотеке с инструктором. И Софрон в этот день видел, как шли они рядышком по улице. Инструктор под локоток Антонину Николаевну поддерживал. А она заливчато смеялась и сияла глазами.

Софрон, мучась своей болью, избил ночью Дарью. Проснулся Ванька и кинулся на отца. И кричал отчаянно и звонко:

— Я знаю, с чего тебя корежит! Уходи от нас, а мамку не трогай!

Дарья так была поражена его заступничеством, что плакать перестала. Ванька всегда нехотя, с издевательством с ней разговаривал. Обидой глубокой терзал ее материнское сердце. Софрон махнул рукой и, хлопнув дверью, вышел на двор. Потом, в одном летнем пиджаке, без шапки, как был, почти бегом двинулся к школе. Тяжелый от револьвера карман бил его по боку. Теперь он его никогда не забывал. В школе было тихо и темно. Софрон стоял долго, продрог и, опустив голову, пошел домой. От ворот круто повернул к библиотеке. Там еще горел свет, и в освещенное окно Софрон увидел инструктора. Он размахивал руками и что-то говорил. Сердце застыло в вопросе: с кем? Но в этот момент хлопнула наверху дверь, и донесся голос Митрохи-писаренка:

— Ладно. Заночую. Сичас до ветру только схожу!

Легким стало тело. Сразу почувствовал Софрон, как продрог и как хочется спать.

Ночью, накануне отъезда инструктора, Софрон опять дежурил у школы. Закутавшись в черный тулуп, прилип к черному сарайчику во дворе школы. В окнах комнаты Антонины Николаевны был огонь, но занавески, пропуская свет, разглядеть, что делается в комнате, мешали. Час или год стоял? Так велика была мука, что о времени забыл. Когда застучали засовом выходной двери, вздрогнул, как от удара.

— Ну, спи!

— Завтра провожать приду!

— Не стоит, рано уеду. А? Да, да, в городе увидимся!

Рванулся было за ним, но одним прыжком очутился на крыльце, у незапертой еще двери. Стояла, стерва, вслед смотрела, хоть и скрылся любезный уж за углом!

— Кто это? А-а!..

Стиснул ей рукой щеки и рот и, подхватив под мышку другой рукой, втащил в ее, недоступную для него в такой час, комнату. Для него недоступную, а для этого, городского... Зубами скрипнул, а глаза и уши, как на охоте, ловили все... Никто в сторожке не зашевелился. Крепко спят. Повалил ее на пол у двери и, прижав коленом рот, запер дверь на крючок.

— Только закричи, сволочь, башку разможжу!

Выхватил револьвер, махнул перед остановившимися, будто окаменевшими от ужаса и удушья глазами и освободил рот. Она с трудом и болью передохнула и встала.

— Только заори, попробуй!

— Не буду, Софрон Артамоныч!..

— «Артамоныч»... Заигрывала, а давалась другому. Показывай, не обсохла еще? Ах ты, шкура, б...

Бурный, прерывистый поток ругательств, самых безобразных, ошеломил ее. Попятилась от него к окну. Но он рванул ее грубо к себе, уронил опять на пол и, разрывая платье, навалился, закрыл собой и широко по полу разметавшимся тулупом.

В скверности и жестокости этого обладания самой едкой обидой, ранящей человеческое, было ощущение: ее тело привычно отвечает:

— А-ы-ы-х!

Встал, плюнул ей прямо в лицо, толкнул ногой и повернулся к двери. Тонкие, белые руки вцепились в него. Вскочила, прижалась телом, сегодня еще так страстно и свято желанным. А сейчас стало противно. Рванулся и заорал, не думая ни о какой осторожности:

— Ну-у!

— Софрон Артамоныч... Софрон... Не говорите никому... Я вас люблю... Я буду вашей... долго... всегда. Не говорите никому... Не сра-а-мите меня...

«И ведь лезет после всего! Только бы людям чистенькой казаться...»

В глазах мука и отвращение, ноги ноют от грубого мужицкого обладания, а губы шепчут:

— Я буду вашей... Не говорите...

— Ах, шкура! Па-а-кось!

Рванулся, выбежал, не помня себя от злобы и отвращенья. Деревенская девка морду бы искусала, а эта барышня... Он-то на них снизу, на беленьких, из своей-то грязи, как на бога. Ах, стерва, стерва!.. Притворялась недотрогой, мужика одуряла. А-а!..

Антонина Николаевна утром рано с инструктором в город уехала. Софрон весь день в кровати пролежал. Голову мутило, думать не давала обида. Перед кем с прахом себя мешал? Все они, городские, такие! Видом обманные, а сами подлые. Учителя! Спасители!

Дарья подходить к нему боялась, детей отгоняла и на них цыкала. Только раз спросила:

— Может, квашеной капусты на голову-то? Поможет.

— Не надо...

Мужики приходили, притворялся спящим. А Дарья с непритворной тревогой говорила:

— Трясучка ай сыпняк.

Ночью, когда Дарья осторожно улеглась рядом, стараясь не толкнуть мужа, он вдруг бережно, любовно притянул ее к себе и прижал губы к белой, набухающей в беременности груди.

Не мыслью, звериным чутьем, никогда не обманывающим, почуяла всю глубину его нежности и тихонько заплакала.

— Софрон... Желанный, соколик...

— Помолчи, Дарья... Помолчи, мать. Дура моя деревенска...

V

Слова, как набат, короткие, звонкие, звуком чуждым пугающие, все чаще и чаще доносятся. Еще заставами неснятыми мешают им сто пятьдесят верст до уездного города, сто десять до ближайшей станции. Еще дыхание великой тревоги только колыхнет и сгаснет в промежутке между

бурей и глухой, мужицкой, застарелой тишиной. Но уже нет старого, унылого, в безнадежности страшного покоя. Еще живут за печью бабкины поверья, но уже пугаются и прячутся от криков новых деревенских коноводов.

Вернулся в Интернационаловку, Тамбовско-Небесновку тож, Редькин. Он долго пропадал в городах. Был не только в своем уездном, а и в губернском, порядки проверял. В селе дивились, что вернулся живой. Говорили:

— И чем жив человек? Костяк один остался, и тот некрепкий. Гнутый. Спина дугой. А все ерепенится! Еще лютей стал.

Только Артамон Пегих, на улице Редькина повстречав, зорко в лицо его посмотрел и деловито сказал:

— А недолго тебе, Филимон, гомозиться-то! С ручьями смоет тебя.

Редькин взъерошился, обругаться хотел, но только сплюнул и отозвался глухо:

— Гляди, не твой ли черед? Отбатрачил до пределу, старик. А я еще потяну. Худо дерево два века скрыпит!

И в жарких глазах беспокойная мольба к жизни: дай эти два века!

Артамон губами пожевал и раздумчиво отозвался:

— Все может быть. Упористы вы, нонешние-то. Жадности до белого света в вас много.

И пошел к своему двору, старый, сгорбленный, до света белого нежадный, спокойно взглянувший в близкий свой предел, но на ноги еще крепкий, о внуках радеющий, большевик Артамон Пегих.

А Редькин Софрона по всему селу искал: допросить, долго ли будет слюни распускать, с молоканами манежиться. И не нашел его в селе.

Софрон на соседний хутор Хворостянский уехал, где переселенцы горемычные на каменистом, мало плодном, будто для них среди окрестных угодий плодородных вынырнувшем участке осели. Теперь волисполкому заявление подали:

> «Мы нижеподписавшие крестьяне деревни Хворостянской в шестьдесят четырех дворов собравшись на сходе в числе сто три человек постановили дать нам землю Небесновских молокан как на камне ничего не растет а к тому как земля ничья как тому пункту есть декрет большевицкого правительства, которому единогласно придерживамся как есть буржуи которых бить есть наше согласье к сему руку приложили».

Заявление написано лихим почерком Макарки, по прозвищу «Пройди-свет», присяжного хворостянского писальщика жалоб и челобитных. А под заявлением корявые буквы подписей и унылые кривые кресты неграмотных.

Обидой, барышней нанесенной, взбодрило Софрона. Горьким дымом разочарования, как лекарством едким, прочистило глаза. Появился в сини их свинец, которого раньше не было. Отошел туман мечты, и увидал Софрон: тянулся в плен к чистеньким господам, а в них правды нет. Защиты от них не будет. Издали только приманчивы. Сверху улыбку шлют, а рядом стать не дозволяют. Рылом, дескать, не вышли! А, не вышли? Наша власть! И как всегда бывает, когда ожжет кнутом обида, ожили старые боли, казалось, изжитые и забытые. Бежал с фронта одичавший, жестокий от дурмана бойни. Тогда не боялся, не жалел никого. А в своей деревне отошел, разнежился никогда раньше не испробованным почетом и доверием. Бей их всех, сволочей! Всех, кто слово поперек! Наша власть! Сразу увидал, что ничего еще не делал, только мечтал и сам «маломочных» одурял. Скуп и резок на слова стал, на книжки, на библиотеку господскую плюнул. На другой же день, как встал, за небесновцев принялся. Большой гурт скота отобрал, в город на прокормленье Красной гвардии послал. Когда узнал, что в молитвенном доме евангелических христиан на собрании в слове своем Кочеров поступок его осуждал, Кочерова самолично нагайкой исхлестал и в город в тюрьму отправил. Молитвенный дом печатями запечатал:

— Будя! Попели псалмы, на работе брюхи потрясите!

К хворостянцам поехал распаленный и готовый выполнить просьбу их.

Там, вместе с криками «будет, попили нашей кровушки!», «нечо валандаться, прикрутить богатеев!», передали ему жалобы на то, что товаров никаких в деревне нет, деготь дорог стал, что доктор в Романовке старого правительства «придорживается»: лекарств никаких не дает, от дурной хвори солдат не вылечивает. В гомоне крепкой мужицкой брани, несвязных слов и крика раззадорился сам и распорядился:

— Лавошников перетрясти всех. Где запрятали товары? Нещадным боем бить, пущай скажут! Дохтура тоже поучить и в город отправить, а для округи в больницу за дохтура Пантелея-синитара поставим. Он всяки порашки знат. Выдавать будет. А сам я завтре в город, нащет требованию: каке есть наши права?

И уехал. А следом за ним, на дровнях три подводы с хво-

ростянскими. На перекрестке расстались. Софрон в волость к себе, а хворостянцы в Романовку: доктора учить и Пантелея-санитара на место его поставить.

Бурый снег под ногами проваливался. И в сумерках вечерних лежал по краям дороги, потемневший, пасмурный. А в степи тишина была переполнена ожиданием весенних бурь. В этой, затаившей в себе крик нетерпенья, тишине дышалось тревожно. Софрон понукал кучеренка Саньку и ерзал беспокойно в санях.

В Интернационаловке уже зажгли светцы и кое у кого керосиновые лампы, когда Софрон приехал. Мелькали в окнах и огоньками своими сгущали мрак в углах улиц, у ворот. Оттого не разглядел Софрон, что у его ворот стоит Редькин, и вздрогнул, когда тот отделился от забора черной длинной фигурой.

— Ктой-то?

— Я, Редькин. Куды раскатывал?

— В Хворостянку. Айда в избу! Дело есть.

Редькин рассказал мало. Похожий на сурового угодника с иконы старого письма, худой, с бороздинкой глубокой и сумрачной меж бровей, он низко опустил голову, смотрел строго исподлобья и только кашлем да отрывистыми редкими словами прерывал рассказ Софрона. Оба решили на свету выехать в город. На огонек заглянул Артамон Пегих и тоже с ними выпросился. Ванька сидел у стола за книжкой. С отцом и матерью разговаривал по-прежнему скупо, неохотно, но реже стал убегать вечерами на улицу. Услышав о сборах в город, вдруг поднял голову. Будто нехотя, лениво процедил:

— Меня до городу не подвезете?

Софрон усмехнулся одним углом рта. Лицо светлее стало.

— Это куда же ты собрался, товарищ?

Глядя в угол, Ванька ответил:

— Там видать будет — куда!

Софрон рассердился.

— От, сопляк, разговаривать еще не хочет! Поучу вожжами, так заговоришь.

И, хлопнув сердито дверью, вышел с Редькиным.

Но на заре, когда подъехал на хорошей паре, в ковровой большой кошеве, захваченной в именье Покровского, Артамон Пегих, Софрон разбудил Ваньку.

— Одевайся, в город поедем.

Артамон Пегих одобрил:

— Тоже возжелал на город поахать? Ладно! Вы там

к господам, как начальство, а мы на улках на городских поглазем. Я тебя везти вызвался. Нуждишка до городского базару есть. Внучка наказывала.

Раньше город чистенький был. Теперь, когда взметнулись на домах присутственных красные флаги, появились вывески с непонятными названиями, взъерошился, засерел солдатскими шинелями, потускнел и сразу прибеднился. Господа в одежде приубожились. В магазинах полки и прилавки уныло просторны и пусты стали. На базаре только то, что для еды, осталось. Редко-редко ларек с городскими приманками, и тот с запасами скудными.

На улицах людных, шелухой семечек и орехов засыпанных, грязных, занавоженных, и народ все больше серый. В домах присутственных красногвардейцы с винтовками, начальники в одежде из кожи с револьверами, мутящий туман махорки, стриженые женщины с мужскими повадками, с папиросами и козьими ножками в зубах, бестолковый гул несмолкающих разговоров, окурки на полу и кучи сору в углах. Похоже, что из домов этих хозяева выехали, а эти новые — квартиранты. Останутся ли жить, еще не знают и не хотят домов обихаживать. И народ служащий непоседливый стал. За столами не сидят, все кучками собираются, руками машут и галдят.

Нет, не глянется этот новый город Артамону Пегих. Размышлял:

— Главно дело, не разберешь, который начальник над котором выше! Все руками машут, все приказывают, все речи говорят, и все с револьверами. У женского полу приману женского нету. Ну, к чему подобно: дымят, шапки мужицки понадевали, кричат без острастки и везде, как мужики, налезают, не ужимаются. Тьфу!

Недовольный и сумрачный вернулся на двор, где лошади стояли, и в сенях спать под тулуп завалился. В дом куда пойдешь? Номер в гостинице Софрону, как начальнику, предоставили. Хоть и грязно в нем, а все не на постоялом. Непривычно. Разбудил его Ванька толчком в бок.

— Деда Артамон, деда! Вставай! Купцов по городу водют!

Еще не развеялась сонная истома, но уже уловил в Ванькином голосе необычайное дрожанье не то от радости, не то от испуга.

— Чтой-та? Это ты, Ванька?

— Айда на улицу скорей! Купцов с мешками водют!

Побежали на главную улицу. Дорогой Ванька рассказал: муки в городе мало, из деревни скуп подвоз. Очень вздоро-

жала мука. Рабочие в исполком: почему? Исполком запретил вывозить из города муку на продажу в губернию и цену на нее установил. Сегодня на заре крупные мучные торговцы пытались вывезти. Их поймали красногвардейцы. Возы отбили. А рабочие торговцев из домов вытащили в чем застали, наложили мешки камнями, дали нести и водят по улицам, а на углах бьют.

— Наши все, деревенски, бьют-то! Видал, с базару хворостянски, романовски, тамбовски побегли и из Демократической волости. Сейчас на главну улицу вывели. Я тятьку искал, да не нашел, тебя разбудил.

Со всех сторон на главную улицу бежали любопытные. Колыхалась сотнями голов главная улица. Стоял над ней то вздымающийся, то опадающий смутный гул разговоров, восклицаний, криков. Одинаково жадно налезали друг на друга, толкались, орали и те, кто хотел бить купцов, и те, кто жалел их и возмущался расправой. Искренними были у всех только глаза: нетерпеливые, жадные. Хорошенько бы разглядеть, как бьют! Орала в толпе толстая Максимовна, торговавшая щами на базаре:

— Православны! Выпустите! Бока сдавили: задохну!

А сама пролезала, толкаясь локтями в обе стороны, к середине, туда, где шли с мешками купцы. Впереди, смешно семеня ногами, сгибался под тяжестью мешка бывший городской голова Зеленков. Он был в одном белье и ночных туфлях. Толстый живот тоже обвис, как мешок, над короткими ногами. Благообразное лицо, с размазанной кровью из рассеченного виска, исказилось болью, натугой и обидой. Бурые густые волосы смокли, прилипли ко лбу и вискам. Он таращил из-под бровей налитые испугом, покрасневшие глаза и молил робко, задавленно, как мяукал:

— Братцы!.. Товарищи!

За ним спотыкались связанные вместе чьей-то опояской два прасола Жериховы, отец и сын. Седой старик с черными живописными бровями и молодой, похожий на поросенка, безбровый, с белесыми заплывшими глазами и носом пятачком. Даже в испуге лицо его не осмыслилось, не очеловечилось тревогой. Он и вскрикивал, как хрюкал. Старик матерился и тряс головой. Оба успели одеться, но у старика суконная бекеша и то, что было под ней, располосовано пополам. В разрез выступила желтая старая спина. За ними трое гуськом: приземистый, черный, как жук, широкоплечий хлебный торговец Ишматов, в брюках, нижней изорванной сорочке и подтяжках. Он был сильнее других и под мешком сгибался меньше всех, но скрипел зубами и выл не от боли —

от ярости. Чернозубый, с низким лбом, высокий, длиннорукий владелец паровой мельницы Мякишев лязгал в страхе зубами и часто спотыкался, наступая на оторванную штанину. Сзади всех молча волочил больные ревматические ноги в меховых сапогах старик с кротким иконописным лицом и серебряными кудрями. Первый в городе богач Миляев, продавший в рассрочку с жестокими процентами сельскохозяйственные машины крестьянству всего уезда. На нем от одежды остались одни лохмотья да сапоги. За купцами, подгоняя их, размахивая тяжелым засовом от ворот,— высокий желтолицый мужик в грязной белой шапке с одним ухом, в рваном полушубке. Он зычно орал нараспев:

— Граждане! Глядите! Эт-ти вот муку вывозили! Глядите! Эт-ти наши буржуазы, грабители!

Сбоку, рядом с купцами, размахивая руками, солдат в грязной шинели, с походной сумкой за плечами. Вытаращив глаза — они одни жили на сером землистом истомленном лице,— он дико орал:

— Імперялистов поймали! Вот они идут! Бей імперялистов!

В толпе разноголосые выкрики:

— Бей толстомордых! Га-а-а!

— Выпустить им кишки!

— Мукой животы набить!

— Теперь слабода, а они муку вывозют!

— Все перва гильдия!

— Бей их по первой гильдии!

— Какая дикость! Какая жестокость! Где же власть?.. Это Зеленков впереди?

— Звери! Изверги! Убьют! Да не налегай ты, паршивец! Спину всю протолкал!

— Господи, что же это? Господи, что же это? А их уже били?

— Сенька-а, пролазь суды! Тута всех шестерых видать!

— Гра-а-жда-а-не! Эт-ти вот муку вывезли!

Семь солдаток визжали около самых купцов, наскакивая на них с двух сторон, стараясь ударить на ходу, подскакивая и подпрыгивая, как в диком танце. Прасковья Семенчихина всех визгом покрывала:

— У мине муки на квашню нету! На квашню не хватат!

Худой, косенький, однорукий курьер торопливо, широко шагал за солдатками, чтоб не отстать от купцов, не потерять их из виду, и громко, радостным, захлебывающимся тенорком рассуждал:

— Действительно, им там всяко praванско масло, а нам

на муку нету! Де взять, когда ка-а-жный божий день надбавка! Қажный божий день! Бить их следует! Я согласен.

Густым диким ревом орали крестьяне, сбежавшиеся с постоялых дворов.

— С энтого вон шкуру содрать! За цабан иссушил мене. Всем потрохом заплатил.

— Мы каждый пуд слезой поливали, а нам кака цена?

— Нутре надорвали над хлебушком. А они на ем наживаются!

Играла в мужицкой крови обида вечного податника, боль натруженного, для чужой утробы, горба.

Играла стихийно мужицкая ненависть к белоручкам.

— Пузо наливали! На нашем хлебушке наживались.

— Бей их, сволочей!

На углу, у высокого крыльца большой аптеки, высокий, в шапке с одним ухом, остановил купцов. Разом насела на них толпа. Деревенские всех отшвырнули и били истово, сильно, деловито. Будто цепами хлеб молотили. Солдатки пронзительно визжали, совались бестолково к лежащим на земле купцам и в толпу. Ругались длинными похабными фразами и причитали о своей скверной жизни.

Прискакал конный отряд милиции. Начальник милиции был впереди. Расталкивая конем толпу, он кричал:

— Эй вы, прекратите! Эй вы, слу...

Докончить он не успел. Прасковья Семенчихина вцепилась ему в правую ногу и потащила с лошади. Дюжая, плечистая солдатка обняла его с другой стороны, руками у пояса. Он только успел подумать:

«Зачем она руки мне в карманы?»

И полетел с лошади вниз головой.

— Вот тебе, командер! Постой на голове.

Ткнули бабы его головой в снег, а у пояса держат. Задрягал ногами в воздухе начальник. Толпа орет, гогочет:

— Вот так бабы! Выучили на голове стоять.

Прасковья приговаривала:

— Гладкий жеребец! Ляжки-те, как у борова.

— А ты его еще пощупай. Хорошень!

— Га-а-га... Го-го-го...

— Бей Зеленкова! Он на нас поездил!

— Подымай купцов! Еще водить!

Начальник милиции еле вырвался из бабьих рук. В разорванных штанах, избитый. Рад был, что каким-то чудом револьвер со шнура не оторвали. Но стрелять не решился. Побежал в исполком. Там члену военно-полевого штаба обо всем доложил. Оправдывался:

— Какое стрелять? Разорвали бы на куски, только выстрели. Весь в синяках. Исщипали, подлюги!

Член военно-полевого штаба, высокий большеносый человек в очках, смеялся:

— Ну, как вас бабы учили? А?

В исполком прибежал трясущийся, с отвислой нижней губой, бывший председатель уездной земской управы, купец Титов. Пропустили к большеносому.

— Что надо?

— Спасите... спрячьте... Самосуд... меня ищут тоже.

Высокий презрительно и спокойно сказал:

— Спрятать могу только в тюрьму. Сейчас напишу ордер. Идите, там примут.

— Благодарю вас... век не забуду... Спасибо... Ордерочек-то скорее.

Высокий засмеялся, написал ордер, отдал Титову и, поправив на голове кожаную фуражку, пошел на главную улицу, где ревела толпа. Когда пробирался сквозь нее, видел: на крыльцо аптеки вскочил высокий, тонкий юноша, с бледным до синевы лицом и горящими глазами. Юношеский голос вырвался резким отчаянным выкриком:

— Товарищи!.. Товарищи!..

Желтолицый в папахе оглянулся и заревел:

— Племянник будет Зеленкову.

— А-а-а. Во-о-о... Ага-а...

Сгребли «племянника» опять первые бабы. Насели мужики. Он скоро замолк и вытянулся. Член военно-полевого штаба видел в толпе красногвардейцев. Они не только не мешали расправе, а сочувствовали ей. Это было видно по оживленным их фразам, по яркому блеску ненавидящих глаз. Им была понятна ярость толпы, потому что кровное родство связывало их с мужиками, которые били, как цепами молотили. Но толпа уже сгасала. Почти насытились местью. Высокий член военно-полевого штаба поднялся на крыльцо аптеки, откуда стащили уже пятерых. Мужественным зычным голосом он спросил:

— Что вы, товарищи, делаете?

И в простоте, холодной ясности этого вопроса была странная спокойная убедительность.

Затихать стали, от жертв своих оторвались.

Неуверенно прозвучал одинокий мужской голос:

— Стащить и этого надо!

Высокий на крыльце услышал. Спокойно отозвался:

— Стащите. Я без охраны и отбиваться не буду.

Как бы в доказательство, руки вверх поднял, потом

опустнл н, будто продолжая спокойный разговор, опять спроснл:

— На кой черт с этнмн связались? Управу на ннх найдем. А вы убили нх на улнце, вас злодеямн велнчать будут. А нх за мучеников. Отведнте жнвых в тюрьму! Там прнмут. Сейчас десяток еще арестовалн. Проучим, будьте покойны! Умеем! А этнх, мертвых и изувеченных, стащнте в больницу.

Холодно поблескивая очкамн, спокойно, будто ничего не случнлось, уверенный в себе, как хорошнй укротитель, он спустился с крыльца и пошел к нзбитым. В задннх рядах еще слышалнсь крнки:

— А этому чего надо?

— За кого застанват? За кого застанват?

— Бей!

Но в середнне, около высокого, стнхли. Расступнлнсь и дорогу ему далн. Он спокойно взглянул на нзбнтых, будто пересчитал нх, повернулся н пошел к нсполкому. Из толпы вынырнулн оправившиеся мнлнцнонеры.

Мертвых, Зеленкова и реалнста, н троих, нзбнтых до невозможности встать, утащнлн в больницу. Двух, которые встални моглн брести спотыкаясь, повелн в тюрьму красногвардейцы.

Артамон Пегих, яростно бнвшнй купцов вместе с другими крестьянамн, перевел дух, как после утомнтельной работы, вытер рукавом пот н оглянулся. Увндав Софрона, пошел к нему через улицу по расцветнвшемуся пятнамн рыхлому снегу степенной мужнцкой походкой.

— Слышь-ка, Софрон! Это кто же сурьезный-то, в очках?

— Из военно-полевого штаба.

— Сурьезный, н того... Без опаскн человек!

— На фронту всю войну был, чего ему опасаться? Кабы из тыловнков, так давно бы ногамн задрягал!

А человек без опаскн шел н думал:

«Моглн сгрести! Усталн уж, насытнлнсь. Деревенское зверье работало старательно. Д-да... стнхия! С этнмн еще придется н нам хлебнуть... Да!..»

И прнвычным двнженнем рукн пощупал револьвер.

Софрон расправу одобрил:

— Когда дождешься на нх, городскнх, по закону-то, управу? Сбылн со счету которых, н ладно!

В городе тревогн было больше, чем в Интернацноналовке. Там, в деревне, под сектантскнм началом, еще несмело н нестройно вмешнвалн новое в старое. Больше галдели, мало рушнли. А в городе уже гулял хмель местн н разлнвного гнева. Ночами вытаскнвалн людей нз наснженных гнезд,

отводили в тюрьму, отбирали добро. Эта тревога усиливала ненависть Софрона к господам. К чистеньким, образованным. Об Антонине Николаевне не думал. Слышал, что в город с инструктором уехала, и пожалел инструктора.

— Зряшна баба!

На заседании исполкома один раз присутствовал и одного члена исполкома изругал за то, что тот против контрибуции был.

— Эдаких беленьких-то нечо спрашивать! Им штоб и горячий блин, да штоб не обжигал. Под задницу их надо! Колготят, а от делу под закрышку.

Всякая слабость и нежность вызывала в нем взрыв гнева. Не выносил машинисток в учреждениях.

Все барышни нежненькие в машинистки определились. В исполкоме одну с кудряшками, ласковую, изругал матерно. Когда она заплакала, сплюнул около стола с машинкой и спокойно отошел.

В городе опять в военную одежду оделся. И когда шел по улице, в шинели, с револьвером и бомбой на поясе, высокий и резкий, с суровым, свинцом отливающим взглядом, Редькин и Артамон рядом с ним казались арестантами, боязливо съеженными. Но вместе обычно они доходили только до исполкома.

Артамон не любил учреждений, махал рукой и поворачивал к постоялым дворам. Там разыскивал деревенских и проводил с ними день. Редькин заходил ненадолго, хмуро осматривал служащих и оставался только, если назначалось собрание. Собрания были часты. Редькин внимательно слушал всех ораторов. Но возвращался обычно в гостиницу злой.

— Нащет деревни никакого решенью!

Ходил в читальню, слушал газеты. Сходил даже один раз на любительский спектакль и долго после этого хрипло матерился.

Ванька целыми днями в типографии пропадал. Один раз послал его из исполкома Софрон за газетами, каждый день стал туда бегать. Свел дружбу с наборщиками. Они ему газеты и книжки давали читать. Читал он жадно, без разбору. Все будто что-то искал в книгах и газетах. Оттого что он ясно видел, как ловко и легко все обсуждают городские и как туго и тупо понимают все новое деревенские, загорелось его сердце обидой.

— Ладно, их в школу посылали! А меня одну зиму. Больше мать не пустила. Ничо! Сам дойду!

И оттого, что сам захотел, оттого, что не преподносили

ему разжеванного, питательного, тратил много времени на непонятное, утомительное в чтенье. Делал открытия уже открытого, но не растерял своего и креп дерзкий, в себе уверенный и упорный.

В городе Софрона задержали. Воздух заулыбался повесеннему. В полдень радостно прыгала с крыш капель. Город оглашался допоздна звонкими детскими голосами. Артамон беспокоился:

— Угрузнем где в логу. Снег-то пади уж не держит! Скоро ли, что ли, поедем, Софрон? Все шалтай-болтай, а в деревне-то телеги налаживать надо. Небушко-то уж звенить!

Софрон угрюмо отозвался:

— Успешь еще, наладишь. Та и беда, приросли мы к земле и об себе не понимам, чтоб и земля полегче давалась. Дела еще есть в городу.

А в городе событие случилось. Получил исполком сообщенье, что в восьми верстах от города остановился казачий полк или отряд, но много казаков. С фронта в степные станицы возвращаются. На конях, в полном вооружении и даже одно легкое полевое орудие с собой волокут. Люди и лошади заморенные. Будто бы на передышку встали. Военно-полевой штаб забеспокоился. Казаки — народ старой закваски.

Зачем им пушку в свою станицу? Постановил исполком послать делегатов для мирных переговоров: зачем и куда? И предложить сдать оружие. Делегаты вернулись благополучно. Казаки оружие сдать отказались, но говорят, что мирные. Идем, дескать, мимо города. Советскую власть признаем. Пропустили отряд. Но пришло распоряжение из губернского города задержать казаков. Решили спешно отправить Красную гвардию. Это было первое ее выступление. До сих пор Красная гвардия в городе занималась только охраной самого города да сбором контрибуций в селах.

В назначенный час со всех улиц потянулось к исполкому свободное, наемное войско. Бурливая, дерзкая, разная по одежде толпа. Шли с винтовками. Одни в шинелях по-солдатски, другие в крестьянских азямах и тяжелых пимах, третьи в городской рвани и опорках на ногах, четвертые — чужаки в своей одежде, военнопленные. После всех отдельно прибыла киргизская часть. Впереди несли красное знамя и на пике металлический полумесяц с бубенчиками. Низкорослые, кривоногие, скуластые шли нестройными рядами и пели гортанными голосами киргизскую песню. Будто играли на какой-то полузабытой, но в давнем родной всем и волнующей дудке. И в ответ этой дикарской песне с подъезда

исполкома раздались взывающие дерзостью и новизной слова приветствия:

— ...Красная гвардия, первое в России свободное войско трудящихся, охрана революции...

Это соединение киргизской песни, бестолкового гомона разношерстной, по виду убогой, разноголосой, разноязычной толпы, собравшейся на улице мещанского захолустья, и слов огромного масштаба, истинно торжественных, бьющих отвагой вызова всем, всем, всем, было дико, страшно и бодрило душу величием, непонятным рваной кучке — рати смельчаков, появившихся во всех городишках взъерошенной РСФСР, чтобы лечь перегноем ее полей.

Эти большие слова были для них только звоном своего села. Чтобы была своя пашня, чтоб проткнуть пузо с ему кулаку Миколай Степанычу, чтобы разогнуть свою спину, из своей глотки услышать крик вольный, непривычный: наша власть! Но чутьем, всему живому, а им, простым и цельным, сугубо свойственным, ощутили они широкую радость дерзости.

Оттого и трезвые в этой толпе казались пьяными. Охмелели буйным хмелем задора. Стреляли в воздух из винтовок, орали, не сердито, а задорливо ругались. Шестнадцатилетний белобрысый паренек, путаясь в длинной, будто тятькиной шинели, удивленно-весело кричал:

— Эй, товарищи, затвор я потерял! Эй, эй, затвору никто не видал?

Бородатый фронтовик добродушно-снисходительно выругался:

— Сучий сын, сопля. Теперь орудуй без затвору!

— Затвор потерял, вояка! Титьку мамкину возьми вместо затвора!

— Зеленый еще! Доспет, солдатом будет.

— Ничо, я без затвору... Я и так... его мать, казака растворожу. Ничо!

И лихо, с выкриком, песню поддержал:

...к ружьям привинтим штыки.

Другой, такой же зеленый и радостный, кричал в кучу смешавших свои ряды киргизов:

— Эй, вот ты, крайний, как тебя?.. Малмалай-Далмалай, скажи: «пролетарии всех стран». Не знашь? Не умешь?

— Се умем! Мал-мал казак стрелю!

Смешанный гомон, бестолковая брань разношерстных, таких непохожих на старую армию, пьяных задором, присутствием в рядах и от водки пьяных, были противны многим

в прихлынувшей посмотреть толпе. Люди, видящие только то, что можно пощупать, окружали толпу красногвардейцев враждебным гулом.

— Да, армия! От первого выстрела убежит.

— Затворы растеряли! Штаны-то на ногах аль тоже потерял?

— Сыно-о-чек, и чо ты с ими связался! Вернись, убьют!

— Фронтовиков-то и не видать. Эти навоюют.

— Начальники все пьяные! Армия!

— Они начальникам-то своим в харю плюют! Дысцыплина!

— Како войско, за деньги ежели!

— Пленных с собой понабирали! Со своеми воюют, а чужаков к себе!

— Эх, Россия, Россия, пропала! Совсем пропала!

Но и в этот гул вплетались крики своих красногвардейцам.

Артамон Пегих, не думая о том, услышат ли его, отзовутся ли, вопил:

— Которы нашенски сельчане... Митроха Понтяев, ай хто! Доржись! Нашинска волость в большевиках состоит... Доржись, робята!

— Голубчики! И одежонки-то военной не на всех!

— Ничо, не баре, выдюжат!

— Чо шипишь, чо шипишь, пузата? Охвицериков твоих не видать? Змеюга!

— А ты сам-то игде видал армию? В кабинетах своих? «Не стара армия». Игде ты от военной службы прятался? Каку армию видал? Ну!..

На подъезде появился высокий очкастый член военнополевого штаба.

Опять загремели, колотя захолустный покой, большие слова:

— Нигде в мире нет Республики Советов. В Европе гнет капитала...

«Белобрысый» понял, что Красная гвардия должна пригрозить Европе, и радостным ребячьим выкриком из рядов отозвался:

— Застрамим Европу, товарищи!

Ванька, румяный, радостный, тоже будто хмельной, Софрона в толпе за рукав поймал.

— Тятька, определи меня с ими! Чтобы взяли!..

Голос просительный ребячьим стал, а то всегда говорил как большой, грубовато и степенно. Не побоялся бы и без позволенья отца удрать, но резче взрослых сильнее ощутил

великость больших слов, в маленьком городке взметнувшихся, и увидал себя таким, каким был: мальчишкой, которому еще доверья нет.

— Определи, тятька!

— Ах ты, шибздик! Рано. Определю еще...

Шершавой рукой смазал Софрон Ваньку по лицу. Засмеялся радостно.

А сбоку от них, у забора, господин в черном пальто с барашковым воротником злобно и громко крикнул:

— Не красная гвардия, а красная сволочь!

Софрон быстро повернулся, но господин еще быстрей в толпе растаял. Софрон погрозил в толпу кулаком. Сразу потемнел и почуял: в углах враги.

Смело, товарищи, в ногу!

— Стройся! Эй ты, чертова перешница, в ряды!

— Стройся!

— А-а-а...а... ри...

Гудела толпа. Крепчал ветер. Русский весенний месяц будто обозлился на этих новых русских солдат, вспомнил, что он еще хмурый, зимний...

Начал падать снег.

— Мамоньки, никак мятель будет!

— Ничо и в мятель! Русский привычный.

VI

Софрону доктор не понравился. Тонкогубый и глаза прячет.

— Прислали, дак живите.

— Без вашего разрешения не мог распорядиться дом открыть.

— Чо распоряжаться-то? Прошло, будто, то время, когда господа распоряжались! Отдерите доски да живите.

Стоит у стола так, будто остерегается к нему прикоснуться. Одежда военная, а чистая. Левая рука в черной перчатке Софрону в глаза лезет. А доктор ее всегда носил. Изуродованный палец скрывал.

— Благодарю вас. Завтра же устроюсь. Разрешите откланяться?— И к двери.

— Слышьте! Как вас?.. Господин доктор! Вы как, из военных будете?

— С начала войны на фронте. Недавно вернулся в город.

— Ишь ты! А я думал, тыловничали. Глядеть, вша не кусала! Солдаты-те не били?

— Что?

Даже взглянул прямо. Нехороший глаз, нутра не показывает.

— Не били, спрашиваю? После, как царя отменили?

— Я всегда честно выполнял свой служебный долг.

— Ыгым. Видать, старательный! Ну, айда!

Доктор плюнул только на улице. И то первый раз не сдержался умный протопопов сын. Хоть и утешал себя:

— Все-таки здесь спокойнее, чем в городе. Спасибо фельдшеру. Пригодился большевик.

Выпросился вместо отпуска в больницу сюда поработать недели на две, ну, а там половодье. Не выбраться в город. Можно и дольше пожить. Больницу из Романовки в именье Покровского перевели: зданье для нее было в именье приспособлено. Проснулись молчаливые дома разгромленного и брошенного завода. Глухой, как гроб, только господский дом заколоченный стоял. О нем и просил доктор. Открыть для жилья себе.

Софрон из города вернулся беспокойней и злей. Втянул ноздрями тревогу и привез ее в село. Колготили раньше бедняки, но часто сдавали. Но чем больше слабела зима, тем властнее становился призыв земли. Тем упрямее стояли за свои участки многоземельные, беспокойней и смелей тянули к ним руки батрачье и малоземельные. Оттого привезенную Софроном тревогу приняли и сразу на нее откликнулись. Парни и молодые мужики пошли служить в Красную гвардию. Грозили:

— Со штыками на пашню придем! Держись, толстопузые!

Мужики пожилые и старики тоже хмелю хватили:

— Будя! Наша земля, как мы есть трудящие!

Посредине села, на базаре, длинный шест поставили и на нем большой красный флаг. Когда проторенной тропкой шли старухи и старики в церковь, длинный красный язык будто дразнился с шеста.

Молитвенный дом евангелических христиан все еще стоял заколоченным. Собирались у евангелиста Глебова. Пели на голос песенный державинскую оду «Бог» и стихи о жизни, которая отцветает, как трава. Но о порядках государственных говорить остерегались. Только в тайном разговоре с богом, в думах просили: порази нечестивцев. Купцов будто не стало. Ходили в мужицких азямах. Без работников, сами на дворе своем управлялись. От тоски сердце у богатых беспокоилось, будто недужили. Часто в новую больницу к доктору ездили. Человек ученый и серьезный, им по нраву пришелся. Возили

ему муку, яйца и масло. Пока зря не пропало. Отбирают одежду, скот и за продукты, гляди, примутся. Бедные бывали редко. Некогда и непривычно лечиться.

Софрон, через неделю после разговора с доктором, в больницу приехал. Редькина привез. Из города Редькин приехал в солдатской шинели. Висела она на нем, как на шесте. Но от военного вида ее еще страшней стал.

Доктор встретил в белом халате.

Софрон зорко оглядел белый стол, баночки и скляночки в шкафу.

— Много ль вылечил? Аль на погосте посчитать?

Доктор сдержанно ответил:

— Есть и на погосте, а некоторым помог. Деревенских лечить трудно. В грязи живут. Вот сектанты почище. Оттого что грамотные...

— Было время учиться. А ты с ними компанию водить-то води, да оглядывайся! А то самого полечим,— прохрипел Редькин.

Доктор глаза веками прикрыл.

— Лекарств вот нет.

Редькин сверкнул подозрительным сверлящим взглядом.

— А куды делись? Найди! Ай богатый класс все выпил? Давай мне каких порошков. Нутре горит.

— Выслушать, выстукать вас надо.

— Нечо стукать! Настукали уж. Траву давай, чтоб дыхать полегче! Под леву лопатку все шилом колет.

И закашлялся бьющим тело кашлем. Глаза выпучил.

— Легкие у вас больные. Надо питаться хорошенько, не утомляться.

— Ладно, сичас к себе в кабинет приеду и на мягку перину. Кабинет-то только у меня на подпорках, да перина тонка. Давай питья какого! Неколи растабарывать!

Доктор плечами пожал, велел фельдшеру в пузырек что-то наболтать. Все торопил. Очень мешал ему Софрон тяжелым неотрывным взглядом. А в это время в коридоре шум послышался. Без предупреждения распахнулись большие белые двери. Трое красногвардейцев внесли четвертого, бледного, с перекошенным лицом и стиснутыми зубами, Софрон навстречу метнулся.

— Откудова? Где ранили?

Правая рука у раненого была привязана кушаком к поясу, и на плече шинель заскорузла от крови. Когда положили на кожаную кушетку, старший, в лохматой шапке, ответил:

— Тута стычка вышла, с казачишками. Посылали. Рубанул его один. Не насовсем, а ровно крепко!

Раненый открыл помутневшие глаза и сказал слабым, но внятным голосом:

— Кровища льет. Заткни чем ни то, пожалуйста!

Мычал от боли, когда раздевали. Но, услышав голос доктора: «Скверно»,— сказал опять внятно:

— Ничо, у мине жила крепкая...

Софрон доктору твердо сказал:

— Этого — чтобы вызволить!

Пошел и красногвардейцев рукой поманил за собой. В тайном разговоре все выспросил. Неспокойно в уезде. Не зря тревога с отрядом казачьим была. Разбили их, а на станицу два набега другие сделали. Богатые села бунтовать начали.

— Про Небесновку в городе тоже говорили. Ну, на тебя полагаются,— сказал старший, знакомый Софрону.

Когда Софрон с Редькиным из больницы выходили, Редькин спросил:

— В господском-то дому доктор теперь?

— Он.

— Ыгым. А кака это пика на доме?

И показал на громоотвод на господском доме. Четко вырезывался в легком, весну почуявшем воздухе.

— Говорили, чтоб гром отвести. Грозой чтоб не разбило. Господа — народ дошлый. На небо молятся, а промежду прочим, от него обороняются.

— А разговаривать через него нельзя?

— Через пику-то? А как? С кем? С богом, што ли?

— А може, проволока кака под землей. Теперь всяки телехвоны да грамофоны...

— Не знаю. Ваньку надо спросить.

Вечером Ванька по книжке из библиотеки читал Софрону и Редькину про громоотвод.

Редькин слушал внимательно. Потом спросил:

— А книжка-то как, полная али нет?

Ванька понял вопрос. Ведь бывает на книжках: полный курс географии, сокращенный курс. Потер лоб и прочитал на крышке книги:

— Издание для народа.

— А, для народа! Не все здесь прописано. Господам больше известно. Слышь-ка, Софрон, слово сказать надо. Айда-ка!

И пошли из избы. Дарья недовольно отозвалась:

— Каки от своей крови тайности!

Но Софрон строго оборвал:

— Свое бабье дело знай!

С Дарьей жили хорошо после примиренья, но разговаривать с ней о деле Софрон по-прежнему не любил. Какой у деревенской бабы «смысел»? Ванька — другое дело. «Умственный» растет. Но раз Редькин не хочет...

На дворе, у хлева, в котором беспокойно завозилась корова, Редькин сказал:

— Зачем и к чему дохтур к нам приехал? Раньше фершала чуть выпросили. И я тебе скажу — за им купеческая дочь: панкратовска девка. С им, дознал. Я этту лекарству-то вылил.

— Ну?

— А казаки?

— Ну?

— С ими по отводу этому разговариват! Вести об деревне дает! И об нашинских солдатах.

Сказал с глубокой уверенностью. В самом сомненья не было. Софрон задумался. Заныло в сердце: ученый, одурить может.

— Ладно, сымем громоотвод, а там увидим.

В этот тихий час вечерний в господском доме сидели доктор с женой. В большой, хорошо вытопленной, но пустой комнате не чувствовали себя дома. Будто на пересадочной станции удалось укрыться. Передохнуть от шума и сутолоки. Но придет поезд, и радостно будет уголок этот покинуть. С собой привезли только дорожный сундук да постель. Поставили в квартиру две походных койки и длинный стол. Докторша лампу с собой захватила. Большая, горит на столе, а в углах от пустоты все будто мрак. Доктор смотрел в книгу. Но оттого что на лбу беспокойно менялись продольные и поперечные морщинки, Клера знала: не читает, о своем думает.

— Саша!

— Что, детка?

— Здесь тоже страшно! И как там мама с папой...

Потянулась к нему, хрупкая. Привлекательная больной прелестью. Такой иногда отмечает вырожденье. Единственная дочка у пожившего бурно папаши. С детства страдала пляской святого Витта. Лечил с двенадцати лет этот доктор. Будто вылечил. Когда стало шестнадцать, женился. Взял приданое большое и любовь нераздельную, фанатичную, какая бывает только у больных, грезой живущих.

Приласкал снисходительно, как всегда. Но в синих больших глазах тревога не растаяла.

— Ничего, недолго, переждем. У мужиков это сверху

только броднт. Сектанты со мной откровеииы. Сегодия узиал, в уезде миого недовольных. Голова ие болнт? Что печальиая?

— Нет. Томительио как-то. Предчувствня...

— Пустяки. Нервы.

С силой ударил в окиа ветер, плачем неждаииым пропел в трубе. Клера затряслась, заплакала. Умело успокоил. Дал лекарство. Когда улеглись в постель, рассчитал, раскииул в уме срок, в какой соберутся и окрепиут казаки.

А Софрон ворочался иа деревяииой скрипучей кровати н размышлял: как громоотвод убрать? Не причииит ли вреда, как за иего возьмешься? И решил: «самого заставлю».

Утром Жнгаиов долго у доктора пробыл. Приехал иасчет грыжи посоветоваться, а потом долго с доктором опасливо н чутко, стены слушая, шептался. Доктор проводил его веселый. На сиделок н бестолковых больиых в этот деиь похозяйски покрикивал.

А к Софрону курносый подросток в огромиой папахе, верхом иа старой сивой кобыле прискакал. Привез замасленный серый коиверт. В ием: усилить в волости охраиу.

В полдень в больницу явился Редькии. Нелепым казался у смертью меченного револьвер. Как-то уиыло торчал из кармаиа. И шниель иа ием тоже чужая обряда. Доктора в коридоре встретил. Ои собирался сектаиту опухоль гиойиую н опасиую разрезать. Распоряжеиия приготовить все иужиое давал. Редькии его остаиовил.

— Срочный приказ от интериациоиаловского исполкома сообщить должои.

— Ну?

— Не ну, а веди, куда поговорить! Дело обстоятельиое!

— У меия операция. Больиой готов и ждет. Я сейчас занят.

— Ну ладио. Докаичивай. Чтоб к обеду был в нсполкоме! А то солдаты придут, приволокут.

Доктор сегодня иетерпеливый. Вспылил:

— Я ведь ие хлеб из печки выиимать собираюсь! Человеческое тело резать! Что зиачит «докаичивай»? Не зиаю, когда освобожусь!

— Я тебе русским языком сказал: к обеду штоб был в исполкоме.

Перекосил лицо, ио бьющий злобой взгляд Редькииа страшеи. Укротнлся доктор. Глухо крикиул в дверь:

— Операции сегодия не будет! Скажите больиому! Пройдемте в эту комиату!

Дверь перед Редькииым открыл. Через полчаса вышел бледный, с крепко сжатым ртом. У двери еще раз сказал:

— Передайте исполкому: громоотвод устроен не мной. Убрать его просто не смогу! Еще раз заверяю вас, что только темнота, незнание...

— Ладно! Опосля поговоришь!

В дверях еще раз остановился Редькин. Горящим волчьим взглядом своим еще раз доктора ожег. Над чем-то будто подумал, револьвер пощупал. Потом круто повернулся и хлопнул дверью.

За обедом жене доктор ничего не сказал. Но она следила за ним неотступным верным собачьим взглядом и ничего не ела.

Первый услышал ночью слабое хрустенье талого снега дворовый пес. Залился надрывным бешеным лаем. И почти одновременно с ним — Клера.

Взметнулась с постели, в длинной ночной рубашке, так быстро, будто лая этого ждала.

— Саша, Саша!

Нежность непередаваемая, мука неизбывная в голосе, а он спит! Только когда застучали сильными мужицкими ударами в дверь — проснулся.

А Софрон приказывал:

— Мы с Редькиным здесь подождем. Волоките. В комнате нечо пакостить. Суды живого.

— Кто там?

— Отворяй!

— Я не могу так... Кто?

— Отворяй! Дверь-то высадить долго ли, чо ли?

Завозились в доме прислуга и больничный служащий Егор. Появлением своим будто ободрили доктора. Наган в руке крепче почуял. А сзади Клера. Вцепилась в плечи тонкими руками. Будто в одно с мужем хотела слиться.

— Подожди, Клера... Не открою! Кто?

Голоса за дверью тише. Будто совещаются. Издалека ветром донесло:

— Эй, ктой-та тут?

Застыли в доме у двери в ожиданье. А Егор ворота и со двора дверь открыл. Почуял: не впустишь в дом, всем отвечать придется. Доктор слышал шаги, уходят. Перевел дух и в комнату из коридора пошел, придерживая левой рукой Клеру. И лицом к лицу, в солдатских шинелях, с револьверами. Не крикнул, не вздрогнул, только посерел. Рукой неверной хотел наган спрятать. Но увидали. Передний курносый увидал.

— С левольвером, сволочь! Айда! Этаких на фронте много покончили. Нечо дипломатию разводить! Айда!

Взметнулась докторова левая рука в черной перчатке. Солдат за правую тряхнул.

— Айда.

— А-а-а-а-а, не пущу! Не пущу!

Крик у Клеры такой, что, казалось, все стены пробил. Но скуластый и курносый парень с круглыми глазами, стоявший впереди, не поморщился.

— Не верещи, пигола! Про тебе разговору нет. Дохтур, поворачивайся!

— Не пущу! Насильники! Палачи! Подлецы!

Плевала, кусалась, царапалась. Ощетинившейся дикой кошкой кидалась.

Мешала доктора взять. В хрупких руках неестественная сила. Курносый восхищенно удивился.

— Ат, сволочь! Глядеть, дохлятина, а цепкая! Волоки с им вместе.

Скрутил сзади руки парень, потащил Клеру по полу. Будто барана свежевать. Она кричала и билась. Двое доктора вытащили. Прислуга вся попряталась.

Черными тенями на площади за домом Софрон и Редькин. Резкий звенящий Клерин крик по заводу раскатом. Но за глухими дверями новые люди. Их крик никому в уши не был, и они чужого не слушают. Плачем отозвался только Петька сторожев в больничной кухне.

Софрон приказал:

— Заткни бабе глотку. На кой приволок?

— Цеплятся.

Подол длинной рубашки Клериной комком в рот ей заткнул курносый, а руки скрутил и держит. Другой собаку пришиб.

— Эй ты, барин! Сичас конец тебе. Говори, чо по громоотводу казакам передавал.

Грозен и четок голос Софронов. С хрипом голос докторов:

— Нельзя по громоотводу разговаривать.

— А, нельзя. Р-р-раз!

Доктор упал. Курносый загляделся, ослабил кулаки, Клера вырвалась.

— Палачи! Насильники! Все равно конец вам скоро! Саша! Саша!

Заворошился доктор. Будто баба криком жутким, криком силы последней, предельной, его оживила.

— А, вместе хочешь? Отойди, дура.

— Вместе хочу! Вам конец скоро-о. Вместе!

Мужа телом закрыла.

Софрон и Редькин оба:

— Р-р-раз! Р-раз! Р-раз!

Сапогом Софрон попробовал. Мертвые.

— Ничо, баба старательная была. Слышьте, волочи за ноги в яму! Помойка тут глубокая.

Когда возвращались, Софрон на крыльце барашка маленького увидал. Из открытой двери кухни выбежал и жалобно блеял. Вчера только новорожденного в кухню Егор принес. Блеял, как плакал. Софрон подошел, поднял шершавой рукой нежное трепещущее существо и прижал к шинели.

— Бяшка, бяшка. Тварь дурашная! Напужался?

Казаков в уезде утихомирили. Помогла весна. Лога помешали объединиться недовольным новыми порядками.

VII

День за днем, как костяшки на счетах, отбрасывает жизнь в расход, взятое у нее, изжитое время. С закономерностью неумолимой приводит смену весен и зим, никогда не сбиваясь и не путая сроков, определяя каждому дню пребывания в жизни его тревогу и успокоенье, скорбь и радость. И чем ближе живое к началу бытия, тем непреложнее для него установ этой смены.

Там, за гранью, где город погнал соки жизни в голову, заставил ширяться ум человека и сделал его дерзким и творящим всегда,— нет времени, твердо положенного, приказывающего: не раньше, не после, твори свое сейчас. А здесь, в деревне, где земля, выставляя свое плодоносное, готовое для зачатья или приносящее уже плоды чрево, устанавливает сроки, в какие ей нужны силы крепкого, выдубленного для работы над ней мужицкого тела,— властен закон установа жизни. И в ненасытимости поглощенья этих сил жесток.

Здесь у людей крепок хребет, густ в жилах настой звериной крови, плодовито, как у земли, чрево. Но жадна и скупа душа, всегда мучимая собираньем, жаждой накопления плодов земных для огромной утробы всех, кто живет, рождает или мыслит, кто сцепляет звенья для продления жизни. Здесь у людей темным и старым, как земля, задавлена творящая сила человеческого ума, и обречен человек под гнетом тяжелой хозяйки-земли быть слепым и безжалостным даже к себе. Оттого туго открываются двери его души, и звериной хитростью оберегает он их от широкого взмыва боли и восторга, и только во хмелю распахнвается темный, большой, о духе, запертом в сильном теле, тоскующий. А хмель

радостный сходит на него, когда земля властно позовет: твори, пришел час.

Приказала земля мужикам Интернационаловки, Тамбовско-Небесновки тож, готовиться к сенокосу. Загудели, заворошились, высыпали на улицу из домов своих, приспособленных, как у зверя, только для зимней спячки, не для наслаждения уютом и домашним покоем. Мужики в будничных портках и рубахах, но живой, говорливой, как в праздник, толпой шли, собирались у большой артельной кузницы на выезде из Небесновки. Пряный густой аромат распаренной солнцем земли, приносимый ветром с полей, и здоровый звериный запах навоза с дворов, как вино, тревожили кровь, радостным, пьянящим ударяли в голову, омолаживали глухие голоса стариков, крепили нутряным, грудным звуком звонкие выкрики молодых, серебром переливали детские слова-колокольчики. Во хмелю нынешней радости было новое. Заовражинские, которым в прошлые годы было положено только отраженный от хозяев свет радости принимать и супиться от мысли: чего косами начиркаешь,— гудели нынче густо, как сильные. Оттого что длинной ратью выстроились у кузницы машины и для их покоса. Солнце и радость сделали морщины на лице у Артамона Пегих лучами, грязно-серые волосы серебристыми. Маленький и сухонький, сегодня он будто распрямил батрацкой работой согнутую спину и повыше, казалось, стал. Как хозяин заботливый кричал:

— Софрон, а Софрон! Слышь ты, Артамоныч, сколь кузнецов-то у нас?

— Деся-ать!

— Хватит ли по машинам-те?

И тревожным перекатом по заовражинским:

— А и то, хватит ли?

Втянув черную лохматую голову в плечи, Редькин острые скулы свои и ямы худых щек к солнышку поднял. Будто тепла просил. И блики радостные лицо оживили, оттого и голос с меньшей натугой, чем всегда, прохрипел:

— Савоська... это нашинский... Постарается. Его для надзору поставим. А надо, так все мы закузнечим. Было б над чем!..

Сектант Глебов — с него солнышко хмару сегодня не сгоняло — угрюмо отозвался:

— Кузнецы!.. Над машиной-то сноровку надо. Энда-ки, как Пегих да Редькин, накузнечат... Каки целы зубья-то, и те переломают.

Софрон насмешливо оборвал:

— Ничо, не сокрушайся об нас, не труди печенку. Переломам, новы наварим. Сами не сумем, тебя приспособим. Потрудись, мол, товарищ Глебов, для черноты крестьянской! Э-э-х, табачком побалуюсь. Весело!

И непривычными пальцами начал свертывать папироску. Живя бок о бок с сектантами, мало курили интернационаловские мужики.

Кривошей Савоська от дверей кузницы крикнул:

— А ты, Софрон, махры-то из городу для кузнецов расстарайся. Уважим! А энти, псы-то, гавкают, знамо, со зла. Мы свое справим, вы поспевайте. Вот, к слову сказано, лобогрейка. А почему? А потому — лоб греет. За ей поспевай в ногу. Как под музыку, паря!

— Махорка запасена. Айда, музыку только готовь, поспеем. Мужицки раскоряки подладливы, только поучи. На войне не под эдаку музыку поспевали! Штой-ка Жиганов Алексей Иваныч нонче смирен. Мир радуется, а он рота не раскрыват. Ай матюком подавился?

— Ха-ха-ха-ха!

— Го-го-го!

— Подавишься! Прятал, прятал машины для себя, а теперь айда-ка к Софрону наймайся.

— Наймем ли, чо ли, братцы, Жиганова-то в работники? А?

Жиганов сплюнул, белками синими сверкнул, но ответил спокойно:

— Не было б нас, и машины-то взять негде было бы. А от работы мы не отлыним. Как, Софрон, нас в коммуны-то примате?

— А, реготали, а теперь учуяли?

Редькин завопил:

— Эдаки коммунщики только за машинами за своими тянутся. Чтоб не выпустить! По шеям их!..

— Знамо, без их!.. Пущай сено у нас покупают.

— Не примать!

— А чо не примать? Пущай идут в долю. С лошадями они.

Софрон спор прекратил:

— Пущай в ровнях с нами побатрачат. Примам. Главно дело, лошадны.

— Правильно-о!..

Артамон Пегих справился:

— Сено-то как, на душу делить? А на душу, дак примай, каки охотятся.

— Айда в школу, в коммуны записывать!

— Чо и во сие не мстилось, увидать привелось. Ко-ом-муны! Ну, ну!.. Ну, поглядим. Либо волосья клоками, либо сено стогами.

Повалили к школе. В кузнице началась жаркая музыка работы. Редькин около машин остался. Все ему казалось, что отнимут их. Надо сторожить верным глазом. Деревня жила переливами возбужденных человеческих голосов. На дворах звонко и горячо переругивались бабы:

— Таку недопеку ничем в коммуну примать, лучче нашу чушку! Скоре поверится. Я смяхом, а ты и...

— Смя-яхом! «Айдате с нами»... Ды, мамынька, стыдобушка сказать людям: с Касатенковой Марькой связались. В девках-то люди обегали, до двадцатого году просидела. И мужика-то по себе нашла...

За кузницей на лужайке дети звенели.

— Которы машины жигановски, теперь нашински!

— Как раз! Вашински! А нашински?

— И вашински!

— А жигановски?

— «Вставай, проклятьем заключенный, своею собственной рукой»...

— Ах ты, холера тебе задави! Семой год, а туды же «вставай проклятый». Иди в избу, пока не взгрела!

— А ты, тетка, не лайся на его. Старый прижим-то отошел!

Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля овеянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с деревянными сажеиями в руках.

— Ну, анжинеры, не подгадьте мерялкой-то своей.

— Чо остерегашь? Сажени-то, знать, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные от коммун, и ребятишки-добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шумным отрядом в степь.

А степь разнотравая ластится. Белым ковылем кланяется. Мигает несчетными белыми, красными, голубыми глазами — цветами. Богатство свое показывает. И жужжит и звенит в воздухе голос ее: в птичьих трелях, в трескотне кузнечиков, в шуршанье букашек. Будто и не умирала зимой. И все в ней пахнет сладостно. Цветы ароматны, травы ароматны, и русское небо бледноватое, кажется, пахнет солнцем. Ветер дымок донесет, и он в степи горяч, прян и ароматен. Полынь,

трава горькая, и та на расцвете острый, до боли сладостный запах дарит. Степь вся гулкая и отзывная. О-го-го-го! А-а-а-а! Гулом далеко-далеко. Слуш-а-ай! Степь голос человеческий передает. Слушай, зверушка, птица, букашка, слушай голос человеческий! А-а-а!.. Грудь сама для крика ширится.

Спешились с коней. Зашагали с деревянными сажеиями своими.

— Стой, стой!.. Ты как шагашь? Стой!

— «Шагашь»! Каке ноги есть, тоими и шагаю!

— Ге-ге-ге! Нет, браток, надувательско время отошло! Начинай отседова!

А степь отзывается: а-а-а!..

Ребятишки перепелок шарили по кустам. Орали, будто подряд на крик взяли. Ванька Софронов всю ученость свою в траве растерял. Прыгал на одной ножке и пел звонко, заливисто:

Этта сама-д-перепелка,
Этта сама-д-перепелка,
Перепе-е-елка-а!

— Дедушка Артамон, перепелку не пымал?

Артамон похвалиться захотел: увидал в траве и схватил... вместо перепелки змею. Кинул с размаху.

— Ах ты, тварюга проклята! И очень просто, вот така обжалит.

Глебов густо захохотал. И он в степи попростел и повеселел.

— Вот оно, дед Артамон, как чужу-то землю размерять! Заместо птицы — змея в руку!

Ванька за Артамона задорно Глебову ответ прокричал:

— Ничо, змеев-то мы назад вам вернем. Пользуйтесь, вы с ими родня.

Глебов звонко, увесисто, по-матерному выругался, но больше не язвил. Хоть и не смолкал в разговоре. Целый день луга оглашались меткими мужицкими словами. Для того, что знали, видели и понимали, был у них язык ярок и хваток, переливался образами, как степь цветами.

Косить обычно начинали после Петрова дня. В этот год порядок нарушили. Выехали на целую неделю раньше. Старики ругались:

— Обычай рушите! Не зря установ: сыра земля.

— Ничо, мы горячие, высушим!

Первыми двинулись машины. За ними уемистые рыдваны с бабами, детскими зыбками, бочками, палатками, ведрами,

одеждой, котелками и чашками. Когда приехали, закачалась степь от разноголосья. Замелькали по степи бабьи головы, повязанные платками с красным по желтому, с белым по красному, разноцветными.

Участок артамоновской коммуны у леска начинался. Лесок кудрявый, маленький. Издали был в степи как букет небольшой на столе. А подъехали, увидели: тенистый и приютный, с родником студеным.

Завозились на стану бабы, заплакали ребятишки. Двинули мужики машины на луг. Демьян Колосов, заовражинский, с Артамоном на лобогрейке выехал. И вид у него был встревоженно-радостный, такой же, как в детстве, когда мальчишкой в первый раз на поезд попал.

Скоро на стану одна Дарья Софронова кашеварить осталась. Далеко-далеко, куда хватал глаз, все двигались по степи люди. Ванька Софронов пересчитывал:

— Нашинска коммуна — восемь семей. Мужиков с мальчишками — тринадцать, баб — семнадцать. Пантелеевска коммуна — девять семей... Ничо, на луга силу двинули...

— Ва-а-нька! Вань! Чо растопырился, иди!

— А-а-а!

— Но-но-но! Но-о! Пантелей, поспе-в-аешь?

— Поспем!.. Уля-а, ровне гребн!..

У Аксиньи-солдатки голос из груди сам вырвался:

И э-эх да травушка под косы-ньку лягла.

Прилипли к телу потные рубахи, красным цветом прожгла кровь лицо, устали ноздри втягивать запах ароматной смерти травы, налились тяжестью натуги спины, а передышку ни одна коммуна не объявляла. Не хотели сдавать, вытягивая свое тягло. Наконец прокричал своим Артамон, что шабашить пора. Стали замолкать машины и на других участках.

— Мамк-а-а! Пошевелив-ай! Обедать идем!

— Айда-те-е! Три раза кликала!

Пить! Прежде всего пить студеную оживляющую влагу. Холодом нежит пересмякшие губы. У родника долго мылись, плескались, ухали от холодной воды, потом так же долго, деловито, старательно, как работали, ели из общего котла Дарьино варево, запивали с густым кряканьем кислым деревенским квасом. После обеда затихла степь. Вповалку в коммунах полегли отдыхать люди и спали, не тревожимые бьющими в голову лучами жаркого солнца. Когда надо телу спать, спит, ничего не боится. Но недолго разливался в траве густой переливчатый храп мужиков и подхрапыванье баб.

Поднялась коммуиа, и снова шум, и треск, и гомон работы. В рабочей старой одежде ловко и согласио двигался иа общей работе Глебов. В пылу ее забыл, что ие одии хозяин иад полем. Вспомиил только иочью и долго засиуть ие мог, хоть и устал от работы. Ворочался и кряхтел.

Из леска доиосился зовущий смех девичий, переливы гармошки и удалая частушка парией. Когда спустился иа землю ласковый полог иочи, молодежь от стаиов подальше ушла. Переливами будоражливо голосов своих полог этот колыхала. В кустах пары жарко обиимались, больно целовались, любились. Но когда обвевал холодок зари и прогоиял со стаиов истому сиа и вставали старшие, молодые ие запаздывали. Шли иа тягло и хмелем криков и песии, молодостью согретую ушедшую иочь славили. Ссоры в коммуиах во время работы были редки. Слишком цеиил выгоду свою каждый, чтоб отстать, потерять лишиюю копиу сеиа. Один раз Софрон поскаидалил. Ои иа покос только иаезжал, и как раз в его приезд в их коммуне лобогрейка сломалась. Поехал верхом к Савоське-кузиецу.

— Айда, пареиь, в кузиицу!

— Ишь ты, ласковый! Поди-ка, в коммуне раздел на душу. Не сработашь, ие прогневайся.

— Дак иашей-то коммуие как без машииы?

— Ну, косами косите!

— Я те покажу «косами»!

Разъярился, а потом смекнул: прав Савоська. Как работу пропускать? И вышел приказ от исполкома кузиецов с косьбы сиять, положив сеио на их долю. Каждый деиь иовый случай учил, иаправлял порядок, и все увереиией стаиовились Софрои и с иим согласиые. Деиь за дием, к коицу косьба. Праздииков ие справляли, хоть иногда и тосковали по иим. Но отказывались: на себя работали.

Передряги иачались только, когда стали сеио возить. Глебов иа своих лошадях воз за возом, а артамоиовская лошадеика притомилась. Ои чесал затылок, поглядывал иа затумаившееся иебо и ахал:

— Што ты стаиешь делать? Подкузьмила лошадеика! Везде бедиому закавыка!

Ваиька Софроиу сказал:

— Мы чо же, сеио-то сгребали, сгребали, а теперь облизываться стаием? Дожди пойдут, сгииет. На своей спиие не вывезешь.

— Тебя ие спросили! Знам, сделам.

Новый приказ прорвал затаеиный гнев богатых. Долго галдели у волости, когда объявили, что лошади в коммуиах

тоже общие, сено возить по всем дворам коммуны по очереди.

Софрон на крыльцо вышел:

— Ну, а вы хочете по-старому? Наработали, да все на вас? Нет, ушло времечко. Палка-то в наших руках!

И лицом двинул на красногвардейцев приезжих. Сдались. Только Панкратов, мужик богатый из Тамбовки, двух лошадей своих испортил. Захворали. Аксинья-солдатка доглядела. Коновала к лошадям привели, а Панкратово семейство сена лишили. Старались и другие: ночью копны к себе в коммуну с поля других перетаскивали. Но хорошо следили подростки. Уличали. Ванька Софронов, загоревший и радостный, в своей коммуне за чередом смотрел:

— Эй, эй, Глебов гражданин, не мухлюй! Нынче нам лошади. Куды заворачивашь?

— Без тебя знаю, мозгляк!

— На мозги теперича спрос. А вот по брюху только революционный трибунал плачет! Как кто выпятит, сейчас сгребет!

— Ты, сволочь, гляди нарвешься когда... Не охнешь! Больно ловкий да шустрый стал!

— Нам нельзя нешустрым-то быть. Сказано. Российска Федеративна Социалистическа Республика. Вот и понимай!

У Глебова кулак зачесался, но только сплюнул. А в голове подивился: язык у молодых острый. Как перец в их смачной русской речи иностранные слова.

С утра до вечера скрипят полные сеном рыдваны по дороге. Мотают головами лошади, мерным шагом таща их к дворам заовражинских. Будто удивляются, что гумна, годами по стогам тоскующие, теперь полны. Богатые сено заработанное встречают не радостью. Новая мера обиды за покос на душу налегла. Зато радостно треплет коровенку жена Редькина.

— С сенцом, рыжуха, нынче! Н-но, стой! С сенцом...

Редькин на кровати с половины покоса лежал, маялся. В коммуне мало наработал: жарким летом в поле все дрожал, тепла просил. Но на его семью покос засчитали. Артамон Пегих один раз навестить его пришел, поглядел и раздумчиво сказал:

— Може, опять не помрешь! Должон бы, дак упористый! По всему, весной бы еще помереть надо, а ты все супротивишься. Не знай, не знай! Должен бы, а промежду прочим, не знаю!

Жена тоже два раза уже начинала причитать, а потом заводила последний хозяйственный разговор:

— В городу сундучок-от забыл. Беспременно Антошку спосылать надо. Детям лопатина-то сгодится.

А Редькин все не умирал. Хрипел, а смерть гнал. Один раз Ванька привел к нему бывшего библиотекаря, Сергея Петровича. В продовольственном комитете теперь служил, приехал для сбора сведений с эмиссаром. Сергей Петрович очень Редькина жалел, а не вытерпел — попрекнул:

— Вот мучаешься, и помочь некому! Доктора-то за что прикончили? Время бесправное, а то за такое бы зверство!..

Редькин только глазами повел и прохрипел:

— Уморил бы...

А Ванька резко, не по-детски, сказал:

— Для кого бесправно, а кого на права выволокет. Было бы по-старому дольше, много бы еще эдаких погубили! Как жили, в эдакой жизни не обучишь. А темнота, она злая.

Сергей Петрович пристально на него взглянул и смолк.

И дома вечером отцу Ванька вдруг сказал:

— Помнишь, городской-то приезжал зимой? А правду ведь он сказал: отменить деревню надо. Чтобы как город была, с машинами. Покос-от машины какой всему селу собрали.

Уборка сена коммунами Софроновой партии в селе силу дала. Два мужика богатых из Небесновки, Перегудов Антон и Лотошихин Павел, прошенье подали:

В большевицкую партию на селе Интернационалове по старым документам Тамбовско-Небесновском.

Граждан села Интернационалова
той же волости Антона Михайлова Перегудова
и Павла Максимова Лотошихина

ПРОШЕНИЕ

Мы нижеподписавшие Антон Михайлов Перегудов и Павел Максимов Лотошихин к сему сообщенье докладываем, что есть у нас земля. У Антона Перегудова полтораста десятвв, у Павла Лотошихина сто десять десятин. Но как мы поняли, что теперь большевицкая партия самая правильная, то желаем в ее записаться с малоземельными заодно в линию состоять от того, что старого монархизма не хочем. Сие собственноручным подписом скрепили:

Антон Перегудов
Лотошихин Павел.

Софрон на своем собранье доложил, и постановили в партию обоих принять, а так как они богатые, то откуп с них взять. Антон Перегудов должен сдать большевистской партии села Интернационалова двести пудов пшеницы, а Павел

Лотошихин сто. Оба согласились и пшеницу через неделю доставили. В большевиках утвердились.

А смута в уезде только замерла. Тайными путями узнали небесновцы, что казаки готовы двинуться на большевиков опять и теперь упористей. Дали знать богатым тамбовским жителям. Глебов в станицу казачью на ярмарку съездил.

В престольный праздник, на Илью-пророка, все село во хмелю спать полегло. Десять вооруженных людей в темноте сторожко Софронову избу окружили. Софрон на дворе случайно был. Шорох услышал.

— Кто там?

Но крикнуть не успел. Рот заткнули и связали. Весь исполком в ночь захватили. Шум бабы все-таки подняли. Но, с помощью казаков, тамбовские и небесновские богатые мужики с местной охраной, ослабленной в последние спокойные месяцы, справились. Главарей большевистских переловили, а остальные хлеб-соль вынесли.

Еще рассвет чуть брезжил, когда связанных за село на расправу вытащили. Пробуждающийся день встретил гомон людей ласковым предутренним ветерком. Шевелил волосы на головах связанных. Будто ласкал в последний день. Худой и желтый Жиганов расправу начал.

— Что, Софрон Артамоныч, коммунами? Машины отбирать? Вот тебе за лобогрейку!

Плюнул в лицо и связанного Софрона под правый глаз жестким сильным кулаком. По глазу угодил. Залилась кровью синь его. Софрон рванулся, заревел. Гулко отозвалось поле на крик. А Жиганов повалил Софрона и сапогами тяжелыми на животе его заплясал.

— Вот тебе за сгребалку! За дом мой! Вот тебе за хозяйство мое! Принимай уплату!

Сомлел Софрон. Водой отливали. Потом опять били. Избитых, измученных поставили на ноги и приказали:

— Пойте свой «Интернационал»!

Из двадцати девяти человек девять запели дико, как похоронную свою.

— Вставай, проклятьем...

Но осеклись. Софрон, еще живой, катался по земле и выл:

— Сволочи! Замолчите!..

Антону Перегудову двести отметин на спине шилом сделали. Жиганов хрипло орал:

— Вот тебе для счету: сколь пудов отдал!

Павлу Лотошихину сто. Редькина полумертвого выволокли из толпы. Растоптали сапогами.

Уж взошло жаркое солнце, когда двадцать девять чело-

век в поганую отвальную яму кинули. Восемь живых еще ворошились под трупами. Всех завалили землей.

Артамона Пегих только в полдень рыжий казак нашел в стогу сена на гумне. Вытащил. Он тряхнул седыми волосами, будто выбивая из них сено, и спокойно спросил:

— Редькину-то, сказывают, дохрипеть не дали?

— Об себе думай! Сейчас тебя предоставлю, старый охальник!

— Ну-к что! Для внуков хотел еще на земле помаяться, а не довелось, дак ладно.

И покрестился истовым крестом на восток:

— Господи батюшка, прими дух большевика Артамона.

Его били долго, но еще живого на яму отвальную, доверху набитую, притащили. Осевшим, прерывистым голосом он протянул:

— Тута, значит, кро-вушкой полили... косточками сдобрили-и...

Прикладом казак прикончил его. Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевистские вырезали. Только пятнадцать человек в погреб жигановский засадили. Глянуло страшное лицо деревни... Иван Лутохин, пророк небесновский, уцелел. На поле был... Когда вернулся, только нагайками поучили. Застегивая порты, он глухо сказал:

— Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили.

А Ваньку Софронова судьба укрыла. В город перед Ильиным днем уехал.

I

На сорок девятом году жизни Савелия Магару растревожил бог. Сразу, хваткой за сердце нежданной. В нехороший полночный час проснулась баба Савельева, глянула кругом по избе и охнула испуганно:

— Чтой-то ты, Савелий? В нутре схватило, што ль? А? Лик у тебя больно темен. Я и то проснулась, чисто в бок кто толкнул. Гляжу: и свет в избе не в час, и тебя на кровати нет. Чего ты? Занедужил, а? Вон тамо-ка, на божнице, вода свяченая...

Савелий глянул сурово из-под нахмуренных бровей потемневшими серыми глазами, широкой рыжей бородой повел, передохнул так, что большие, крепко сбитые плечи всколыхнулись. Прервал глухо:

— Не мешай! Виденье мне сейчас было. Неизвестного имя и какого перед богом чину — мученичьего ли, али преподобиического — не знаю, но угодник мне явился... Стоит вот тут, будто у стола, и кличет сердито: «Савелий Астафьев Магара!» Хил и росточку малого, немудрящий такой, а голос — ничего. Голосом на земского схож. Я со сну-то спервоначалу и не разобрал, что от бога это. Думал, по земиому делу расход. Тишком себе в бороду изругался крепко: что ты, думаю, пралик тебя зашиби, как это на меня земского нанесло? А внутре-то уж чую, что не земский. Чисто лед по кишкам, захолодал с нутра и по коже прямо пупырями дрожь.

Не столько самые слова, сколько обилье этих слов испугало старуху. Неохотлив он на разговоры, тяжелый у Магары язык. А тут вон как высказывает.

— Ах-ах, мамыньки! Свят, свят, свят! Владыко, царь небесный, господи!.. Слышь-ка, а може, то не угодник, а Стрепетихи-мордовки навод. Человек ты перед богом не заслуженый, не молитвенник. С чего к тебе угодник затрудится, пойдет? Помолись да прочитай молитву хорошу. Вот: «Да воскреснет бог, и расточатся...»

Савелий цыкнул сердито:

— Не верещи поганым бабьим языком! Тише, ты! Молодых в передней горнице разбудишь. А это дело тайное пока. Тебе сказал потому, что с тобой все грехи мои вместе нажиты. Угодник, тебе говорю, богово имя поминал и приказал мне молиться с натугой, старательно. Бог в меня перстом ткнул. С того и холод в нутре. Три раза виденье было.

Старуха заахала, кофтенку накинула, платком голову прикрыла и закрестилась часто, испуганно:

— Божа матушка, троеручица! Господи, батюшка! Свят, свят!..

— Погоди не мешай! Не лезь бабьей плотью вперед, не погань мою молитву. Сичас сам молиться зачну.

Встал, тяжело согнул большое тело, упал на колени и бил поклоны до солнца восхода.

С той ночи и повредился сердцем мужик. Оно и раньше у Магары тяжелое было. Глаз редко веселый был и смеяться не умел. Гмыкал глухо в короткий веселости миг. А года в три раз накатывало: вином по долгому сроку зашибался. Во хмелю буйствовал. Крушил, ломал, бабу и детей своих жестоким боем бил. Старшей дочери в ухе слух перешиб. Так и осталась на одно ухо глухая да пугливая. Часом заговаривается вроде дурочки. Но отводил срок, и остальное время правильно жил. Люди уважали за крепость хозяйственную, за добычливость. А теперь совсем по-другому все поворотил. Большое хозяйство на зятя, за младшей дочерью в дом взятого, бросил. Глядя поверх головы зятевой, сказал ему веско и строго:

— Ты меня теперь по хозяйству не замай. Как хочешь, верти. Хочь еще копи, наживай, хочь по ветру развей, коль кишка не вытянет. А мне теперь не то указано. Молитву строгую и пост должен справлять. В грех меня не вводи с расспросами.

Дочерям, в другие села замуж отданным, дали весть. Они спешно с мужьями приехали. Баб в избу набилось — не продохнешь. Судить, рядить, ахать принялись. Савелий грозно ногой топнул, закричал сердитым зыком и ушел из избы. За селом землянку себе сложил. Зимой в ней молился, а летом — на камне под горой. Пропитанье скудное, по его приказу, семья ему носила.

В Нижней Акгыровке сперва дивились, а потом почитать Магару стали. Главное дело — и перед богом хорошо: замолит за своих-то однодеревенцев, и перед людьми лестно. Первый угодник из мордовско-русской части деревни Акгыровской. В округе люди богом зашибались и до Магары.

Но больше сектанты да кержаки, до веры лютые. На горе, в той же Акгыровке. А Нижняя Акгыровка насчет крестин, венчанья, похорон, во грехах исповеди исполняла, что требовалось, но с прохладцей. Без ретивости. Курайгинского прихода были, за пятнадцать верст село. И рекой без моста отделено. Свою церковь не поставили, а в кержацкую моленную на гору не пойдешь. Когда река мешала, когда по крестьянскому делу недосуг. В церковь не попадали подолгу. Курайгинский поп с амвона в строгом проповедном слове баб акгыровских на весь приход ославил: молитву очистительную после родов не на сороковой день, как по уставу положено, а ко вторым родинам приезжают брать.

Так и ходила Нижняя Акгыровка по богову делу в последнем счету. А тут вдруг сразу: старатель перед богом свой. И в соседние волости далеко о Магаре слух прошел. С каждым годом в молитвенном деле он все больше укреплялся. На третьем году молитвы, когда на камне от коленок Савельевых даже отметины углубленьем обозначились, стал ему бог в виденьях во всяких являться. Предсказывать Магара начал. Один раз в село в праздник пришел, на улице старикам объявил:

— Небо трясется! Вам не видать, а мне открыто. Народу больно много на земле развелось: дышат и трясут. Виденье мне было: колготит народ, на подводах на многих куды-то едет, пехом друг за дружкой тянет, с бабами, с ребятами, с барахлишком со своим. А царь белый, русский, нашинский, сидит на престоле, ногами об пол сердито стучит. Не иначе, война будет, чтоб отбавить народ.

И вот через два на третье лето предсказанье Магары вспомнили акгыровцы.

Отыграла заря багровым огнем, указав тем цветом ветер на завтрашний день. Но темень ночная в тихости расползлась над землей. Плыла прохлада от реки. Тянула с собой на деревню дымок костров приречных жителей, на воле сготовивших летний свой ужин. Пахло во дворах парным молоком, свежим сеном и дегтем от колес. Народ с вечерней разминкой готовился лечь на покой. Замирали в постепенных переходах от шумливого дня к затиханью в ночи звуки во дворах и избах. Вдруг, вздымая по улице тяжелую на подъем вечернюю пыль и яростный собачий лай, проскакал на маленькой запаренной лошаденке длинноногий мужик. На скаку он махал палкой с красным лоскутком. Старостиха со двора увидала. За мужем в избу кинулась:

— Айда скорей! С красным лоскутом верховой из воло-

сти. Стало, за рекрутами. Господи, батюшка, что это нежданно-негаданно...

Всю ночь беспокоился народ и в низине, и на горе у кержаков. К старостиной избе, в Нижней Акгыровке, фонарей нанесли. Колыханье слабых огней в густой июльской темноте было беспомощным и тревожным. Мигали в окнах лампы и светцы, непривычные в летние ночи, в избах светил жар неурочно затопленных бабами печей. По деревне ширился, нарастая, разноголосый шум. Визгливый бабий крик, терпкое причитанье старух, заливистый плач перепуганных суматохой детей, глухие возгласы стариков и крепкая брань молодых мужиков.

Кержаки на горе к конторе, где жил чернявый инженер с постройки железной дороги, сбились. У него по проволоке разговор через трубку на стене был. Разъяснял:

— Германия получит достойное возмездие! Очень скоро получит!

А в нижней части расспросить было некого. Школа с заколоченными ставнями стояла, и учитель на лето уехал. Староста, сдабривая крепким перцем ругательных слов неохотливую медлительную возню свою, шарил в сундуке. Служебную бляху искал.

Старостиха тонким жалобным голосом, со всхлипом, нарочного кривоглазого расспрашивала:

— А с кем война-то? Далеко ль угонют?

Кривоглазый, почесывая запотевшую спину, отвечал неопределенно:

— Ровно с Ерманией, а хорошень не разобрал. Некогда было! Старшина сам меня с крыльца столкнул, чтоб без роздыху гнал. Видишь, дело-то какое повернулось: чтоб завтра к полдням в город призывники нашинские. А до городу двести верст. Не то к полдням, а к ночи не поспеть. Хоть приказ и на подставных подводах везти. Ну, наши мужицки каки подводы! Да еще в летню пору, в рабочую!

— Где поспеть! В волость-то тольки-тольки могут к завтрему, к полдню.

— Ну, так и норовят. Но чтоб в волость обязательно!

— И сроду не видано, не слыхано — без проводин перед царской службой, без разгулки.

И завыла горьким голосом:

— Сыночек ты мой, Митенька! Роженый, хоженый, да куды тебя забирают в ночну пору чижолую? Да на кого ж ты спокинешь супругу молоду-у свою и наследничка своего — дитя малое? Сестер, братьев, отца-батюшку и мене, родительницу твою горьку-ую...

Страстное короткое рыданье прервало старухин, тягучий, по обычаю, плач. Настасья билась головой в грудь Митрия, вцепившись пальцами в его опущенные плечи. Митрий смешно поводил шеей, будто теснил воротник. Старался оторвать бабьи руки и нарочито сердитым голосом унимал:

— Отцепись! Завы-ыли! Чего раньше смерти отпеваете? Ну-к, собирай на стол. Печь-то выстыват. Айдате пеките, чего там затеяли!

Староста с натугой поднялся от сундука, поглядел на сына замутневшими глазами и буркнул:

— Буде, бабы! Айда, давай водочки. Там сколь-то было. На царску службу с песнями, с гульбой провожать, а у нас один вой.

Но ни песен, ни гульбы в эти проводины не было. Уходили без удалости, без храбрящего хмеля царской водочки. Кабака казенного в селе нет, а у шинкарок на всю деревню мал запас оказался. Не дал буйного в напасти веселья. Из печек, не в час затопленных, тож не сладки подорожники вышли. Бабы в горькой слезе стряпали, плохо доглядывали.

Только солнце встало, подводы со дворов двинулись. Народ на улицу высыпал. Появился в деревне Магара. В длинной домотканой рубахе до колен, в старых грязных портах. Встряхивал сердито блеклой рыжиной волос с мутной сединкой, шел с подводами сбоку. Далеко по дороге надрывный бабий вой стоял. Старик Федот батожком по дороге стучал, шел рядом с Магарой. Говорил ближним на подводах:

— Поди ненадолго война! Ничего не слыхать было. Про стары войны загодя слух приходил. Солдатов с эдакой спешкой не сбирали. Это так, поди для нутреннего усмирения под царя. Не войте, бабы, как я смекаю, скоро мужики воротятся.

А Магара зычным голосом, далеко слышно по подводам, объявил:

— Надолго война! Народу хрестьянского много в русском царстве развелось, земли не хватат! Пока весь лишок царь не переведет, война не кончится.

II

И опять по слову по Магаринову вышло. Вторая пашня подходит, а здоровые мужики царевым делом маются. В своих хозяйствах — бабы, старики, из молодых только телом неправильные да чужаки нанятые. Которые из богатых отку-

пались было, но позабирали и их. Хоть не на самую войну, а все от дому.

Повитухе Мокеихе акгыровские бабы позавидовали. Вернулся к ней сын по весне. Невысок, узкоплеч, щеки в обтяжку, перхает часто, как давится. А все свой мужик, для хозяйства как-никак старается. И не то, что без руки, без ноги. Хиловат, а без видимого повреждения. Низенькая, пухлая бабка Фекла, соседка Мокеихина, часто, вытирая рукой ласковые слюнявые губы, говорила ей слащаво через плетень:

— И жить тебе, бабка, только бога благодарить. Сын пришел целехонек, и слуху нет, что заберут. А уж всех позабирали, всех! Старики остались да совсем трухлявые. Твой-то еще хорошо пыжится. И кралю вон каку без венца заполучил. Ничего, значит, еще сок в мужике живет! А то из наших деревенских молодого-то и не увидишь. Все седые да недоросточки. Когда рази эти казенные жеребцы, анжинеры, дороги постройщики, пройдут аль пленные, австрийцы эти хилявые. А нашинских соколиков нет. Не-ет! В других деревнях хучь подранки крепкие, а у нас тоже наперечет. Васька-то, сказывают, на дорогу нанялся? Ай так, на раз взялси за дело?

Мокеиха, снимая старенькие порты с плетня, неохотно ответила:

— На раз. С гумагой какой-то в участок пошел.

В избу поторопилась уйти. Знала и боялась, что на Вирку-молодуху соседка разговор переведет. А уж неохота покор-то людской слушать.

Забурлила в степных логах вода. Не берет конь дорогу. Но по холмам есть для пешеходов узкие ненадежные тропочки. Польстился Васька на хорошую плату. Письмо от инженера с постройки в участок за восемь верст понес. Десятку инженер посулил. Деньги у господ не лежат тишком в кармане, легко шевелятся. Не то что мужичьи несворотные. Очень просто, к десятке еще и прибавит чернявый этот барин. Как начали дорогу строить, вся округа от них пользуется. Но что-то больно долго Васьки домой нет. Инженеру, видно, и впрямь дело срочное. Сам на Васькин двор пришел. Мокеиха в окно увидела, из избы навстречу выбежала. Поклонилась искательно в пояс и певучим голосом спросила:

— Поди из-за моего сына потревожились? Ах ты, господи батюшка! Забота вам, видать... По нашей по улице в этаку грязищу ходить и мужику-то неохота. Вот грех-то: нету еще его, нет! Уж не гневайтесь!

Инженер хмыкнул и форменную фуражку досадливо

на голове подвигал. Старуха еще ласковей успокаивать принялась:

— Он скоро... Вот-вот вывернется! Он у меня шустрый, зря валандаться не станет. Мигом обернет. Ноженьки-то молодые, резвые.

Инженер прикусил черный ус, помедлил и сердито сказал.

— Не скажу, чтоб очень резвые. Или утром долго проспал? Если б вышел на рассвете, как обещал, так уж вернулся бы.

— И ни-ни, ни-нишеньки, никак не проспал. Не сумлевайтесь, право слово, не проспал. Рание петухов вышел. Как можно проспать, коли хорошему человеку посулился?

И уже искренней, голосом посуше, погрубей добавила:

— Сам поди обернуться торопится: издрог, измок и не емши.

Василий не только ответ от начальника участка, еще табаку должен принести. Инженеру очень хотелось курить, а ни табаку, ни папирос нет. В этой дыре и купить нельзя. Поэтому он злее, чем хотел, старуху оборвал:

— Как придет, немедленно пусть ко мне.

И осекся. Женщина во двор вошла. Измельчал народ. Красивость женская стала мелка и лукава. От одежды, от старанья зависит. А эта и в узких для нее, линялых обносках городских сановнта. Безразличный на них со старухой взгляд кинула. У инженера этот взгляд больших, но не круглых, с жаркой золотинкой глаз странно в сердце отдался. Точно давно его глаза встретить такой вот взгляд желали. Сразу и надолго, с удивительной щемящей радостью запомнил легкую смугловатость, румянец редкой неяркой краски, губы такие же неяркие, будто нецелованные, строгость четких бровей и тускловатую рыжинку коричневых гладких волос. Ноги со двора не пошли. Замялся. Нерешительно, почти смущенно, сказал:

— Я, пожалуй, у вас подожду. Вероятно, он скоро придет.

Старуха неохотно отозвалась:

— А как желаете! Дело-то уж к ночи, должон прийти.

Из избы опять та женщина вышла. Полное ведро помоев вынесла. Сказала недружелюбно:

— Посторонись, барин, оболью.

Старуха спохватилась:

— Ну, дак в избу не то пожалуйте. Не красно у нас, да чего же на дворе-то стоять? Айдате заходите.

Чувствовал, что лучше бы уйти, но безвольно за старухой в жилище вошел. Негромко и с запинкой спросил:

— А это что же... дочь ваша, что ль?

Старуха поджала губы. Сказала сухо:

— Сынова баба...

И, не сдержав злобной горечи, добавила:

— Невеичанная. Так держим. Антипа-кержака слыхали? Его племяииица. Из такого-то дому да иа нашу хилость позарилась. К Ваське сбежала. В городу без закону три года валандались. Нынче только недели две, как сюда обернулись. Срамоту-то свою к матери в дом принесли. Теперь, может, и обзаконятся, а сейчас от людей нехорошо. Отроду не слыхивала, чтобы в семье в иашей такой срам разводился. Побаски тут всякие про нее, про Вирку-то. Я к тому, что поди и вы слыхали? Добрая-то слава лежит, а дурная-то не то бежит, лётом летит.

И спохватилась:

— Айдате проходите, вот тут садитесь.

Фартуком смахнула что-то со скамейки перед столом в переднем углу. Шершавой рукой по деревяииому чистому столу провела. Унылыми глазами всю тесиую иизенькую избенку обвела. Прибраиа, а все для господина иеподходяще. Вздохнула и отошла к сторонке. Инженер сел. Ему хотелось еще расспросить, но стеснялся. Мусолил вялые фразы о дружной весне, расспрашивал неумело и непонятно о хозяйстве. В глаза обидно лезла деревянная, с засаленным лоскутиым одеялом кровать. Неужели та, строгобровая, на ней спит?.. И ие одна... Опять встревожился, когда вошла. Почему-то счел необходимым пояснить:

— Хочу у вас подождать, пока ответ принесут. Я вам ие помешаю?

Криво, неласково усмехнулась:

— Скамейку ие просидите поди. А нам какая помеха?

Сняла с полки грубый шерстяной чулок, села спокойио у окна и принялась вязать. Старуха работать при важиом госте не решалась. Сидела, сложив иа колеиях стесненные праздностью руки. Инженер барабанил пальцами по столу. Ужасно неудобно и стеснительно это молчанье. Кашлянул и неуверенно спросил молодую:

— Вы не здешняя, кажется? Я ие знаю вашего имени...

Она посмотрела искоса и засмеялась. От блеска белых зубов, от ясности открытой улыбки юией и проще лицо стало. А у инженера на лице отсветом глуповато-радостное восхищенье.

— По-кержацки зовут: Виринея. У иас свои святцы. Чтой-то вы, барин, до меня больно с антиресом? Ты с мамонькой поговори. Она жила дольше, и разговору у ей больше.

А лучше шли бы вы домой, в чисту горницу, чем в иашем закутке дух наш мужичий нюхать. Принесет Василий, что надо, мы к вам доставим.

И с новой, чуть лукавой усмешкой добавила:

— Я принесу.

— Да, да, пожалуйста. Я за беспокойство заплачу. А то, действительно, долго, пожалуй, ждать. Я далеко живу. Там, на горе. Но вы уж, пожалуйста, потрудитесь. Ваш муж, вероятно, верится усталый, иу так вы или кто... Пожалуйста, уж прииесите или пришлите.

Старался говорить просто, голосом строгим, но глаза волнеиье и обиду выражали. Слово «муж» с запиикой выговорил. Вириием учуяла. Бросила косой взгляд иа старуху, потом сухо иижеиеру сказала:

— Кто ии на есть, а пакет доставим. Не на даровщннку,— знамо, заплатите. Эй, погодите-ка!

В окио Василия увидела.

— Притащился! Чуть ноженьки волокет. Сейчас отдадим, что приием.

К двери пошла. На ходу оглянулась и сказала строго:

— За эдакую ходьбу и без доставки прибавить надо. Другой н за четвертную бы не пошел. Шутка ли, по склизкому берегу да по студеиой воде...

Инжеиер торопливо бумажиик выиул, но Вирка ушла из избы. Старухе суиул пятиадцать рублей. Та иазад даже подалась. До испуга обрадовалась. Залепетала льстиво и тоиеиьким голосом:

— Уж мы вам вдругорядь когда расстараемся. Заслужим уж... Покорио благодарим. Когда иадо, только кликните.

Стояла и клаиялась. А сердце к сыиу тяиуло. Уходил бы барин скорей. Сын, посиневший, издроглый, вошел. И сразу на припечку опустился. Долго в нудном кашле корчился. Меж кашлем иевиятно выговорил:

— За-адрог. Ви-ирка, отдай бариму... Вот пакет, а вот еще... Подмочил иемного, в воду осту-упился.

Затомился иовым приступом кашля. С натугой мокроту в кулак выбил. Иижеиер на него не смотрел. Только, когда вошел, худобу и тусклость его с бессозиательиым успокоеиьем отметил. Когда посылал, и ие поглядел, что за человек. А сейчас увидел. Мокрый сверток от Вириией с улыбкой приизял:

— Ну, ничего. Что ж, трудио по такой дороге сберечь. Тут табак, его просушить можио, а гильзы у меия еще в запасе есть. Ну, письмо тоже разберем. Немиого смазалось

написаниое, ио, к счастью, иемиого. Спасибо, спасибо!

Вириией бровью повела:

— Это за табаком в такую дорогу человека гоняли? Покачала головой:

— Ну, и нетерплячее у господ нутро! Чего захочет, через нельзя достаиь да подай. А то замается, ровно от заправдишной нужды. Вот как из-за этого табаку... Деньги-то ои заплатнл? Кому отдал?

Старуха сердито крикнула:

— Дадены деньгн, дадены. Вот у меня. А ты бы спасибо сказала за господскую за доброту.

— Страсть добёр! Васька-то опять пластом лежать будет: застудился.

Ииженер рассердился:

— Ну, это уж не моя вина. Всего хорошего. Спасибо.

Быстро нз избы вышел. Подумал про Внриией:

«Видавшая виды... Корыстная...»

Но ночью приснилась. Таким жаром проняла, что сои прошел. Вышел на крыльцо н до зари слушал тревожный вешний гул. Был деловнт и строг к себе. Гимнастику делал неустаино, жизнь размеренную вел. С женщинами мало возился. По иеобходимости. В городе связь разумная и чнстоплотная была. Здесь, здоровье оберегая, охотливых солдаток опасался. Отпуска ждал. Страстиость же делу отдавал. Честолюбие считал возбудителем благородным и хорошо карьеру начал. Только вторая постройка, а он начальник дистанции. Теперь скоро достроят эту дорогу. Войиа отняла рабочие руки н средства. Но теперь уж к концу. Но торопиться теперь в город нечего. Срочная постройка освобождает от войны. Любовное безрассудство за нечистоплотную распущенность почитал. И раньше случались внезапные вспышки при виде женщнн желаниого облика. Но глушил их быстро. Не было нынешней хваткн тоски. В эту уже трндцать первую весну свою, еще до встречи с Вириией, мечту о жеищине своей и неиспытанно желаниой узнал. Последиее письмо к той, что в большом городе, даже необычно чувствительиым вышло. Одиночество н обстановка действовали.

В охвате впервые тревожимых взрывами холмов лежала иезаезжеиная, мощно плодородиая степь. Изиачально полным томленьем дышала веснами ожидавшая зачатья земля. И скот и люди — все живое жило здесь в мудрой верностн нскоиному закону бытия: родиться и жить, чтобы родить. Дать плод земле н роду своему. Оттого в молодом и здоровом ие по хилому иеизбежному блуду городскому затомилась кровь. Встревожилась властным желаиьем целостной, в одно

соединившей душу и тело, страсти. Той, что творит жизнь. Чутьем, от зверя в человеке сохраненным, учуял томленье по такой страсти и у Виринеи. Хоть не думал об этом словами и не знал, что чует. Просто: скорей надо видеть ее, надо дышать близко около нее. Сорвался с крыльца и пошел. Долго кружил около избы Виринеиной. Был уже поздний предрассветный час. И даже парнишки молодые, рано в войну гулять начавшие, ушли с улицы, скрылись. Только лай собачий тревожил глухой этот час. Белесый, холодный рассвет будничной трезвостью хмелевое ночное прогнал. Быстро к себе в дом возвращался. А ночью немного опоздал. Увидал бы у плетня Виринею. Она с вечера медлительно укладывалась. Долго поправляла изголовье, вставала, всматривалась в окна, темнотой весенней ночи завешанные, по избе ходила, точно металась.

Старуха на печке злобно охнула. Глухо заворчала:

— Чего ты по избе крутишься? На грешную душу и сну нет! Васькин сон тревожишь. Отмахай-ка поди по вешним-то по логам. Да и об моих об старых костях другая бы совестливая подумала. Покою хочут! А тут только глаз заведу, стук-стук, хлоп-хлоп! Уж как уродилась шалая, дак во всем не по-людски. Аль на гулянку, на улицу, тянешься? Ну, и уходи. Известно: венцом не покрытая, всем охочим молодцам открытая.

Виринея негромко ответила:

— Не буркоти, баушка! Проберешь до нутра, не возрадуешься. Не то на гулянку — совсем убегу.

— Ах, застращала! Ровно сватами выхоженная, сношенька желанная. Сама, чисто сучка, под ворота подбегала. Сперва, может, по другим подворотиям натрепалась...

Виринея смолчала. Тишком затаилась на кровати. Но старуха думами распалилась. Кержачка эта непутевая в дом ни богатства, ни почета не принесла. Одни грех и обиды. Антип и посейчас не забыл, как ему ворота дегтем за племянницу вымазали. Вредил Ваське и заработок от него отшибал. Васька и столяр, и маляр, и печник, да незадачливый. Один сын из всех рожены у бога отмолен. Троих чуть не в одночасье горловой болью себе убил. Четвертого свинье дозволил слопать, когда мать на жаркой работе замедлила. А вот этого от цепучей от смерти отходила, от боговой от лютости отвела. Оттого в сердце материном, как веред, живет. Никому, и себе самой, не дозволяла троиуть небережно. Что крестьянством своим природным не занялся, в город, как вырос, ушел,— простила ему без жалобы. Что в городе, кроме щиблет городских, жилетки да цепочки от часов позо-

лоченной, ничего не нажил,— не похаяла. Одна в хлипкой избенке бедовала до первого его прихода из города. Радостью, что жив моленый, хоженый, глаза свои завесила. Не корила его хилым обличьем. На слабосильный заработок не пеняла. Об его куске сама в повитухах, да для покойников чужих умелым провожаньем, да заговором зубной боли старалась. Жили, пропитанье находили. И слава тебе, господи, владыко милостивый! А вот Вирка к парню припаялась, не стало часу для сердца легкого. В грех незамолимый Вирка старуху ввела. Сразу-то не сказала, что без божьего закону три года с Васильем путаются. Иконой, как честную, венцом покрытую, на радости от прихода сына благословила. Теперь обида сердце свербит. Кума по всей деревне рассказала:

— Мокеиха-то, повитуха, сынову... иконой сустрела. Смеху-то над ей! Не откстить теперь!

Да уж в такой срамоте хоть бы тихая, покорливая была, а то никак никому не сдаст. Ваську-то она извела. От эдакой от лихости двужильный изведется. И бога гневит, на иху семью гнев его притягивает. Лба сроду не перекрестит. Старуха уж пеняла и стращала. А она с усмешкой, будто про веселое дело:

— У вас бог православный, креста моего староверского не примет.

Прислушалась к трудному и во сне дыханию сына, представила себе рядом лежащую здоровую Виринею,— ненависть варом сердце обдала. Неправильная баба! Сразу видно, что гулёна. Здорова, а спокойной полноты бабьей, расплывчатой нет. На безмужнюю похожа подтянутым телом и несмякшим лицом.

Завозилась сильней старуха. Скрипучим от злобы голосом снова завела:

— Поганому-то брюху и плода бог не дает. Четвертый год с Васькой... Допрежь с кем сколь, не знаю, а с этим четвертый год, и дите не родила, и посейчас порожняя.

Виринея прыжком с кровати. Васька завозился, застонал:

— Куда ты, Вирка? Что тебя спокой не берет! Спи! В кашле скрючился.

А она неожиданно звонко для обычно затаенного некрикливого голоса своего вскрикнула:

— Помолчи, старая! Уж лучше не носить детей, чем такого, как твой, выродить! Тошно мне маяться с Васькой-то твоим! Дых из роту из его нюхать смрадный, да как руками склизкими ночью лапает — терпеть... Днем вспомню, кусок глотать неохота.

Васька кашлем будто подавился. Простонал:

— Ви-ирка!

И смолк. Виринея с большой тоской и страстью, быстро нанизывая слова, говорила:

— Ты, баушка, несладкое бабье-то пойло уж дохлебываешь. Знаешь: короче курного носа счет бабьим радостям. А я вот молодая, а тоже это узнала. С того и не на всякую обиду твою отвечаю. Жалею. А ты меня не пожалела, проняла! Дак я тебе скажу: а ты за какой грех эдакого гнилого родила? Я для глазу сладкая и телом крепкая, а четвертый год хожу пустая, чисто порченая! Другие-то и дурные есть, и ледащие, а отросток от тела от своего дают! А я с опостылым маюсь не для веселья, а для роду веточки! Доктор в городу сказывал: и чахотные родют детей. Про Ваську же так: не то чахотный, а и по мужичьему делу схилел. Не будет уж, говорит, у вас с им роду. У меня, бабка, сердце на слезу не охотное, а тут я заплакала. Что ж то, что в нужде, что ж то, что по счету кусок? Я бы на дите добыла! Жилы вытянула бы, а добыла бы. Другие бабы в городу на пустое брюхо с завидкой, а я, как мужичка коренная, знаю: и собака щенка с радостью лижет, обихаживает. А я одним-одна. Кручу, верчу, спину гну для гнилого, для немилого надсаживаюсь. Чем взял? Ну, чем похвастаешь в сыне-то в твоем! На работу, что ль, удал? Э-эх! Так дышит, для копоти!

Оборвала, словно словами задохнулась. Васька захрипел:

— Будет, будет... Скажи тишком. Сколько раз попреки твои слушал, еще послушаю... Не береди Виркино сердце. Она и то с тобой покорная. И сейчас не со зла она... Вирка-а, ложись! Спи! Не со мной, ну, на лавку ляг! Все переговорено, перетерпи!

Кроткий, молящий голос Васькин хуже ножа острого для матери. Он еще перед эдакой перед охальницей пригибается! В смешной и жалкой торопливости с печки полезла. Слезая, кричала:

— Сама... Сама ведь к Ваське ночью прибегла! А кто велел тебе? Прибегла, змеей вползла, а теперь мужика порочишь! Чего же глядела раньше, беспутная? Да я тебе глаза твои бесстыжие выцарапаю, коль ты слово такое еще скажешь! Вре-ешь! Вре-ешь! За беспутство твое, за грех за твой бог дитю в утробе быть не дозволяет.

Подступила старая, в беспомощном гневе трясла головой с седыми, жидкими, растрепавшимися без повойника волосами, вытягивала руки с костлявыми пальцами. Лица старухиного Виринея не видела, но руку ее поймала. Негрубо

в сторону отвела, хотела даже тихим словом успокоить. Но Васька с кровати заругался на старуху:

— Зачем ты в наше дело путаешься? Чего тебе надо? Отжила свое и спи на печке! Чего промеж мужа с женой вредишь?.. Уходи сейчас! Не смей до бабы до моей касаться! Пальцем тронуть Вирку не дозволю!

Со злостью, вновь вскипевшей, Вирка крикнула сильно и зло:

— Молчи, гнилой!.. «Пальцем тронуть не дозволю!» Самого-то пальцем покрепче двинь, дак и дух вон! Опостылел ты мне. Будет! Кончилось терпенье мое. Как сама, по своей по воле, прибегла, дак крепко слово свое блюла: три года не уходила. Тоже... с заступой со своей. Лежи и дохни! Никому не нужен. Даже на цареву войну и то не годен!

— Виринея!

— Што Виринея? Двадцатый год Виринея! Упомнила кличку-то свою. Сама завязалась, поп не крутил, богу не кадил, за меня не вымаливал, штоб по чести с мужиком с одним себя блюла! А я блюла! От пригожих да от здоровых отмахивалась. Все из-за слова из-за крепкого из-за своего! Сама в жены навязалась, с того и жила как жена. Теперь отбатрачила! Будет! Кончилось терпенье мое! Догнивай! А я здоровая — в могилу с собой все одно не утянешь. Не хочу! Пускай мать свое роженое выхаживает. А мне уж больше неохота. Часу веселого нету для молодости для моей. Уйду!

Хлопнула дверью, во двор выбежала. У Васьки сразу силы явились. Быстро за ней.

— Вира... Виринеюшка!

Долго хрипел, упрашивал. Дрожал всем телом согнутым, уж меткой смерти помеченным. Зубами скрипнула, горестно всплеснула руками:

— И чего ты вяжешься? Жаден до живого человека! О смертном часе думать бы, а ты обо мне. Да иди, иди уж в избу, хиляк! Иду и я. Ну-у?!

Вернулась в избу. На лавке у стола было улеглась. Старуха на печи по-детски всхлипывала. Скоро стихла. Может, уснула. Виринея поднялась. Сказала Василью раздельно и строго:

— Не ходи за мной, не убегу. Сердце давит, на дворе постою, вольным духом подышу, вернусь. Слышишь? А коли за мной выйдешь, убегу со двора. Вот тебе слово мое — убегу! Только ты меня и видал!

Ушла. Васька долго маялся. Вставал, в сени выходил. Дверь тихонько, как по воровскому делу, в чужой будто избе, с опаской открывал. Слушал, притишив дыханье, но

во двор выйти не решался. Вирка не по-бабьи на слово крепка. Пригрозила — так сделает. Но горячая знобь связала Васькино тело. Неверными и тягостными стали движенья. Лег на кровать. Натянул со стоном отцов старый тулуп, укрылся им. Задышал трудно и часто. Про явь, про Виринею забыл. В бредовых, мучительно быстросменных виденьях заметался.

Виринея во дворе у плетня стояла. Ветер, веселый и мокрый, с полей налетел. Суматошливый гул помолодевшей в буйстве реки и бурливых вешних вод в степных логах слышней стал. Небо темным-темное, будто от того гула притаилось. Улица тоже темна и тиха. Во дворах глухая возня скота и непонятных, ночных странных звуков. Отыграла гармошка хромого Федьки-гармониста. Накричались в песнях девки. Смолк тяжелый, хлюпкий по грязи топот молодых парней, еще на войну не взятых. Отбуянило молодое на улице с вечера. Теперь, в час потайной и сладкий, ласковые пары в темноте тихой запрятались. Празднуют легкий час свой в несворотливых, день на день, как близнец, схожих натугой над землей, над хозяйством приглушенных днях.

А Вирка свой легкий час на обман отдала. Ни за семью, ни за хмель радостный. Не было той радости с Васькой! Ошибка вышла. Разбередила старуха. Часу больше терпеть неохота! Утром же прости-прощай, матушка чужая, неласковая, постылый хиляк, изба невеселая. Ночью прибежала, а уйдет открыто. Белым днем. В город надо податься, а то на железную дорогу — на заработки. Отбилась от деревенского, в правильные бабы не попала,— на другое, значит, поворот вышел. Гулёной безгнездовой. Что ж! Хоть на вольной воле! Чернявый этот лапал сегодня глазами. Может, и без гульбы с ним на работу поставит. Ладно, будет. Только бы Васька еще нынче не вязался. А то и до утра не вытерпеть.

Повела строгими бровями, губы твердо сжала — и в избу пошла. Разбила Ваську лихоманка, не учуял, что пришла.

III

Утром Васька с постели не встал. С тусклым лицом и пересмякшими губами пластом лежал. Не то спал, часто открывая глаза, не то так, по-тихому маялся. Может, отходить собрался? Виринея глянула в серое лицо его в липком поту, на руки распластанные. Подумала:

«Нет, еще не пришел час. Не томится, не обирается. От скрипоты отдыхает. Вста-нет еще канитель тянуть!»

Избу напоследок прибирать старательно стала. Старуха только искоса взглядывала. Не ругалась, не разговаривала. Потом над сыном постояла. Охнула тоскливо и крещенской водой его сбрызгивать начала. Выкликала бога и святых глухим шепотом:

— Заступница усердная, матерь божья Казанская! Микола милостивый, угодничек божий! Василий хивейский, андел-хранитель! Пантелемон-целитель! Господи владыко!..

Не выговаривала, чего ей надо, о чем молит, чем мается. Богу нужны не разговорные слова, а непонятные, строгие. У ней их не было. Знала только каждодневные, к богу недоходчивые. Оттого в бессилье косноязычья своего перекличку скорбную и безнадежную бормотала. А голова смешно тряслась, и спина натруженная совсем колесом от горя сгибалась. Виринея поглядела, передернула губами, как от боли, и сердито сказала:

— Бог, бог... Давно поди он сдох. Сколь лет его просишь, корежишься. Отдохнула бы!

И, хлопнув дверью, из избы ушла.

Старуха охнула, пугливо на образ темный глянула. Ноги задрожали, до лавки чуть добралась. Накличет беду, окаянная.

— Господи батюшка, не посчитай то слово! Заступница матушка!

А Виринея простоволосая, как из избы выбежала, шибко по улице шла. Почти бежала от двора постылого. Лицо было темное, и думы злые в голове ходили. Старуха еще одну обиду распалила. К богу старый и крепкий укор. Отец по богу маялся. По свету ходил, праведной земли искал. Всю силу свою человечью для бога размотал. В переходах, переездах по разным дорогам и по бездорожью места богова искал. Детей под чужую, под жесткую руку отдал. А бог за это ему трудную кончину в гиблом месте, в чужой сибирской стороне послал. Мать скорбью мужниной тоже зашиблась. По родне за детей в тяжелой работе жилилась, а часы на долгую надрывную молитву находила. От тех молитв, от постов, от поклонов до часу стаяла. А Вирка зато с той же страстностью, с какой родившие по богу маялись, против бога взлютовала. И у дяди с того, главное, ее жизнь не сдалась. Работу ворочать могла. В теле жила крепкая, только сердце дурное, суматошное. К чужим мыслям неподатлива. Дышала сердито. Ничего кругом не видела. В гневе, в спешке чуть мимо избы Анисьиной не пробежала. Эта веселая солдатка всегда с Виркой ласкова. Может, с того, что и ее другие бабы, степенные, как Вирку, глазами колючими у колодца встре-

чают. И вслед долго глядят, губы поджав. Слух по деревне идет, что спуталась, как мужа в солдаты забралн. А она на те разговоры только смехом озориым отвечает. Веселая да бесстыжая. Но Вирке смех ее частый н легкнй по душе. Надоест ведь каиючку одну слушать! О ней иынче и вспомнила. Подн пустит под свою крышу хоть на два дня, а там — видно будет.

В нзбе Анисья была. Закваску для пьяного квасу ладила. Не по-бабьи, тишком сердитым нли с воркотней, возилась. А будто девка, заботой ие замаяниая. С песней на голос высокий:

Одно-о на прово-оды ска-азала:
И-ых, пра-аводила со двора-а!..

Вирнея усмехиулась.

— Ну, н баба развеселая! С самого утра с песиямн. Дело, вндать, у тебя легкое. Здравствуй-ка.

— Здравствуй, бабочка. Вот негадаиио припожаловала. Сколь раз звала — не шла. Я уж ждать перестала. Мое дело вольное, солдаткнио. Детей накормнла, для порядку стукнула н на улицу спровадила. Чего мие песии ие играть? За мужа откупное иачальство платит, свекра с свекровушкой господь прибрал, чтоб ие турчали, сиоху молоду не мытарилн. На дворе чужак иаиятой, сударик пленный, старается. А я вот квасок веселый заварнваю. Чего не петь?

Смеялась иебольшими блестящнмн глазами. Румяная, невысокая, крепкая, телом налнтая, ловко н весело поворачнвалась. Вирка еще усмехнулась. Ясией н шире.

— Я к тебе по нужде. Дозволь у тебя дии два-три пожнть. Ушла я от Васькн-то.

— Ну-у! Не сдюжнла? Я и то дивовалась иа тебя. Что ж, пожнви сколь-нибудь. Отработаешь по двору да по дому. А харчей подн иа подеиной добьешься.

— На железную дорогу, сказывают, баб берут.

— А, ну да. Около постройщнков этнх тоже можио... Совсем ушла аль еще раздумаешь?

— Совсем.

Аннсья тряхнула головой, пестрым платочком повязаиной.

— В иоиешии года развольинчались бабы! Вот хоть про себя скажу. И муж желанный у меия, не то чтобы с отвратом я к нему аль об ем ие думала. Провожала, горячей слезой плакала, а глядн — гуляю без его. Прндет — убьет, может. И за дело, зиаю. А все ие хочу молодых годков своих терять. Прежии-то бабы, сказывают, по десятку лет без греху мужьев

дожидались. А мы на это дело слабые. И про тебя я думала, хоть без венцу, а правильная. Ну-к что ж! Видно, такие шелапутные зародились на нонешний век бабы. Про-оживем, покуль солнышко на нас светит. Ну-к подоткнись да вымой мне вот эти горшки. А я за семенами к мордовке схожу. У ей всхожие, кабы не разобрали.

И ушла из избы.

Но наниматься на постройку Виринея скоро не собралась. В соседней с Анисьей избе хозяйка живот сорвала. Хозяйство самосильное, а работника в дом от греха не брала. Со свекром да с ребятами управлялась. Тяжелую кладь подняла — и замаялась. Свекровь, уже с год ослепшая, на другое же утро к Анисье пришла. Помолилась в угол и сказала:

— Здравствуйте-ка. Здесь, сказывают, кержачиха-то? Васьки Мокеихина полюбовница. Здесь, што ли?

Анисья звонко откликнулась:

— Здесь, здесь, баушка. Ты што, сватать, што ль, за того Ваську ее пришла? Не время поди: пост великий еще не кончился. Да и для посту он не скусный. Баба-то пробовала, да сбежала.

— А ну тебя, охальница! Нихто за ей сврататься теперь не придет. Нетронутых-то девок впрок солим ай за старых вдовцов сбывам — куда ей после ее греху! Вирка-а, подь-ка поближе. Не слыхать што-то ни духу, ни голосу твоего.

— Здесь я, баушка. Зачем тебе?

— Айда к нам, по хозяйству поработай. Шерстью там аль чем заплотим. Баба-то у нас, слыхала?..

Виринея поправила платок на голове и сказала внушительно:

— Што ж, я пойду на какое надо время. Все одно, где прокорм добывать. Только ты меня, баушка, грехом моим с Васькой не замай. А то я и старость твою не уважу, ухватом садану. Надоела мне ваша про меня колгота.

Старуха закивала головой, руками взмахнула:

— Да што ты, што ты... Не хошь, и не скажу. Не дочь мне, не сноха, чего заботиться? Айда! На работу ты здорова. Уж постарайся, пожалуйста. Никем никого и не наймешь тут у нас. А твое дело такое вышло — все одно наматься! Айда!

И Виринея пошла. Целую неделю проработала. И на другую оставили. Хозяйка туго поправлялась, хоть свекровка и к Магаре к камню ходила, помолиться просила. Хоть и Мокеиха, Васькина мать, живот править и заговаривать приходила. За фельдшером в участковую железнодорожную боль-

ницу свекор обещал съездить. Да все еще дороги не было.

Четыре раза Васька по темноте молить и просить Виринею вернуться назад приходил. Трудно дышал и неверным шагом ходил, но двигался. Отошел от застуды. Еще не пришел его час. Жарко спорили с Виркой под сараем во дворе. Но уходил один, втянув голову в плечи, как побитый. Когда в четвертый раз пришел, Вирка из избы, из дверей, звонко крикнула:

— Опять притащился, постылый? Потемну, с утайкой, а все люди видят да знают. Постыдился бы цепляться-то за мой подол... Уходи! Нечего нам с тобой говорить. Все размотано, и ниточка оборвалась. Никаким жалостным словом боле не свяжешь!

Но Василий сразу со двора не пошел. Притаился у плетня, сгорбившись, словно еще ссохшись, худой и низенький. Давил свой навязчивый глухой кашель и стоял. Старик амбар запирать вышел. Приметил. Сказал сердито:

— Иди домой! Чего маешься? Коль припшичило до бабы, законной нет — мало ль баб тебе? Мужиков не хватат. Чего срамишься?

Вирка из сеней услыхала. С поленом выскочила:

— Уходи, а то пришибу! Намозолил ты сердце мое, со сну вскакиваю, как тебя, липкого, вспомню! Пришибу-у, все одно, хучь конец! А то сам плохо дышишь, да и мне не даешь! Ну-у?..

Ушел.

Мокеиха, как пришла хозяйку вызволять, на Вирку сначала даже не взглянула. Будто ее и не было. Хоть она по работе бабьей своей то и дело мимо старухи ходила. Только когда дело свое справила Мокеиха и уходила, то во дворе Вирку остановила:

— Уйти-то от нас ушла, а дух поганый с подола со своего у нас оставила. Кобели на тот запах ходют.

Вирка передернула губами, пошла от старухи и на ходу кинула:

— Ладаном покури, отшибет! А то и твой-от сын по-кобелячьи за мной все вяжется!

Но Мокеиха сказала внушительно и глухо:

— Постой-ко! Слово сказать надо.

Виринея приостановилась. Через плечо глянув на старуху, спросила:

— Ну? Какое еще слово? Все одно ты меня ничем не проймешь. У меня на тебя даже обиды нет. Больно ты и без меня горько сыном обижена. Чего тебе надо?

Старуха подтянула губы. Сказала сдержанно:

— Черимый тот аижннер приходил, тебя спрашивал. Сказывал — на стирку, иа мытку, што ль. А видать, како место мыть зовет.

— Ну?

— Чего иукать-то? Хочешь, дак иди, мой. Аль уж, может, сладились? За хорошие деиьги аль так, задарма, по согласью?

Вирка усмехиулась:

— Не твой расход, ие твой доход. Идн, баушка, домой! Не обидишь ты меня, не проймешь. Жалею я тебя. Сын твой больио иенавнстен мие стал, а нз-за тебя н его вот сейчас пожалела. Мается и тебя мает. Приспоконлись бы вы как-иибудь, а я бы, право слово, порадовалась. Прощай, баушка.— И скрылась в сеиях.

У старухн сердце от злобы зашлось. Чуть из двора выбралась. Как разговаривает! Чисто путиая. А оиа, старая, перед ией, как девчоика покорливая, стояла, слушала. Господн, за что обида такая в седые остатиие годы?

Долго ночью плакала.

IV

Об инжеиере том напрасно старуха напомннла. Не больио пригляиулся, чтобы часто в голову лезть. А все же где-то сзади явиых мыслей, тайком, думка о нем спряталась. Может быть, оттого, что иикому Вирка, кроме Васькн постылого, на ласковую душу ие нужиа. Та же Аиисья из любопытства с ией хороводнтся. Разговору много про Вирку было, иу н заиятно той проколупать: что за человек. А тот барнн с первого взгляду иа Внрку с большой лаской, как иа желаииую. И сейчас вот не забыл. Только н на Ваську тогда позарилась за ласковость... И сердито оборвала мысль:

«Ну нх всех в болото, лешаков! На работе н не думаешь про мужика. Так проживу. Хватит с меня одиого. И от того нн крестом, ни пестом ие отобьешься!»

Больная баба отошла. С иатугой, а вставать стала. И помаленьку по дому управляться. Хоть иичего жнлн, посредиему, куска иа Вирку хватило бы, но баба по-крестьянскн прижимиста была. Зря кусков ие разбрасывала. Как продохнула, к печи доплелась.

— Ну-к, Вирка, отойди, я сама...

Вириией бабу поияла. Сама так же бы хозяйствовала. Приласкала одобрнтельным взглядом н сказала:

— Вызволнлась? Вот н хорошо. Утре, как еще полегчает, дак я иа вас н отработала. Уйду

И иа другое утро опять к Аиисье ушла. Аиисья что-то затумаиилась. Побледиела, осуиулась, и взгляд иевеселый был. Сказала Вирке вечером, как коров доили.

— Что-то у меия иа сердце гребтит. Давио писем от мужика иет. Либо шибко раиеииый, либо помер совсем. А то, може, у иемцев мается.

Вириией отозвалась сдержаиио:

— А може, приписали про тебя ему?

— Что с астрияком-то с моим путаюсь? Тогда бы еще скорей хучь через родию покор прописал. Нет, чую, плохое с им. Вот который деиь ем кусок без охоты, и все што-то маятио...

— Аиисья, иа што ои тебе? Надругалась ты иад им...

— Что иадругалась? Дите, што ль, чужих кровей иа его кусок привела? Сроду до этого ие доведу. Двоих вытравила и третьего, коль с чижолости сейчас тоскую, изведу. У Мокеихи-то у твоей иа это из всех бабок рука легкая. А так что ж? Кровь-то молодая, сам зиает. Поди тоже без бабы ие прожил. Еще хворь дуриую прииесет. Мало ль у иас мужьями порчеииых? Чего же, дело такое. А меия побьет, поувечит, а там опять вместе заживем. А и убьет коли сгоряча, дак потом пожалеет. На работу я спорая, телом крепкая. Чего иадругалась? Ну ты, тпру-у, стой! Чего брыкаешься! Стой, коровушка, стой, матушка...

Подоила, перекрестила корову и сказала:

— К Магаре схожу. Пущай за Силаития моего помолится. А может, предскажет что. Ты подомовиичай тут. Молитву, которую солдатам посылают, Магара, сказывают, составил. Шибко солдаты иа ее иадеются. Хороша от смертиой от пули. Нашииски солдаты под рубахой иа сердце ту молитву в бою иосют. Как у старосты старшого, Митрия-то, убили, Терехии Васька с тела с его ту молитву сиял. Прописал Митревым родителям, что себе иа охраиу листок тот оставил.

Вириией вздохиула:

— Дуриой иарод,— деревеиски иаши люди. Убили, дак чего же молитва-то ие обороиила? Ни к чему оиа, выходит.

— Ты, Вирка, про богово дело ие бреши. Как веру человек смеиит, ии к чему стаиовится. Из кержачек перешла, дак и клеплешь иа иаше провославие! Не люблю таких слов. Тебя молиться ие заставляю, а ты меия ие замай.

— Чего ты ощерилась? Не стращай, я ие пужлива. Не люби,— а ведь сама говоришь: и с молитвой убили!

— Ну-к што ж! Так бог схотел, закрыл глаза иа ту иа

молнтву. Мнтрню так на роду было напнсано, а другнм помогает. Спншн мне ее, ты хорошо грамотна.

— Не буду!

— А, сволочь ты, безбожнница! Ну н наплевать. Без тебя найду, напншут. Домовннчай, а то к ночн дело. Я схожу, отнесу чего нн то Магаре н помолнться попрошу.

Большая вера в Магару в жнтелях укрепнлась. Из дальннх волостей, когда путь был, к камню его прнезжалн. Подаянья доброхотные прнноснлн н прнвознлн. Но без корыстн Магара перед богом старался. Даянья же у камня оставлял. Подаянья нсчезалн. Платок однн жертвенный на бабе акгыровской, нз беженок, вndелн. Но все же неслн н везлн. И Аннсья полный узелок снедн набрала н ннток шерстяных моток.

— Подомовничаешь, што ль? Астрняк-то мой поздно прндет. В барак к своим отпроснлся. А ребята прнбегут, сунь кусок, н пущай спят.

— Да ладно уж. За ругачку твою когда нн то взгрею я тебя. Не люблю этого. Ну, да ты не злая, спущу пока. Идн. Подомовннчаю, некуда мне н уходнть-то.

В сладостном томленье расправлялась сброснвшая снежную глухую покрышку земля. Было легкнм н в кроткнх красках сгасало вечернее небо. Будто грустнло в беззлобье, безнадежностн, что не ему, а земле дан час плодородья, сладость н горечь краткнх земных радостей. От этого полегчавшего в кротостн неба, от бережного тнхого опусканья на землю темноты, от прнзывного курлыканья летевшнх отважно далеко журавлей входнлн в человечьн сердца радость н тоска.

Вирннея стояла на огороде. Смотрела на журавлей в вышнне, слушала вечернюю негромкую суету дворов, жадно забнрала в грудь хмельные запахн землн н ветра. Побледнело лнцо, тосковалн глаза, а нарушать ту хорошую легкую тоску н уйтн не хотелось. Инженер к нзгородн огородной подошел. Снльно вздрогнула, когда негромко оклнкнул:

— Внрннея...

И с промедленьем добавнл:

— ...Авнмовна...

Все этн неделн мыслямн о ней маялся. Крепко забрала. Все про нее разузнал. Думал, про дурное в прошлом ее те рассказы отобьют думу о ней. Но только пуще распалнлся. Сегодня только узнал, где жнвет теперь она, н сегодня же самн ногн прнтащнлн к ней.

Внрннея от нспуга быстро оправнлась:

— Вот напугал, барнн! Откуда вывернулся?

С лнца же тнхость не сошла. Говорнла не серднто, устало:

— Вы чего-то меня спрашивали? Старуха сказывала, к им приходили.

— Да я не знал, что вы перебрались от них.

— Ну, как, чать, не знать? В деревне про всех все знают, а про меня вы, слыхать, все расспросы расспрашиваете. Может, только избу не знали, где живу теперь, а про дела про мои с Васильем как, чать, не знать! Зря только старуху расспрашивать пошли.

— Да я, честное слово, Вирниея Авимовна...

— Что это вы важевато как со мной? Батюшкины кержацкие кости величаньем тревожите. Мне чудно и ровно совестно. Мы народ к тому привычный, что старух только величают.

— Мне очень хотелось еще увидеть вас, Виринея, Вира... Знаете, так бывает: увидишь в первый раз человека, а кажется, что давно знал его — влечет к нему. Тогда вы сердито со мной разговаривали. И мало...

Тянул медлительные слова. Думал: «Не так... не так надо с ней говорить».

В этот час, кротостью вечерней напоенный, и у него не стало жадной хватки бурного желанья. Только и надо: вот так стоять поодаль от нее, смотреть усмиренными глазами и ощущать: удивительная, дорогая.

Виринея встретилась с ним глазами и чуть порозовела. Сказала негромко:

— Нехорошо, что вы тут стоите. И то про меня много болтают.

Он встревожился:

— Но почему же? Разве нельзя поговорить? Ну, просто так, по-человечески поговорить? Не уходите, пожалуйста! Ну, давайте вон туда, подальше, за село пройдем.

Виринея засмеялась тихим, грудным смехом. Покачала головой:

— Еще лучше удумал! Да я ничего, стойте, разговаривайте. Меня сплетками своими до сердца не проберут. Привыкла я. За красоту за мою бабы меня не любят. Чисто мне кажный мужик нужен, а им всех до единого жалко уступать.

Спокойно и просто о красоте своей. Не чванливо, не кокетливо, а правдиво. Умилился влюбленно: «Милая». Она, глядя мимо его лица, тихими сегодня глазами, говорила:

— Вот и в городу: и стряпать по-господски выучилась, и стирать, и гладить как надо господское белье, а подолгу на местах не жила. Не с того, что без паспорту. Это для их выгодней, дешевле. А все из-за завидки бабьей. Поглядят барыни, как ихние мужья аль там кавалеры около меня,

вот как вы теперь, вьются — снчас фыркать зачнут. Ну, а у меня сердце на фырчок нетерплячее, сама отфыркаюсь. Вот и с места долой. Одна вот чудная больно...

Виринея фыркнула:

— ...так из себя, хуть господа, а с деньгами не густо. По дешевой образованной должности с мужем жили. Все листы какие-то писали и в эту, как ее?.. Тьфу, уж забыла городские слова... в редакцию каку-то ходили. Книжки мне еще давали читать. Там, дескать, у их в этой редакции составляли. Скучные книжки, про бедный народ... Я брать — брала, а мало их читала. Ну, дак они со мной так: все одно, дескать, люди, что господа, что мужики. Деликатно, старательно. Маленько муторно с ими было — больно деликатные. А ничего: пища — что сами едят, и без ругачки. Только гляжу, барин чаще ко мне на кухню, как барыня из дому. То да се, а сам мнется, вот как вы. Ну, думаю, как бы барыня не осерчала. Да и при Ваське тогда заходил. Васька сумлевался. А барыня — такая: по-городскому ничего, стеклышки эдак на носу на шнурочке, кудерочки реденьки. Ну, а по-нашему: сохлая до канючая. И барин с ей ласков, а, видно, посдобней, повеселей чего захотел. Ну, и она приметила. Не осерчала, виду не дала. А только раз пришла ко мне и говорит: «Виринея, давайте обсудим». Ну, разное там говорила. Мещанки, говорит, которые за мужей держутся, а я нет. Если, мол, тебе нужен — бери. Я, дескать, сама уйду. Я говорю: он мне не нужен, а коли сумлеваетесь — рассчитайте. У меня, мол, свой, хуть плохой, да свой есть. Да и у тебя-то, мол, мужик не лучше. С Васькой парный, только что образованный. А она: нет, говорит, зачем расчет, давайте обсудим. И вот эдак раз двадцать все: обсудим. Ну, лучше бы она меня била, чем сусолить эдак! Плюнула я да тишком рано утром от их ушла. Вот эдакая завидка потяжельше фырчанья!

Оба весело засмеялись. Виринея со смехом закончила:

— Она мне, эта «обсудим»-то, и проняла. Затосковала я по деревне. Проще у нас. Двинут, дак без разговоров двинут. Айда, говорю, Василий, к своим подаваться. Уж терпеть, дак от своих. Вот когда обидно на баб нашинских станет, вспомню про тех образованных, обида-то и отмякнет. Эти злы, да без подвоху. А те прямо не покорят, а жалостными словами зашпыняют.

— А не скучно вам здесь? Все-таки вы уж привыкли к городу...

— Ничего я не привыкла. Легкому сердцу везде сладко, а коли в ем горько, дак где ни жить — все одно тошно. Да нам за работой скучать некогда. В девках я книжки читала,

а теперь и к нм охоты нет. Вот так постою, погляжу да спать пойду. И в праздннкн больше сплю.

— Кннжкн я вам могу прислать, если хотнте, у меня ннтересные есть... И романы, и повестн.

— Вот я раньше до ро́манов охотница была. От дяди таилась, а много перечитала. И работу какую ворочала, а читать находнла часочки. В летнн праздннкн в степи пряталась.

— Я пришлю... Я вам завтра же принесу.

Вирннея с усмешкой махнула рукой:

— Не надо. Я в нх теперь и глядеть не хочу. Чнтала, читала, да вот с чахотным н спуталась. Чего смеетесь? Правда, так. В кннжках все такие обходительные. Про любовь там всякое. Ну, а нашн, деревенские, эдак не займаются. С девками словами не канителят, а с бабой своей дак н вовсе разговоров не разговаривают. Корове когда скажут: «Краснушка, Краснушенька»,— аль лошадь с добавкой слова ласкового назовут, а жену — нет. Для работы взята, для роду, а не для ласковостн. И на работе скотнну жалеют, а бабу нет. И все одно, в богатстве лн, в бедностн — везде к нашнм бабам так-то. Еще бедный-то лучше, нз-за хозяйства не ярится. Ну, вот я в кннжках одно начнтала, а нагляжусь на другое. И неохота мне ни с кем нашннским. На улицу тайком часто бегала, охотлнвая в девках до веселья была, а от себя всех отважнвала. Не мнлы. На тех, в книжках, не похожн. А этот вот, Васька-то, и в обряде городской, и с манером с городскнм. По-тихому, со словамн ласковымн обошел меня. И нз себя чисто не деревенскнй, худенький да ужнмчнвый. Вот и прнпаялась.

— А сейчас вы его не любнте?

Внринея встрепенулась. Взглянула в инженеровы ласковые глаза и вдруг сухо оборвала:

— Разболталась я... Молчу много, а вот как накатнт — и заговорюсь. Вы чего шли ко мне-то, с какнм делом?

Затаился взгляд. И губы твердо сжала. Спугнул ннженер легкнй разговор. Сам нзбнть себя готов был, но как поправить, как разговор затянуть, не знал.

— Я, вндите ли... Не знаете ли вы, кого мне здесь попроснть стирку белья моего на себя взять?

— А што же, я постнраю. Я по-городскому могу. Только я задешево не возьмусь.

И опять деловнто плату указала. Очень дорого по местным ценам. Но он уж не злнлся. Только жалел, что та, мнлая, с неуклюжей, но задушевной речью, спряталась. Другая

Вириией точио. Расчетлнвая деревенская баба. Нелепым для произиосимых слов печальиым голосом сказал:

— Ну что ж, я согласеи. Когда можно белье прнслать?

— Куды прнслать? У вас поди кухня есть. Да ие то кухня, баия в этом двору есть. Я ведь зиаю Силаитьев дом. Вот в баие н перестираю. В чистой поиедельинк иа страшной утречком прнду. На этой у Аиисьи отработаю. Мыло н подсинька-то у вас есть, ай купить?

Радостиым стуком кровь в сердце, в внсках: согласнлась прийтн к нему в дом. Сама предложила, сама захотела. В уединениой бане, за двором, целый деиь одна будет. Возможио, что и для нее стнрка — предлог. Тяиет к нему, только ие хочет сказать открыто. Не разбирал от волиеиья, что она говорит, отвечал торопливо, не вслушавшись:

— Да, да... Вот возьмнте, пожалуйста... Хватнт лн, нет?

Видела, что лишку дает, ио сказала спокойио:

— Пожалуй, что н хватит.

Взяла деньги, пошла с огорода. Не оглянулась.

V

Бог все разговорчивей с Магарой. Народу от того разговора предсказанье. От молнтвы — помощь. И в моленье своем хорошо было утверднлся Магара. Сердце отмыкло, дых легче стал.

Но по весие опять отяжелело в грудн. Рукн по земиому мужичьему делу затосковали. Перешибали молнтву думы о пашие, о скоте, о зятевом хозяйствоваиье. Одиу иочь, сколько ни старался, иикак молитва не шла. Тоска такая иакатнла, что в голове мутио. И к утру, стоя на коленях на камие, запросил Магара:

— Ослобони, господи, меня от земного дела! Нававсе ослобоии! Лучше я в раю с угоднnкамн твонмн стараться буду. Ослобонн от кровн чнжолой, от жилы человечьей, от костяку твердого. Сведи на меня смертный час! Оттоль народу способе подам, а на земле здеся не выстою. Хо-осподн!

Последнее слово с криком хриплым нз груди вышло. И будто иа крик тот в мутиом мареве рассветном появился от камня поодаль святой старичок. Тот, что в самый первый раз буднть Магару приходил. Какнм нменем его оклнкнуть — все еще ие знал Магара. Не вндал с того разу. Застыл в ожндаиье. А старнчок не прежинм зычиым голосом, а в ласковости тихой заговорил. С ветерком вместе, с паром от вешней земли слова иалетели:

— Помрешь скоро, раб божий Савелий. Жди часа смертного.

К похолодевшему в иочи камню в радости, до боли сердце стисиувшей, припал лицом Магара. А когда опамятовался, голову подиял, уж ие увидел старичка. Взмолился:

— Милостивец! Как по имени, по чиию перед богом звать тебя? Ну-к, покажи еще лик немудрый свой. Страдатель божий. Сколь скоро, в какой деиь, в час выиет душу бог из меие?

Лика больше не видал и ответа ие слыхал. Но к смерти стал готовиться. В тот же деиь иеожидаиио в дом свой пришел. Старуха с дочерью в избе убиралась. Вытерла фартуком мокрые руки, глянула иа мужа. Обветренный, лохматый и грязный. Не похож иа угодииков, какие иа икоиах. Сказала робко:

— Може, в баньке попариться, тело занудилось? Истопим, а?

Но Магара головой, как от мухи, отмахиулся:

— Смертиу обряду мою, каку заготовила, достаиь из суидука! На дворе повесь.

И ушел. Слова больие не добавил. Старуха горестио вздохиула и заплакала. Вся округа в святость Магары уверовала. А оиа говорить о том боялась, ио в себе думала: ие от святости это в ием, а от хвори какой-то. Уж своего мужика-то знала,— какая в нем святость? Так мается без ума, без разума. Но не сердилась, а шибко жалела. От той жалости быстро стареть иачала. Ссутулилась, глаза стускли, и иа лицо серый пепел лег. Но приказаиье мужиило в тот же час исполнила. Когда вешала белые холщовые порты и рубаху, Мокеиха пришла.

— Здравствуй-ко, Григорьевиа. Помирать хочет?

— Не зиаю, веле-ел.

— Сказывал, Григорьевиа, сказывал. Сейчас иа нашей улице был. Открыто ему будет, в какой день. Я и пришла, чтоб меия тогда кликиули. Потрудиться охота над молитвенником-то над нашим. Нынче народ распутиый стал: мало кому открывается, когда смерть придет. И не от должного часу мрут, а все больше во виезапности. Пущай подоле повисит одежа. Солиышком нашинским прогреется, ветерком с земли провеется. На остатией обряде дух земиой уиесет, пуще об земле стараться перед богом будет. Их-ох-ох. Ну, дак гляди, не медли, кликни тогда. Савелий-то, батюшка, плывет через речку...

— Куда?

— А по обычаю богову все сделать хочет. Не как нынешние вертуны. В церковь, к попу поговеть поплыл.

Обратно приплыл под самое вербное воскресенье. Уж затемно в окно постучал:

— Эй, открой-ко, Михайла!

Зять голос узнал. Подивился:

— Ай к нам перебираешься?

Но Магара, отмолившись в угол, сказал:

— Оповести завтра народ: помирать ложусь. Гроб-то сготовил.

Зять поскреб голову и грудь. Спросил:

— А где помирать-то лягешь? Там, у себя в землянке, ай на камне?

— Тут, в избе. По-христьянскому. На этом месте родился, на этом же и помру.

Зять постоял, подумал. Сказал с тягучей позевотой:

— А, ну да, правильну кончину ты себе у бога вымолил. Я маненько еще посплю. А? До утра-то еще долго. Намаялся я нынче.

— Ложись. Я на двор пойду свету дожидаться.

Когда ушел, зять старуху окликнул:

— Не спишь? Слыхала? А в избе не остался, отвык от человечьего духу. Бабу-то мою будить аль нет?

— Не надо. На свету обоих разбужу. Что ж, все под богом ходим. А ему все одно. Который год на земле не работник. Может, и правда, час помирать пришел. Потрудимся, проводим. Ложись, поспи еще час какой.

— Ви-ирка-а! Ви-ир! Куды запропастилась?

— Ну, чего ты базлаешь? Отдохнуть под сараем я хотела.

— Отоспишься еще. Айда скорей Магару глядеть.

— Ну-у? Помирает?

— Да! Ну да! Давно уж зачал. Гляди не протолкаемся, не увидим.

— А я ведь, Анисья, думала: он врет. Крепкий, мол, не свалишь!

— Ну, айда, айда, не растабарывай. А то народ бегёт, а мы мешкаем.

Задыхаясь на бегу, сердилась Анисья:

— И как это я, на каждый слушок вострая, тут не сразу услыхала! Ой, баба, не увидим, а охота поглядеть, как кончится. В праздник и помереть угадал. Людям глядеть пословодней.

Стекался народ к избе Магары. Со всей деревни накатной, разноцветной, веселой для глазу волной. На улице око-

ло избы, во дворе и в самой избе стоял иесмолкающий гул людских голосов. В избе приглушеииый. На улице и иа дворе — как веселый жизии молебеи.

Солиышко, по-вешиему легкая теплота дия, колыхаиье ярких жеиских платков и платьев, пушистая верба-хлест, игривая в молодых руках,— будоражили радостью. Оттого часто в толпе прорывались молодой ядреиый смех и жеиский притворио-пугливый вскрик. Заглушали перебраику тесиившихся у избы и охотливый старушечий провожальиый плач.

Вириием и Аиисья, огрызаясь иа ходу иесердитым браииым словом, смешком коротким и взвизгом иа щипки мужиков, протолкались вперед.

Настежь открыты окиа избы. Но тяжело и густо пахло ладаиом, богородской травой, елеем и дегтем от праздиичиых сапог. От этого смешаииого запаха, от дыма кадильиицы в руках старика Егора, от иудиого тягучего его голоса, бормотавшего псалмы, трудиила дыхаиье людей духота. На божиице дрожали горестио хлипкие желтеиькие огоиьки восковых свечей. На скамье под окиами стоял открытый гроб. Старательио обстругаииые доски еще храиили свежий запах древесиый.

На двух сдвииутых вместе скамейках, покрытых чистой холстииой, иа подушке из сухой богородской травы, в белых холщовых портах, в поясе с молитовкой, в смертиых мягких чериых матерчатых туфлях лежал Магара. Большие узловатые руки в старательной тихости держал крестом иа груди. Две чериых старухи в мериых и иизких поклоиах качались у иог Магары.

Бубиил Егор:

— Обратись, господи, избави душу мою, спаси мя по милости твоей.

Народ входил, выходил, двигался, смеиялся. Живое его движеиье тревожило Магару. Ои приоткрывал глаза. Вскрикивал глухо:

— Ныие отпущаешь...

Взбадривался Егор и громче вычитывал:

— Суди мя, господи, по правде моей и по иепорочиости моей во мие.

Магара сиова глухим голосом перебивал:

— Пошли, господи, по душу мою!

Но трепетали свечи. Все скучливей и глуше голос Егоров. Затомился Магара под участливыми, равиодушиыми, печальиыми, затаеиио усмешливыми человеческими живыми глазами. Увидал, что даже семейиые его из избы ушли. Только

жена, надвннув низко на лнцо темный платок, стояла у нзголовья. Взмолился страстией н живей:

— Отпусти, господн, вынь дыханье. Помилуй, господи, раба твоего...

Вириием дернула Анисью за платье:

— Пойдем домой. Не скоро, видать, он кончнтся.

Та повела сердито плечом, но охотно за нею вышла. Когда онн вернулись снова к смертному ложу Магары, уже солнце далеко от полдия запало. Шестые свечн на божиице догоралн. Отдохнувший народ сиова в избу набнлся. А Магара все еще живой лежал. Учуя похолодевшее дыхаиье дия, задвнгал в тревоге головой по подушке. На долгий миг задержал было дыханье в груди, но выдохиул его шумно и закашлял. Черная старуха наклоннлась к нему:

— Ты как нудишься-то, батюшка, перед смертью ай иет? Словио как быть ие на смерть, а по-живому. Народ затомился ждать. Как у тебя по твоему иутру, скоро аль долго еще?

Магара покосился иа старуху. Не ответнл, только бровямн досадлнво шевельнул. Низенький, седобородый Егор прервал свое заунывиое чтенье. Повернулся всем корпусом к Магаре, поглядел на него и посоветовал участлнво:

— А ты крепше глаза прнжмурь. На энтнх, иа жнвых-то, ие пялься. Думай об своем и дых крепче виутре держи, ие пускай. Сожми зубы-те, зубы сожми!!

Безусый, веселоглазый пареиь в толпе фыркнул. Подмигиул румяной Аиисье и сказал:

— Живой-то дух небось не удержишь! Не ротом, так другим местом выдет.

Смех прошелестел в толпе. Мокенха впередн охнула. Егор поглядел на иарод н строго оборвал:

— Кобелей-то энтнх повыгоиять бы отсудова. Вредный иарод, беда-а. Кончнться человеку в стараиье перед богом не дадут.

Загиусил живей:

— Окропишн мя нссопом, н очищуся, омыеши мя, н паче сиега убелюся...

Но скоро опять к Магаре повернулся:

— Ну-к, полежи манеиько без псалмов, Савелий. Чтой-то я заморнлся, разомиусь схожу. Полежншь?

Магара расправил затекшие руки. Пробурчал:

— Иди... Теперь скоро уж, давио маюсь.

Вирка взглядом с тем парием веселоглазым встретнлась, ие сдержала смеха. Сверкиула зубамн н зазолотнвшнмися от дерзкого веселья переменчнвымн глазамн. Крнкнула громче, чем сама хотела:

— Дедушка Савелий, а ты бы тоже слез да поразмялся. Спину, чать, отлежал? А?

Заговорили со всех сторон:

— Закрой хайло, шалава!

— Двинь ее покрепше из избы, дядя Яков.

— Что же это такое, господи? Какие бесстрашные!

— А што? Хоть сдуру, а, пожалуй, правду сказала: встал бы, коль смерть не берет.

— Ты прямо, мил человек, скажи: будешь помирать аль отдумал?

— Савелий, а ты помолись пошибче! Заждался народ.

— Рассердись да помри, Магара! Чего ж ты?

Мокеиха зло, не по-старушечьи звонко крикнула:

— Это Вирка народ всколготила. Блудня окаянная! Святой человечий час и тот испакостила! Уберите ее, старики!

Но смех и разговоры все гуще, вольней по рядам. И откликом с улицы мальчишки озабоченный голос:

— Васька-а! Он се не помират! Айда еще в бабки играть!

Старуха Магары от стыда совсем съежилась. Дрожащими руками платок на голове все поправляла, чтоб лицо закрыть.

«Страм... Чистый страм! Сам обмишулился и народ обманул! Чтой-та теперь будет? Что будет, коль не помрет?»

И жалко мужа было, и зло за сердце брало. Тужился в угодники выйти, дак выходил бы в настоящие, а то на смех на один! Заплакала и закрыла фартуком лицо.

Вернувшийся в избу Егор спросил ее облегченно:

— Помер, што ль? А я и не разберу, с чего народ шумит.

Магара приподнялся на скамьях, оглядел всех большими тоскующими глазами и снова медленно опустился и вытянулся. Смех смолк. Люди затаили дыханье. Лица у всех построжали. Долго стояло молчанье в избе. Магара прервал его. Снова хрипло вздохнул. Опять приподнялся, сел на скамьях. Глаза, загоревшиеся огромным напряженьем страсти, жаркие до жути глаза уставил на иконы. Глазами молился и требовал. Опять заговорили сзади. Приглушенный смех снова в уши Магары. Тогда он поднялся во весь свой высокий рост. Передохнул всей грудью и пробормотал невнятно:

— Отказал господь в кончине. Пообещал и не послал...

Забегал его взгляд снова по рядам. Будто мешался, искал снисхожденья или участья. Но всюду встречал смеющийся или злой глаз. Тогда двинул ногой сердито смертное свое ложе и крикнул зло и сильно:

— Чего глаза пялите? Мертвечину нюхать пришли? А?

Не помру! Айда, чтоб все вон из избы. Говорят вам... мать, не помру!

Изрыгнул крепко забористую матерщину и посыпал часто крутые похабные слова одно за другим. Глаза покраснели, будто разбухли от гнева. Кулачищами крепкими замахал. Визгнула во дворе напуганная дочь Магары. С воем из избы к ней другая порченая баба кинулась. И с ахами, взвизгами, криком подались все бабы из избы. За ними мужики с гоготом, с ответными забористыми словами. Старики с укоризненной воркотней, но с веселыми от тайной усмешки глазами. Быстро пустела изба.

Обрывисто, будто давясь наплывом злых непристойных слов, ревел Магара:

— К чертовой матери!.. бога!.. богородицу!..

Сдернул со скамей холщовый покров, скомкал яростно, в угол закинул. Сильным рассерженным дыхом потушил лампадку и свечи.

На дворе еще шумел народ.

— Чисто матерится старый хрен.

— Натосковался в молитве по легкому-то слову.

— Господи, батюшко! И как теперь отмолит? И чем экий грех перед богом отслужит?

Красный, потный зять Магары, выпучив глаза, во дворе народ упрашивал:

— Разойдитесь, православные! Богом прошу, уходите со двора. Уж такой нам срам! Уж такая обида! Лег бы тишком да попробовал, помрет ай нет. А потом бы народ уж скликал... Уйдите, старики, для-ради Христа. Лучше завтре придите нас срамить. Ныче не в себе он. Вам-то что? отстрамили да ушли! А нас он вполне обязательно изувечит со стыду.

Молодежь свистела, приплясывала на улице около дома. Надрывалась в выкриках:

— Когда еще позовешь, Магара? А? Когда приходить?.. Кутью сварим, блинов на поминки напеке-ом...

— Только гляди больше не надувай, а то сами тебя за надувательство в гроб укладем!

Как наш Магара, чертов зять,
Собирался помирать,
Да к вечеру отдумал
И начал свою мать
Крепким словом поминать...

Магара стукнул кулаком по подоконнику так, что задребезжали стекла раскрытых рам.

— Убью-у!.. Уходите, сволочи... Ну-у?

Втянул голову в плечи, готовый к яростному прыжку.

Взмахнул руками. Выставил в окно иссиня-багровое лицо с налитыми кровью глазами. Толпа от избы шарахнулась...

На улицу, на дворы, на окрестные поля и горы уже легла благостная ароматная темнота. Бабы тревожно выкликали мужей и детей. Со смехом и бранью расходились люди. Магара тяжело сел на скамью меж окон. Уронил взлохмаченную голову на руки и дышал тяжело и трудно.

С тихим медленным скрипом приоткрыла Григорьевна дверь. Старое сердце встревоженным голубем металось в груди. Слово с языка от испуга не шло. Но огромная жалость толкала к мужу. Вошла. Магара медлительно, с большой усталостью сказал:

— Дай мне другу-ую одежу... И... посто-ой! Вели Дашке самова-ар наставить.

Но чай пить не стал. Выпил жадно три ковша холодной воды. Спросил угрюмо и глухо:

— Где же зятья-то с бабами?

— Один-то уехал, а эти тут, во дворе, в телегах спать полегли. Боятся в избу...

— Ладно, пущай там переспят.

— А ты-то, Савелий, как? — Оробела и чуть слышно закончила:— За село-то к себе не пойдешь?

Не ответил. Сильно и слышно ступая по полу босыми ногами, прошел к старухиной постели. Деревянная кровать скрипнула, как охнула, под большой его тяжестью. Старуха, вздыхая, стала укладываться на скамье под окнами. Но Магара громко и отчетливо позвал:

— Ложись со мной.

И на шестом десятке лет, лютуя в грехе, как лютовал в молодые свои года, без слов, жестокой звериной лаской всю ночь ласкал и тревожил развяленное старостью женино тело.

А на утренней заре вдруг заплакал без слез и без слов глухим маятным воем.

— Савелий... Савелий!.. Смирись, сжалится господь! От гордыни от твоей шибко уж тебя обида пробирает.

— Молчи!

Сорвался с кровати и встал среди избы — большой, лохматый, нескладный.

— Молчи, баба! Не твоей мозгой понять!.. Молчи! В грехе доживать буду! В блуде, в пакости, в богохульстве!.. Душить, убивать буду! В большом грехе. Не допустил в великой праведности к ему прийти, грешником великим явлюсь! На Страшном суде не убоюсь, корить его буду!..

И бушевал опять до самого солнца восхода. Утром ушел

из дому. До пасхи пропадал. На второй день праздника явился пьяный и буйный. С того дня в блуде, пьянстве, в драке первым в округе стал.

VI

Третий год здешнюю степь все меряют. Второй год горы рвут. Землю, песок, дерево, железо возят. Роют, сыплют, насыпают, над дорогой железной колдуют. А езда по той дороге еще через три года не то будет, не то нет.

Постройщики-господа от войны здесь хоронятся. Не торопятся, видать, строить-то. Только и понастроили, что инженерам всяким хоромы. Бараки унылые, плохо сколоченные, да землянушки рабочей голытьбе из беженцев понаставил. Писальщикам, считальщикам своим готовые хорошие дома по всем деревням под конторы понакупали. Матвей Фадеев не зря теперь кряхтит:

— Станции да дистанции, а для мужика все одна надуванция!

Спервоначалу он постройкой доволен был. Крестьяне за продукты цену неслыханную брали с постройщиков, хорошо наживались. И не один Матвей тогда радовался. А теперь вот опять не только он, одноруким вернувшийся с войны и оттого нерадостным и на все плохое приметливым, а и другие, старики и молодые поосновательнее вздыхать начали. Деньгам от инженеров,— все постройщики повыше десятников под одним названием «инженеров» в округе ходили,— так деньгам тем, инженерским, не рады. Дурные деньги дуром и идут.

На участках дошлый приезжий из городов народ чайных понастроил. С граммофонами, с кислушкой пьяной в чайниках, с едой, по-городскому приперченной, в новинку для мужика примачивой. С той еды с пьяной запивкой на бабу, такую же приперченную, позыв. Шлюхи с разных мест к тем чайным понаехали. Дурная деньга — вот на это и тянет. Мужики, даже из пожилых, степенных, позашибались. Польстились на образованность городскую. А от шлюх да от господ, дорогу строящих, хворь стыдная приметно по округе распространилась. Бабы в соку затомились в войну без мужьев. Девкам женихов нет. А лета им уж такие, что плоть своего дела требует. Постройщики с усладкой, с подарками, с охальством зазывным городским. И сменила баба не только обряду свою на городскую короткую, облипучую, а и поведение совести своей. Блудлива стала. На грех с мужиками чужими податлива. Инженеры у докторов своих подлечива-

ются. Деревенским, пока в лежку не лягут, этим заниматься некогда. Не разъездишься в больницу от хозяйства, от земли. Вот и гниют мужичьи костяки. У многих теперь, если посчитать. Солдаты тоже порченые из городу, бывает, приходят. Хиреет народ деревенский и от войны, и от постройки. Еще от блуда и от тревоги. А в других местах мужиков с корнем вытащили. Совсем от дела мужичьего оторвали. Недаром в виденье Магара подводы видал. Чужой народ, белесый, рыхлый, на поворот мешкотный, из дальних губерний сюда перебежал. Хоть и плоховаты перед здешними, а все на своей земле трудились, добывали. Теперь же по углам у здешних мужиков, в бараках да землянках на работе непривычной маются, перебиваются с воды на хлеб. Плохо кормятся от постройки. Война крушит, и постройка вредит. Оттого у деревенского жителя, мужицкую невзгоду понимающего, к постройке, как в войне, одно отношение: скорей бы кончалась. И к инженерам, постройки начальникам, враждебное недоверие.

И Вирку оно от чернявого статного барина отшибало. Чужой и вредный им, мужикам. Здоровым желаньем своим тянул к себе. Тревожлива неродящая баба. И два раза во сне жарко с ним миловалась. По ночам всегда вспоминала, а днем на те мысли ночные тайные гневалась. Противен инженер становился. Оттого, когда вышла за водой и близко к бане во дворе его увидела, сурово сказала ему:

— Ты, барин, не крутись тут. Нехорошо для мужчины, даже совестно. Какое твое дело тут?

Он обшарил загоревшимися глазами открытую в рубахе с рукавами короткими стройную шею редчайшей белизны и такие же белые выше грубых кистей тонкие руки, голые от короткой исподницы худощавые ноги. Сказал приглушенным, но жарким голосом:

— Я этой стирки твоей, как праздника, ждал. Люблю, хочу тебя, Виринея. Слушай...

И, протянув жадные руки, ближе к ней подался. Криком сердитым и резким оттолкнула:

— Ну-у!.. Не лезь!

И близко мимо него к бане прямая и строгая прошла. В дверях сказала:

— Ты меня не замай! Еще к бане подойдешь, кипятком ошпарю. Лежать под собой других ищи, сговорчивых. Мне ты не нужен!

И дверь в предбанник плотно притворила. Когда уходил шаткими, ослабевшими сразу ногами, во дворе двух баб хозяйских встретил. По глазам и поджатым губам узнал,

что вндeлн н весь разговор его с Виринеей слышалн. Покрасиел жгущнм щеки румянцем. Сердито рявкиул:

— Где Петр? Лошадь мне надо.

С иочевкой на постройку уехал. Деньгн за стирку Вириiee через хозяйку квартирную передал.

Но на пасхе, когда кружился во хмелю от кислушки, пьяиого квасу и чрезмериой праздиичной еды народ, случайио на улице встретил Вириией. Хотел мнмо пройти, сама окликнула:

— Что мнмо глядишь, не прнвечаешь? То больио прнлнпал, а то сразу засох? Айда на разгулку со мной, барин пригожий!

Поглядел и остановился. В светлом ситцевом, по-городскому сшнтом платье, веселая и свежая, как березка в тронцу. А глаза — будто хмелем затумаиены. Лнцо зарумяинвшееся, жаркое, грешное, н голос хмельиой.

— Вирииея... Внра-а!

— Ну, айда, айда иа молоду зелеиу травушку в степь гулять, иа прнгорках отдыхать. Шибко желала я седни тебя повстречать, так по желанью моему н выпало!..

Однмм прикосновением рукн к плечу властио повернула его. Пошлн рядом за село. Не смотрела, прнмечают лн люди. Легко шла, иеумолчио, как в опьяненье, говорнла:

— Я нынче бесстыжая н разгульиая. И не от пьяного питья. Из стакаичнка чуть пригубила. А так, от дню веселого, от духу вольиого, от зеленой травы. Ходуиом во мие жнлочки ходют и сердце шибко бьет. Э-эх ты, думаю, все одио сгннвать, пропадать! Хорошне-то годы из бабьего веку своего плохо прожила, а теперь што?

— Виринея... Вирка моя милая! Красавица! Право, ты пьяиая. Скажн, где напилась? По гостям, что ль, ходила?

— Ну да, пьяиая, да ие от пнтья. Я ж тебе сказываю. Зря брехать ие люблю, а ты мие ие муж, не отец, чего мие тебя стыднться? Кровь во мие седии пьяиая. Нет больше никого желаииого, об тебе вспомиила. Третий раз мнмо квартеры твоей иду.

— Милая!

Были уже за селом. Апрель дышал зелеиой, радостиомолодой травой, пахучим легким ветерком, сладостной прелью ожидающей вспашки земли и юной синевой легкого, иедушиого иеба. Загляиул в золотые, сегодня мутной истомной дымкой затяиутые глаза, схватил за плечи, прижал плотно к себе и в долгом иеотрывиом поцелуе прнннк к иеярким, но жарким губам.

— Подожди, отпусти на передышку. Ой, мутно в голове.

Сладко ты целуешься, барин. Как звать-величать тебя, сейчас позабыла. А целоваться с тобой н без нмя, без велнчаиья еще охота. Н-н-ну... Пусти еще передохнуть!

— Вира, дорогая ты моя. Какое наслаждеиье! Ах, какая ты необычайная! Не первую тебя целую, а...

— Сядь, я у тебя иа коленях полежу, вздохну. Вот эдак руку-то подвниь. Погоди, не томн, не гладь! Шнбко сердцу тесно, дай отдохиу. А-ах! Мужнки, как мухи, зиают, где сладость. Пусти-и!..

— Вира, Внра... Ну, почему? Вирннея... одну минуту... Ну-у?.. Зачем ты... Ведь н тебе, тебе я ие противеи... Ну, дорогая моя, сладкая моя, м-милая...

— Не тревожь, говорю! Осло-обони!.. Все одио... все одио... согласиа я... Седнн люб ты мие. Не-ет... Вздохиуть дай! Шнбко сладко, дыхну-уть иевмочь... Выпустн-и, дай вздохиуть. Погоди, не це-елуй!..

И вдруг чужой, третий, враждебный, обидой, болью перехвачеииый голос:

— Вирка-а! Паскуда!

Сразу расцепнлись, подиялнсь, Васнлнй с багровыми пятнами на скулах, в трясучке от болн н гнева, со сбитой набок старенькой фуражкой на голове.

— С бариом! Паскуда ты, сквернавка! Средь бела дия, как сука!

— Постой-ко, гиусь дохлая! Не ори! Не жеиа венчаиная тебе, а гулена. Отгуляла — и ушла. Пошто вяжешься? — побледиевшая, строгая, в упор иа Васнлня глядя, без испуга спросила.

— Пошел отсюда! Какое ты нмеешь право за ией следить? Каждый шаг...

— Помолчи, Иван Павловнч!

И улыбнулся бледной короткой улыбкой:

— Виднщь, как нужный час пришел, имя твое с величаньем вспомннла... Не крнчн, не расходуйся. Иди-ка домой, а я с Васькой сама поговорю.

— Нечего тебе говорить. Убирайся, мерзавец! А то я...

— Сама поговорю. Слышншь? Ты уходи. Я к тебе завтра ввечеру прнду, не обману. А сейчас уходи. Надо с Васькой мие самой говорнть.

— Не об чем мие с тобой, сука, говорить! Пришибить тебя иадо, погань, распутиицу!

— Ну, коль сила да охота будет — н пришибешь. Уйди, барин. Глядн не послушаешь в этом, я совсем по-другому повериу. Как с Васькой.

— Я ие могу тебя одну с иим оставнть.

— Не можешь? Не хочешь, как я тебя по чести, по делу нужному прошу, так отваливай совсем. Василий, приходи в Аписьин двор. Слово у меня для тебя есть.

— Виринея, но это же не нужно, ты сама не знаешь...

— Уйдешь, барин, или нет?

— Я отойду. У села тебя подожду, только напрасно ты...

— Уходи! Право, хуже делаешь...

— Иду. Скорее только, прошу тебя. Вон там ждать буду.

Пошел вперед, оглядываясь.

— Иди, иди. Я скоро. Слово надо сказать.

Когда инженер далеко отошел, сказала провожавшему его волчьим, несытым и злым взглядом Ваське:

— Василий, ноги у тебя трясутся, спина гнется, не выстаиваешь, сядь-ко.

Усмиренный ласковостью голоса и жалеющих ее глаз, опустился покорно рядом с ней на траву.

— Васька, жалею я тебя, чисто ты не полюбовник, а сын мой рожоный. Вот право слово, шибко жалею! И когда ругаюсь, кричу на тебя, все для того, чтоб полегче тебе от меня отлепиться было.

— Вирка, жалеешь, а зачем ушла? Зачем блудишь с другими?

— Ишь ты как из-за меня маешься! Аж словно дых перехватывает. Зря это, Васька. Ничего мы с тобой теперь не рассудим, не определим. Без твоей, да и без моей воли так сделалось, што в раздельности мы, и никак нам теперь вместе не быть.

— С барами в сладком житье баловаться захотела? А? С того самого...

— Барин этот — так... Под час подвернулся. Не серчаю я на тебя, что укорить хочешь. Жа-алею! С горя это ты, а сам знаешь, другого я хотела. Честного житья и деточек от мужа в род, в семью рожоных... Сейчас подумаю, сердце зайдется. Ну, не так мне пришлось, дак... Жалею я тебя! По частому делу об тебе думаю. Хучь плохой, да первый ты мой с девичества...

— Жалеешь, а жить со мной не желаешь... Разве так-то, с господами в блуде, лучше? Вирка, чать сама ихнее господское сердце к нам знаешь... И чего ты?

— Помолчи, Василий! Все знаю. Говорю, так, в бабий час, барин подоспел. А тебя жалею, шибко, часто жалею ну, а к телу подпущать тебя неохота. Не серчай, не вольна я в этом деле.

— Дак чего ты меня мутишь? Чего еще разговоры разговариваешь?

— Васютка, родненький ты мой, незадачливый мой!..

— Ну тебя с присловьем с твоим! Схилел от простуды в грудях, а ты со мной, как с юродивым... Эх, Вирка, недоброе сердце в тебе живет!..

— Нет, доброе, только без обману, без лукавости! Всю думку выдает. Жалко мне тебя, крепко жалко, а не люб ты мне. Кабы тебя не было, я бы с этим барином еще раньше...

— А сейчас все слажено?

Усмехнулась невесело:

— Нет, опять ты помешал! А сейчас думаю, што и совсем без него можно.

— Вирка, вернись к нам в нашу избу. Я слова не скажу... Ни словом, ни глазом не попрекну!

— Нет, невмочь мне, Василий. Я к тому говорить тебе стала: понатужься, забудь про бабью плоть, отдохни. Хилой ты, а жадный. Зачем? Отдохни. У меня бы сердце за тебя полегчало. От бога отшибло меня, а вот про тебя думаю: может, в монахи тебе податься, а?

— Ах ты, стерва, сволочь! Тебе блудить, а меня в молитву толкаешь — сушиться? Я тебе покажу-у!..

— Отдвинь! Убери, говорю, руку-то свою. Меня не осилишь. Видать, нету с пользой слова у человека, когда делом помогчи силов нет. Айда по домам. Не об чем больше говорить. Всяк по-своему, по-старому маяться будем.

Встала и пошла.

Взмолился:

— Вира... Виринеюшка! Одна ты желанная...

— Не канючь! Чего надо тебе — нету у меня для тебя. Жалости моей не принимаешь. Чего же размусоливать?

Пошла к селу быстро и легко. Васька было за ней кинулся, потом объемь ударился, лег в свежую волнующую землю лицом и затих.

Вирка у околицы инженера встретила. Быстро кружил, в жарком нетерпенье вышагивал. Сказала ему сухо:

— Иди домой, Иван Павлович. Неохота мне сейчас с тобой миловаться. С Васькой растревожилась.

И холодными протрезвевшими глазами в лицо его поглядела.

— Вира... Но ты придешь? Ты обещала мне...

— Пообещала в дурной, нерассудливый час. Еще такой накатит — может, и приду. А все-таки не жди. Облюбуй себе другую какую. Не ходи за мной, мне в другой конец.

Дома рвал и метал, деревенская баба, и так им вертит! Невозможно, противно, унизительно! К черту, к черту ее!

Сел на коня, верхом в участок к образованным своим знакомым поскакал. Но и со свояченицей начальника участка, и с учительницей, молодой горожанкой, не развеселился. Сумрачен был, и сердце томилось нежной, тоскливой любовью к Вирке.

А Васька долго за селом лежал. Темнеть начало. Холодком прояла еще не распаленная, выстывающая к вечеру апрельская земля. Но встать трудно. На теле — как путы. Сердце будто в обруче тесном. Тяжело дышать и немило глядеть на божий свет. Подняться заставил густой хриплый пьяный голос:

— Это што за п-падаль валяется? А?.. Живой? А я думал...

— Это я, дядя Савелий... Отдыхал.

— «Я... я!» Вижу, что ты... Повитухин, что ль, отродыш? Ыгым... узнал. Выродила молодца ведьма ласковая. Ну, что стоишь? Проваливай.

Потом, вспомнив, крикнул отходившему Ваське:

— Кержачку твою с инженером видал... Вздуть за тебя хотел. Не за тебя, а за барина того. Не то вздую,— убью-у! Не ее, а барина. Вальяжный больно, а блудник. Мужик с тоски грешит, а эти с сытости. Н-не люблю! Убью-у!..

Васька вернулся, с тоской сказал:

— Дядя Савелий, дядя! Избей, ей-пра, избей когда-нибудь! Грех от них и обида. Большая обида! Я бы сам избил, да хворый я. Силы нет у меня в руках. Эх, что ж ты сегодня не поучил? Средь бела дня прохлаждаются всем людям напоказ. Э-эх!!

— Взгомозился как! Чужой силой отбиваться охочи. Ну и подлец человек пошел! Чего раскорячился? Уходи! Неохота мне тебя бить! Неохота... Тебя ногтем надо давить... Ну? Могу и побить! Уби-ить могу! А, бежишь, испугался!.. Тоже крепко за землю держишься! А я не держусь, она меня держит... Убью. На этого руки зудят!! Энтих бить буду! Не желаю их тут!.. Девок наших портят... Убью!

Василий бежал заплетающимися, слабыми ногами. Одним прыжком мог догнать его Магара. Но громко сплюнул и пошел в другую сторону.

Через неделю ночью возвращался инженер верхом с участка. Было уж близко село, и он ехал шагом. Поводья в руках чуть держал в тоскливой рассеянности. Не хотелось

возвращаться в большую, пустую и скучную комнату свою при конторе. С утра сегодня томило его совершенно новое ощущенье тоски. Не думал о Виринее, ни о ком, ни о чем определенном. А просто ощущал почти физически груз какой-то на себе. От этого груза нескладная тоска. До жути.

«Заболел я, что ли? Или с ума схожу... А-ах, дышать трудно...»

Объезжал работы. Десятники дивились непривычной его рассеянности и вялому, сгасшему взгляду. Дома один сидеть не мог. В гостях не отпустило томительное ощущенье. Гнал быстро всю дорогу, домой спешил. А подъезжать к селу стал, назад повернуть захотелось. Размяк как-то весь, опустился.

Вдруг лошадь взметнулась на дыбы. Инженер вылетел из седла; на ноги встал быстро и легко. Лошадь неслась в сторону от дороги.

— Стой! Тпру-у!

Хотел кинуться догонять. Но вздрогнул сильно, всем телом, сам — и остановился. Огромный лохматоголовый мужик вырос перед ним. Будто внезапно родился из темноты.

— Раскатываешь? Разгуливаешься? Сукин сын, сволочь! Для разгулки здесь поселен? Штобы девок портить, баб хороводить сюда прислан? А?

Услышав хриплый, страшный, но живой человеческий голос, инженер взбодрился:

— Убери руки, негодяй! Лошадь испугал. Прочь с дороги! Что тебе надо от меня?

И торопливо вынул из кармана черный, короткий, но крепкий револьвер.

— А ну вдарь... Пошибче вдарь! Стреляй! Я те кулаком дам острастку! Учуешь, каково легко убить Савелья Астафьева Магару. Ну?

— Пусти... Пусти-и руку, пьяный черт! Ну-у?

Выстрелил в воздух, но в тот же миг зашатался от удара в висок тяжелым кулаком. Покачнулся, взмахнул руками, заплясала темнота перед глазами. Но на ногах выстоял. Револьвер из рук выпустил.

— А, мерзавец! Драться вздумал?!

Вцепился одной рукой в бороду Магары, рванул с силой, вырвал вторую руку и с яростью стал отбиваться от ударов. Старался дотянуться до земли, чтобы поднять револьвер. Но Магара придавил его и свалил совсем на землю.

— Сильный... ч-черт! Отъелся на хороших харчах. А вот... вот... Еще получи! Отбиваться? Н-нет... от Магары не больно

отобьешься. Что сердце, что рука... н-на! Получи!.. У меня чижолые! А н-ну... р-раз!

Рукояткой схваченного с невероятной быстротой с земли револьвера Магара ударил с силой в затылок инженера. Тот дернулся в живом последнем вздроге, молниеносно и остро ощутил запах земли и какой-то близкой ароматной травы, без мысли, ощущеньем, ярко увидел или вспомнил что-то, о чем надо крикнуть, что надо выдохнуть. Но не крикнул и не дохнул. Остался лежать на дороге недвижный, невидящий, неживой. Опустошенный мешок человечий.

— А, готов! Убил... Еще убью-у! Не с того, што хилой тот просил... Д-да...

Крепко и крупно шагая от трупа, бормотал глухо невнятные слова. Не то каялся, не то торжествовал и грозил. Но шагах в десяти вдруг остановился, застонал, швырнул с силой в сторону револьвер и бросился бежать. В степь, дальше от села. Бежал быстро, но зорко видя все вокруг и слушая темноту напряженным ухом. Как убегают от неволи или от смерти.

VII

В свой срок залегла зима. Деревня завернулась в снега, в короткие буранные или морозные дни, в долгие ночи с томительным тяжелым сном в закупоренных избах.

Порядок зимней жизни мужичьей был прежний. Только мало свадеб играли.

По ночам, когда на высокой горе за селом, в степи за горой, на реке и в лесах творилось холодное торжество сиянья белых снегов и тишины, деревенская улица по-прежнему нарушала это торжество буйством гармоники, песен, женских криков и вдохновенно-яростной брани. Но совсем мало осталось на улице холостежи. Кружили на ней в невеселом разгуле бородатые семейные люди в годах и прибывшие на побывку солдаты.

Было больше драк, лихого свиста, бабьего визгу, но рано затихала гулянка, и девки возвращались домой нерадостные. Гульба не тревожила спящих в домах. Только в школе на выезде пугливо вскакивала с постели новая учительница, молоденькая горожанка. Осматривала болты ставень, крючок у двери и плакала. Да Моконха в своей избе ругалась, вздыхала и молилась. Скорбь и боль отшибали у нее сон. Опять одна зимовала. В острог взяли Ваську, хоть в день убийства инженера и всю ту ночь разбитый хворью Васька лежал. Оправдаться легко было, но сам Василий в перепуге

запутался. На Магару хотел подозреиье высказать, а вышло, что сам Васька на убийство Магару подговорнл. И чем больше допросов, тем хуже. Совсем запутался. В поклепе на Магару стало начальство сомиеваться. Так и умер Васька в остроге завииеиным.

Акгыровцы про Магару и верилн и ие верили. Но ннкто не хотел, чтоб его поймали. Тогда сиова начиется каиитель. Акгыровских н так замаяли допросами. Теперь затихло дело. У инжеиера родных, видно, нет. Никто, кроме начальства, разыскивать убнйцу ие старается. Как умер Васька, иичего ие стало слышно ни про следствие, ни про суд. Только охраиу иа постройке уснлили. Инжеиеры стали тоже опасаться. Зря в поздиий час остерегались раскатывать.

Вирку скоро обелили. Из города прислали как беспаспортиую под здешнний надзор на родину. А теперь, слышно, и документы есть у иее. Родня, понятно, к себе ее ие приияла. Да оиа и сама ие охотилась. На постройке работать стала. Зимой постройка на многих участках остановилась. Но около Акгыровки гору пробнвалн, туииель проводили. В бараках с бежеицами Вирка теперь живет. Шибко гулять начала. Каждый праздиик пьяная и буйио веселая. Между бараками за деревией своя улнца. На ией пляшет, песии поет и с мужиками разгульиымн и с рабочими гуляет. Господ, иа диво всем, ие допускает к себе, хоть многие из них любопытствовать сталн. Сам земский приезжал в кухарки нанимать. Оиа к иему и разговаривать было ие пошла. Силком притащили. Поглядела иа него с усмешкой, пригладнла растрепавшиеся волосы и сказала:

— Ты — иачальиик, тебе сила дадеиа. Только не на меня. На меня, барин ласковый, теперь управы нет иикакой, потому что мие уж все не страшно. Не пойду к тебе. Не застращаешь, не желаю.

Это при тронх мужнках да прн урядиике. У земского краска в лицо пятиамн кииулась. Сам себя в расстройстве за светлую пуговицу дериул.

— Что за околесицу несешь? Я и не думал грознть нлн звать маснльио. Мие кухарка опытная нужна, вот и указалн иа тебя. Прошу прекратнть глупые эти... возгласы. Не хочешь иаииматься, ие иадо! Я думал, ты нуждаешься в работе.

— Работы иа наш горб хватнт. Вашему брату из-за работников за столь верст колеснть не надо. Под боком иайдутся, на слушок самн издаля спииу свою прнтащут. Не ходит ведь хлеб за брюхом, сказывают. А я тебе ие иа работу, а иа усладу...

— Пошла вон, дура! Такая дерзкая, скверная баба! Ты у меня смотри!..

Отозвалась от дверей. Не зло, а так — будто сама с собой говорила в раздумье:

— То-то, говорю, смотреть нечего. Ни тюрьмы, ни сумы, самой смерти теперь не боюсь. А тебя ославлю не по-хорошему. Заступников себе, коль захочу, найду. Видно, медовую больно мать меня выродила: и городские начальники липнут. Не топочи, ухожу!..

В большом расстройстве уехал. Думали: конец Вирке. Сошло. Начальник и тот вязаться с ней побоялся. Или забыл. Слышно, докторицу молодую в больнице облюбовал, с ней утешился. А Вирку для услады в прислуги нанимать еще один барин приезжал. Из дальнего участка, над многими инженерами главный. Строгий, с сединкой, господин настоящий, чистей всех здешних господ одетый. Руки держит так, будто замарать о других людей боится, и голову высоко несет. А к Вирке ласково, с усмешкой в усах, подсыпался. Вирка сразу его не отшибла. Спросила:

— А сколь жалованья положишь?

— Я, право, не знаю... Скажите, какую сумму вы считали бы достаточной? Готовить вы умеете и вообще... моим требованиям, кажется, удовлетворяете. Я люблю хороший стол и аккуратную, чистенькую, здоровую прислугу.

— Это уж как есть. Видала господ-то,— чую, что вам надо.

— Ну вот. Очень рад. Я не скуп. Вам согласен платить двадцать рублей ежемесячно. Ну, разумеется, на всем готовом. Только предварительно я вас попрошу сходить к врачу, нет ли у вас чесотки или еще какой инфекции...

— А семейство ваше сколько человек?

— Я один, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.

— Какая уж там тяжесть, одна сладость выходит. А прежней-то своей стряпке столько платили?

— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь: я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...

— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх ты, лафа бабам! Ну, я гляжу, у черного народу совесть потвердей господской. Жидка она у господ, са-авсем жидка...

— То есть, позвольте... Я не совсем вас понимаю... Как?

— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабу-гулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Нашинскому, из черного народу, совесть не дозволит про эдако дело голосом даже таким договари-

ваться. Вот с того и мутит меия от вас. Эх вы, господа! И в пакости — чисто в святости. Это только иизкий иарод грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Я те разумытую харю твою разделаю. Навек отметииы остаиутся! Я те приголублю, старый хреи! Не крича-ать? Эй, бабы, айдате в эту горииицу! Скорее айдате, поглядеть, как господа... Не бежи, растрясешься, иавоияешь! Шкодить охота, дак ты так и сказывай, а ие сиди с хорошим лицом, чисто хорошей жизни старатель.

Господии после рассказывал, как ои от сумасшедшей спасался. С придыхаиием, сразу теряя важеватую маиеру свою:

— Это удивительио! Положительио буйиое сумасшествие! И притом эротомаиия... Удивительио — в простой среде такая изощрениая... эротомаиия.

В деревию Вирка ие ходила. И деревеиские от иее староиились. Баба такая, что лучше подальше от иее. Еще в какой-иибудь суд да следствие втяиет. При встречах без разговоров и приветствий обходили. Только Аиисья одиа, бабеика отчаяииая, раз из-за иестерпимого любопытства к Вирке в бараки в праздиик прибежала.

В иедлиииые два ряда вытяиутые бараки, похожие иа кирпичиые сараи. Малеиькие слепые окиа иа самой земле. Теперь сиегом чуть ие иаглухо забиты. Отрывать приходится, чтоб ие сидеть и дием в темиоте. Скаты у крыш крутые и остроребрые, как у скворечииц. Рухлядишка домашияя прямо иа воле за бараками валяется. Дворов иет. А поодаль иедостроеииый высокий дом для будущего полустаика.

Пустыми, без окои еще, глазиицами своими иа иоры человечьи пялится, крыльцом без дверей щерится. Около иего иа бревиах сбились кучкой мужики-беженцы и три воеииопленииых в чудиых коротких шииелях, а поодаль — бабы. На солнце в иыиешиий теплый деиь из щелей своих повылезли. Аиисью оглядели прищуреиными от яркого сиега глазами. Между баб живой говорок пробежал:

— Здравствуйте-ко, бабыиьки! И где тут Вирка иашииская живет?

Молодая бежеика, с головой, как колесо, от чудиой иездешией повязки, из платка остреиькое лицо выставила и засмеялась:

— За бараками, с той стороиы пошукай. Где пляс да гуляика, там и живет.

Но Аиисья зоркими глазами уже видала далеко впереди Вирку. У барака стояла. Когда Аиисья подошла, ие услышала сразу. В сугробы, в степь смотрела. Лицо у ией было суровое. Бороздиика меж бровей резко обозиачилась. Будто искала глазами чего-то в сугробах тех. Не иашла и шибко

оттого растревожилась. Шубенка на ней была старая и платчишко на голове потертый, замазанный. Анисье неласковым ответила голосом:

— А-а, здравствуй, коль не шутишь. Чего пришла?

— Ишь ты, как заспесивилась! Поглядеть пришла, как живешь в развеселом-то житье. Чего башку воротишь? Я к тебе с хорошим словом, как бывалыча, а ты рыло в сторону. Другие-то бабы плюются, как кто заикнется про тебя, а я...

— А у тебя слюней мало! Жалеешь? Чего ты, Аниська, прибежала ко мне? Поглядеть да потом языком чесать? Ну, гляди. Не впервой видишь. Какая была, такая и осталась.

— Нет, не такая. Поплоше и злее. Зря ты так-то со мной! Видно, девка, не сладко тебе и тут. Чтой-то ты обряду-то себе хоть не справишь? И в бедном житье ране почистей ходила.

— А кому обряда-то моя нужна? Да не больно много капиталу у меня, чтоб наряжаться. На харч достает, и то ладно.

— Вот, Вирка, с богом-то спорить как! Охальничаешь перед ним, не молишься, не каешься, он и забижает тебя. Нету тебе долюшки, так катает тебя по разным местам. Э-эх, горькая твоя жизнь, баба! Право, горькая. Я позавидовать было шла, а теперь гляжу — плохо живешь.

— А ты больно хорошо? Все под богом плохо живут, Анисья. Каждого своя ржа ест. И который говорит, что хорошо живет, только топырится для веселости, об жизни об своей думку подальше загоняет, штоб не точила. Вот как ты.

— Чего это я плохо? Слава богу, в достатке и в своем угле. Без слезы, без хворьбы, знамо, живой не живет. Разве, может, господа, а наш брат не живет. Ну-к што ж? Я хорошо живу.

— И господа на таких же дрожжах, как мы, всходят. От бабьей да от мужичьей плоти. И у них печенка человечья тревожливая. Плачут и хворают. Как не плакать и не хворать? Только продовольствия себе много захватили, дак в сытом житье живут. Плакать-то плачут, да только от зряшного. Нам бы сейчас на их кус, дак мы бы не плакали.

— А что, Вирка, вот с того я и думаю: будто ты от роду и не дурочка, а по-дурьи все делаешь. Про господ вот... Ведь как сказать, слух у нас в деревне есть, что ты на гульбу охотлива. Дак, по крайности, гуляла бы с умом, достаток бы наживала. Вот и пожила бы в господском житье. Вот из Романовки Мотька-то во город подалась, в хорошем заведении живет, дак у ей платья шелковые, кольцо золотое. Приезжала на роздых, хвасталась. Да и здешние-то, которые

около инженеров кормятся, погляди. Што тебе обувка, што одежа,— завидки берут глядеть! А ты... Посмотришь, и прямо жалко. Ей-пра, жалко. Все одно, коль на то дело пошло, дак, по крайности, с пользой бы. Господа-то к тебе как льнут.

— А ты што же со своим австрийцем без пользы спишь? Тоже взяла бы да наживала на этом деле.

— Ат сравняла! У меня дом, хозяйство не порушены, и на улке петь — пою и плясать — пляшу, а на гумно лежать с разными не хожу. Астриец што ж! Грех мой один. А так я венчанная мужу жена, детям мать и дому хозяйка. И всяк скажет: пакостлива бабёнка, а шлюхой не назовет.

— Зовут. Я слышала, да ты и сама́ слыхала.

— Дак то со зла когда, а все одно мир меня за мужнину жену почитает, кличет по мужу, и я вровень с другими бабами иду. Не то есть грех, не то нет,— еще бабушка надвое гадала. Никто меня за ноги не держал. А если я тебе сама што болтала, дак, может, так, для веселости задуривала. Поди-ка докажи! А твое дело другое: все напоказ. И с Васькой, и с инженером с этим, и теперь. Не хочешь, да видишь. Одна такая во всей деревне, как бельмо на глазу. А на славу на такую шла, на срам перед людьми, дак уж за чего-нибудь, а не дарма. А деньги, да одежу, да домашность заведешь, дак и при твоей жизни другим глазом мы на тебя глянем. За спиной скажем потаскуха, а в глаза: Авимовна. Нет! Нет, Вирка, зря ты на меня косоротишься. Я тебе для твоего же добра советы даю. Другая так с тобой говорить не будет, а у меня сердце ласковое. Я никому зла не желаю.

— Ну, а у меня, Анисья, на эдакую ласку сердце неохотливое. Не жалей и не советуй. Иди-ка, баба, домой, гуляй себе по-своему, а меня не замай.

— Нет, не будет тебе доли. Ох, не будет! Больно уж занозиста. Высоко себя несешь, а все в дерьме хлюпаешься. Стой, стой!.. Еще на словечко одно.

— Еще не все выболтала? Много их у тебя. Такой же дешевый товар, как и ласка твоя. Чего тебе надо?

— Чего ты от господ шибко отбиваешься? Вот я никак не смекну. Желанного одного и середь мужиков у тебя нет. Ай по Ваське мозглявому после время сохнуть зачала, ай тот барин чем шибко изобидел, а?

Вирка скривила губы, глянула в любопытные Анисьины глаза и крикнула злым высоким голосом:

— Уходи, трепалка долгоязыкая! Не тебе на духу буду выкладывать, кого жалею, с чего пропадаю. Ну, повертывайся! И дорогу ко мне забудь. Был час, когда и ты мне мила

была, а сейчас никто не мил. Сдохли бы вы всей Акгыровкой, я бы возрадовалась. Черт меня привязал к вам!

Круто повернулась и быстро в барак ушла. Целый день в углу своем на тряпье ничком пролежала. Баба-беженка, по бараку сожительница, долго на нее глядела. Потом спросила удивленно:

— Когда же ты, красавица, напиться-то успела? Я и не видела, а?

Не дождалась ответа, сплюнула и из барака ушла. Все разбрелись, одна Вирка осталась да трое ребят. Назябшись на улице, на печку забрались, там шумели. Когда Вирка поднялась, старшая из троих, восьмилетняя Грунька, спросила:

— Отрезвела, тетенька? Гулять сейчас пойдешь? Мамка сказывала — купец около барака вьется, все тебя нюхает. А мне чудно! Чего же это он нюхает? Ходит да нюхает!

И засмеялась звонким детским смехом.

Вирка вздохнула и сказала устало, врастяжку слова:

— Ты не слушай, Грунька, чего больше бабы болтают. Не пересказывай мне. Мала еще, чтоб ихними пакостными словами мараться. Ну-к, подвиньтесь, я с вами на печке посижу, погреюсь. Понастроили нашему брату хорому, со всех щелей дует, а от солнышка в земь запрятали.

Грунька подперла щеку рукой и сказала по-взрослому, по-бабьи подхваченные сегодня на лету слова.

— А на улке-то тепло, солнышко нынче уж на весну, веселое...

И другим, живым, своим голосом спросила:

— А чего ты нынче не гуляешь? Ох, и чудно ты песни прошлый праздник играла. Пья-а-ная!..

Опять хохотом веселым залилась. И оба мальчишки, поменьше, вместе с ней. У Вирки тоска по лицу темным облаком, а глаза больше стали нежные. Погладила осторожно пегую девчонкину голову. Самый маленький мальчишка в дреме детской, внезапно сморившей, к плечу ее привалился, передохнул и ровно задышал. Вирка, боясь шевельнуться, чтоб не стряхнуть доверчиво припавшего к ней ребенка, тихо сказала:

— Грунь, про «Золотую зыбочку» сказку слыхала?

— Ну-к, Вирка, тетенька... Ну-к, скажи.

И мальчишка постарше поближе придвинулся. У Вирки от горькой нежности сердце захолонуло. Ласкала детей несытым любовным взглядом и певучим, хорошим голосом сказку рассказывала:

— ...и скучно ей стало, и запечалилась, тишком слезу

лила, тишком тую слезу рукавом смахивала, и вот спрашивает ее...

В эту ночь Вирка гулять на улицу совсем не вышла. Трезвая и сумрачная, рано спать легла. Но долго на тряпье своем ворочалась.

VIII

Еще холодом бело и твердо дышали в степи снега. И в деревне, и в бараках за деревней еще глухи были навалы сугробов перед окнами.

Но дольше и горячей солнце в землю вглядывалось. И с теплой стороны ветер жаждущий стал налетать. Пил снега. Еще не опали, но раздрябли они. Веселей засуматошились воробьи. Меньше лежала, нетерпеливо двигалась в стойлах и слышней свой голос давала скотина. Охотней на волю из жилья выходил человек. Глаза человечьи к небу чаще тянулись. В набухшей облачной серости искали легкую синь.

В праздник сретенья тепел и весел день на землю сошел. Даже отдыхать после раннего обеда мало кто залег. Все на улицу выбрались. Но еще до полдня прокатила по Акгыровке пара тощих от частого разгона земских лошадей. Колокольчик прозвякал. Около сборни замолк. Народ на улице затревожился. Староста, кряхтя, с завалинки поднялся.

— Не то начальник, не то из земства рассказчик. Сгонять поди опять в сборню народ надо. Эх ты, зачастили, прямо роздыху не дают.

И, сердито стряхнув с тулупа налипший снег, неохотно к сборне пошел. А через малое время мальчишки под окнами забегали. Весело в стекла постукивали и звонко выкликали:

— Дядя Силантий, на сходку-у!..

— Тетка Матрена, посылай мужиков в школу на сход. И сама иди! Баб тоже оповестить наказывали!

— На сход, в школу-у...

— Айдате в школу! Из городу начальник высказывать буде-ет!..

Даже к Мокеихе востроглазый, развеселый в рваной мамкиной кофте заглянул:

— Баушка-а! Не спишь? Айда на сход, я всякую бабу зову. Велели, дак чего не звать! И старух зову-у.

— Напугал, окаянный! Базлает дуром. Нешто опять наехал кто?

— А ну да... Чать, про войну-у высказывать будет. Може, с картинками. Сыпь, баушка, в школу скорей.

— Вот сейчас так и посыпала, дурак ты пучеглазый.

Нужны мне твои картинки да пустобрехи городские. Закрой дверь, не выстуживай! Я вот те дам подзатыльника горячего. Нужен ты мне с оповещеньем с твоим.

Но оделась и пошла. И все с ворчаньем, будто нехотя, но в школу шли. Много народу набилось. Дело праздничное, можно поглазеть и послушать. Кержаки пришли. Из бараков гольтепа в школу набилась. Виринея протолкалась молча к окну, в лица встречных не вглядывалась.

Топтались плотной толпой, ругали приезжего из земства, в старостиной избе замешкавшегося. Но ругань вялая выходила, без горячности. Привыкать стали уже к беспокойству наездов господ из города. В начале войны только по волостным селам ездили. А теперь стараются — и в такие деревни, как Акгыровка, наезжали уж не раз.

Только старик Федот настойчивей всех шамкал горькую укоризну:

— Сколь теперь начальников развелось! Беда! И все разного сорту, не подладишь никак. Ране-то знали станового да земского. У их с мужиком разговор хоть крутой, да недолгий. А теперь из этого из земству больно разговорчивый начальник пошел... И на всякое дело особый свой. Агроном там, скажем, скотий дохтур, бабы ездиют воспу ляпают... А мужик все вози, всех катай, ублажай... Што ни дале, то чудней. К чему делу какой над мужиком поставлен — и не разберешь. Теперь из книжки читать, про войну сказывать — опять отдельные начальники. Не вздохнешь, не охнешь без начальнику. Должно, от войны все образованные начальниками сделались.

И, покачав головой, на батожок свой потверже оперся. В тягучую старческую думу об изжитом, оттого уже больше нетревожливом, погрузился. Старые глаза тихо живут. Притушенные усталостью, новых видений не ищут. Дурное и хорошее, их взгляду видеть в жизни положенное, уж отглядели. В бестрепетной тусклости успокоились. Но сердце до конца, пока совсем не заледенеет в жилах кровь, тревожится. От новых забот и себя и всех вокруг оберечь хочет. Оттого, когда пришел и стал громко высказывать худощавый приезжий с вихрастым чубочком над озабоченным лбом, Федот ухом слышал его слова, но думал о своем и часто тяжело вздыхал. Проще раньше жизнь в округе шла. Жили здесь от городских людей, от крупных начальников, от царя — далеко. Горами, логами, буераками, речушками без мостов, лесами низкорослыми, но густыми и верстами степными, лукавыми от них отгорожены. Лихую трясучку летних дорог, внезапную ярость буранов на зимняках только становой с

земским нечастыми наездами осиливали. Оттого разномастный, разноязыкий народ жил здесь под начальством мелким. Под урядником, старшиной и писарем волостным. Правда, от мелкости своей оно было старательно лютым. И даже беспечальные башкиры твердо запомнили сроки, когда надо в волость «темную» (взятку) везти. Хворая глазами мордва научилась издали писаря узнавать. Длиннобородый важеватый кержак и тот по часу нужному сдавал. Табачное зелье, для староверского нюху неспособное, в своем поселке на въезжей волостному начальству разрешал. Только взглядом, в угол сердито отведенным, отмечал обиду сердца своего. Но без этого нельзя. Начальство над мужиком ставится не для услады, а для надсады. Но та надсада, как старенький разношенный хомут, уже привычной была. А теперь, как царь на войну разохотился, во все стороны рукой достал, мужиков на свое дело собрал, еще невиданная колгота пошла. А для той колготы и начальников много понаставили. Сходами замаяли. Докучают шибче станового. Тот дал в ухо, получил за старанье свое приношенье какое из мужицких запасов и дальше ускакал. Дело свято. В голове позвенит или зубу не досчитаешься. Что ж! Зато сразу отмаялся. А на этих и расход идет, и еще подолгу гомозят. Вот такие, как сейчас, все ездят, воевать уговаривают. Ишь вон нажаривает: Сербия да Бельгия. Своей докуки не скачаешь, а он про чужую зудит. Слово к слову ладно прикладывает. Ох-ох-ох, господи батюшко! Народу разного много ты, владыко, расплодил, а земли, видно, мало помастрячил. Все дерутся. Друг от дружки, один царь от другого, под свою руку землю отнять норовит. И мор на людей случается. На Федотовой памяти три больших навалки в могилы было, а все земли не хватает. И на войнах мужичья поубивали много. Считать коль только по своей волости, кто убит, кто от ранenья преставился, кто без вести, в храбрых не сосчитанный, кончился,— длинно поминанье выйдет. А этот чубастенький разливается, как раз про храбрость русскую солдатью выкладывает. Ох, храбры, храбры, а поди храбриться тоже надоело! Смиловался бы царь-батюшко, как ни то подладил бы там за замиренье. Нет, не высказывает, не слыхать про мир!

И как бы в ответ на стариковы думы злой женский голос лектора прервал:

— Это нам уж сколь раз размазывали, про германский-то про плен. И картиночки казали, как он лих. А чего же, как из плену наш народ вызволять — ничем-ничего?

Лектор, перебитый на дрожащей душевной ноте, смолк

и растерянно взглянул на толпу. Но быстро оправился и снова задушевным голосом отозвался:

— Позвольте, я сейчас... Кто-то мне вопрос задал? Я сейчас отвечу. Вот видите, братцы, сейчас меня женщина спросила... Спросила с сердечной болью! Женщина, жена и мать, разумеется, несет на себе тяжесть нашей священной войны. Но когда война необходима для защиты...

Слушатели задвигались. Виркин вопрос разбередил. Прошел в школе не то общий сердитый вздох, не то гул от переговоров. Федот ближе к лектору подался. Ласково речь его перебил:

— Бабенка-то энта глупая в час слово-то сказала, ваше благородье! Бывает так. То-то, мол, бывает. Сдуру ляпнет малолеток или баба, а оно в час и нужным то глупое слово выйдет. К тому я, к тому, не гневайтесь, ваше скородье. Охотятся мужики узнать: про замиренье не слыхать ли чего? Слуху нет ли в городу?

И смятенным разноголосьем надвинулась на лектора толпа:

— Может, раздышку хуть какую объявят?

— У мене старшого, Митьку-то, убили, а сичас опять в письме: Васька шибко подстрелен. Чижало дело-то обертывается.

— Слышь-ка, как называть-то, не знаю, скажи-ко, голубь, игде хлопотать? Способье-то задержали в волости, а мужик-от отшибленный у меня. На войне то есть завалило его! Руками, ногами не владает.

Худая, желтолицая баба с огромным страшным животом на лектора надвинулась. Настойчиво и тоскливо спрашивала:

— Как приходил на побывку, адрест прописал: действующая армия, двести седьмогу полку... А Гришка конопатый оттудова сейчас: нет моего-то... Где искать? Во все розыски писала. Игде теперь искать? А?

Загудели тревожным, озабоченным гулом. Уж отдельных вопросов не мог лектор слухом уловить. В беспорядке врывались отрывочные слова:

— ...мир!

— ...нащет способья!

— ...ерманский город, не сказать мне, как его...

— ...посылку в плен надписать...

— ...сухари Ваньке посылали, не получил...

Ни о победах, ни о пораженьях, ни о ходе войны, ни о численности армии, ни о мощи ее не расспрашивали. Говорили о малом. Каждый о своем. Разбивали расспросами армию

на Митриев, Иванов, Васильев. А большое целое, как чужое, совсем умом не охватывали. Это дело начальников и царя: война, армия, победы, отступленья. А у них — Ванькина смерть, Петрухины раны и скорей бы конец войне. Это свое, кровное, что отдано ими для войны и счет которому в отдельности ведут они. Лектор растерялся. В городе совсем другое настроенье. Там понимают, что необходимо войну довести до победного конца. А здесь тупо галдят: мир, мир, считают изъяны только своей рубахи. Черт понес в это село! Предупреждали, что мордва... и вообще дикари. Вытер платком вспотевшее красное лицо и смущенно начал просить:

— Подождите, братцы... Постойте, я не могу сразу всем ответить. Вся страна стоит под тяжестью войны, но...

Не знал, как закончить сход, как к выходу пробраться. В самое ухо ему звенящий Анисьин голос:

— Эх, кабы цари один на один дрались! Кто осилит, под того и мы. Нам все одно, мы не супротивимся.

Испугался. Вот до каких заявлений дело дошло. Втяпался в историю. За такой сход по головке не погладят.

— Погодите... Прошу вас! Староста!.. Где староста! Надо успокоить сход!

Но вместо старосты на подмогу рослый плечистый Анисим Кожемятов протолкался. Зыкнул:

— Потише, старики! Чего разбазлались! Диво бы — одни бабы, а то и мужичье без всякого порядку налетает. Дайте господину про дело рассказ кончить.

Привычная сдавать перед властным окриком, сдала и сейчас мужичья толпа.

— Постойте, тише! Не напирайте!

— Чего ты орешь над самым над ухом?

— А ну постой! Тише! Погоди!

— Да я разве что? Спросить у знающего человека хотела...

— Уж извиняйте, ваше благородье, коль что не так. Мы народ темный.

И в сникающем ропоте сгас шум искренних и страстных расспросов и заявлений.

Анисим Кожемятов, поглаживая полу праздничного своего пиджака, наставительно закончил:

— Как посчитать, дак всякому война-то не в сладость. А ничего не поделаешь, надо натужиться да одолеть врага. Нечего надоедать: когда мир да скоро ль отвоюют? Когда будет конец — объявят. Мужик для того и родится, чтоб землю пахать да на войне воевать. Богу надо молиться, на армию жертвовать, а зря галдеть совсем нехорошо.

И приободреиный им лектор уже в покорной тишиие закоичил:

— Велики страдаиья иаших солдат, ио иеустрашим геройский дух армии. И иаша победа близка.

Когда распрощался, ушел, иарод сиова загалдел в школе и около школы иа улице. Вирка сердито говорила иа ходу бежеикам из бараков:

— Намолол за три мельиицы, да все ие про иашииску иужду. Да еще про иаше дело и ие спрашивай! Ух, и зло меия забрало. Сгрести бы его тут да иамять бока. Пущай хоть ие под пулей, а под кулаками бы хуть помаялся. Небось сам в солдатах-то ие был, в окопах ие лежал.

Короткий мужской смех сзади всех четырех баб разом огляиуться заставил. Светлоусый, с бритым подбородком высокий мужик в солдатской одежде шел и смеялся. Спросил Вирку с иезлой иасмешкой:

— А ты лежала в окопах? Почем зиаешь,— может, там сладко лежать-то?

— Для таких, как ты, сладко, коль сам тоже ие лежал. Рожа-то гладкая! Видио, в городу в каких-иибудь сапожиых аль в услужеиье спасался. Чего-то и харю-то твою противиую впервое вижу. Видио, ие из иашей деревии. Пошел своей дорогой! Чего в иаш разговор влезаешь?

— Уж очеиь ты спесива да задорлива! Да только без толку. Я иа тебя еще в школе глядел, как ты шумела. А чего шуметь зря? Не мозгляк этот говорливый дело делает.

— А ие ои, дак пущай и ие вередит. Чего ездиют, иарод тревожат, иад мужиком изгиляются? Эх, была бы моя воля...

— Ты бы сама царевать стала. А? Чьего ты роду-то, я тоже что-то ие призиаю. Эти бабы-то, видать, ие иашеиские, а ты ровио здешияя, а ие припомию тебя.

— Вот привязался, липучий черт! Иди своей дорогой! Да за миой гляди ие вяжись. Я эдаких вальяжиых ие люблю. Другие солдаты иа войие маются, а вот эдакие на теплых местах спасаются. Тьфу! Ноги бы тебе переломать с разговорщиком с этим вместе.

Солдат засмеялся и в переулок свериул. А Вирка всю дорогу до бараков ругала его и лектора. Бежеики, поиурясь, необычио молчаливо шли. Их своя забота долила: скоро ль отправка иа родииу иачиется?

Вечером тот солдат к баракам приходил. Вирка с кузиецом акгыровским, плохой славы мужиком, плясала и обнималась. Ои поглядел и ушел. А Вирке сразу скучио сделалось. Оттолкиула кузиеца:

— А иу тебя, рыжий черт! Надоел... Одио, лапает! Жеиа

хромая, не совладает с тобой, а следовало бы морду твою пучеглазую хорошенько набить. Чего к другим бабам вяжешься?

Тот еще больше глаза выпучил:

— Да ты же, Вирка, сама с охотой...

— А была охота, да пропала. Много вас, старателей под легкий-то под подол. Не вяжись больше ко мне, красморожий! Другую игральщицу себе ищи.

Двинула под самые зубы кулаком, из объятий высвободилась и ушла с улицы. А в бараке у них, несмотря на поздний час, Анисья Вирку дожидалась. Глаза у ней были наплаканы и лицо вытянулось:

— А я было за тобой на улку идти собиралась. Да сердце у меня не хочет сейчас на веселье глядеть,— ну, замешкалась, подождала...

Вирка взглянула неприветливо и неласково спросила:

— Чего это ты сегодня расхлюпалась? Аль сударик побил?

— Не говори ты сейчас мне про него, не трави ты моего сердечушка! Ох, Вирка, горе-то у меня какое! Мужик, шибко пораненный, в городу в больнице лежит. За ним приехать наказал.

— В каком городу? Откуда ты узнала?

— А Павел Суслов вернулся нынче, наказ передал. Вместе, говорит, с им в лазарете в Москве их лечили. Павла вылечили, и ничем-ничего не видать, что больно ранетый был, а мой-то Силантий чуть дышит, сказывает. Отпустили домой,— все одно помирать! Пашку-то из города довезли, а моего на отдельной на подводе надо. Приезжать мне за им велел. Ох, головушка моя, ох, сердечушко в лютой тоске! Дождалась, домолилась! Може, только глаза закрыть и доведется мне...

Перешибло слова рыданьем. Но Анисья быстро слезы вытерла, заглотнула плач и снова заговорила торопливо и сбивчиво:

— Завтра чуть свет выезжать надо, а на кого спокину избу и хозяйство? Ребятишек-то куды ни то на время порастыкаю! И корова одна хворая, и за шараборой доглядеть надо. К тебе, Вирка, с докукой: айда подомовничай. Работа-то на дороге у тебя, я слыхала, поденная.

— И вовсе никакой нет. Из бараку-то гонют. Теперь на работу мало народу требуется, да и то мужиков, а баб не хотят. Слыхать, не будут нонешний год дорогу-то достраивать. Силов из-за войны не хватает.

— Да то и я слыхала! Так, сразу-то не сказала, а знала, что тебе податься некуда.

— В чайную на участок прислуживать зовут...

— Ну, уж ты для-ради Христа мне уважь. Дурная ты, а на хозяйство сметливая. А ведь, как сказать, и в горе, а все одно по хозяйству забота свербит. Подомовничай!

— Мужики охальничать будут. Кабы окна из-за меня тебе не повышибали.

— Да я соседям всем поклонюсь, приглядят. Главно дело — корова хворая, а у тебя к скоту рука способная. Кузнеца-то своего уж как ни то ублажи, расстарайся. Аль кто там еще у тебя? Приластись хорошень, попроси: они заступятся.

Вирка усмехнулась:

— Да ладно уж, не учи! Сама отобью, сумею! Ладно, приду завтре на свету, коль уж дело такое.

— Да ты нынче айда со мной. С тем шла. Айда, ластынька, шибко сердце у меня горе жмет. К Павлухе забегём, еще ладом расспрошу, как к мужику-то в городе доступиться. Айда собирайся скорей.

— А какие мои сборы? Добро не укладать, сундуков не запирать. Что мое, все на мне. Эй, Ульяна, слышь ты, я на деревню ухожу. Завтра на участок не пойду с тобой.

Шибко шли. Анисья на ходу плакала, слезы вытирала, вздыхала горестно и по хозяйству своему деловито распоряженья Вирке давала.

За два дома от своей избы Анисья в чужой двор свернула.

— Я сейчас у Павла поспрошаю. А ты иди в мою избу. Ребятишки-то одни. Не знай, спят, не знай, кричат. Астрийца-то ныне я со своего двора прогнала.

Вирка проводила ее взглядом и вспомнила. Так тот солдат Павел Суслов и есть! Мало и давно видала его, вот сразу-то и не припомнила. Царскую службу отбывал, а тут война. Четыре года службы да войны уж три без малого. Семь лет в своей деревне не был. Ну да, он же и есть. Баба у него летом померла. Ребятишки одни, слыхала, в избе отца дожидались. Вон что! Здешний, и с бедного двора, а несет себя высоко как. С неожиданной злостью подумала:

«А от войны, видать, все одно в спокое хоронился. Уж не знай, где это он раненный был. Шибко вальяжный».

IX

Неделя к концу доходила. Анисья из города все не возвращалась. Виринея и во дворе и в избе одна убиралась. К вечеру сильно уставала. Тяжелели ноги, и ныла спина. Но

засыпала с горькой усладой: хоть чужим детям матерью этн дни была, хоть в чужом хозяйстве привычный крестьянский труд, как в своем углу, одна, без хозяйки, справляла. Первые ночи, правда, парии около двора охальничали. Непристойиыми словами Вирку на улицу выкликали. Одно окно камием разбили. Но на вторую ночь Павел Суслов вступился. Не за Вирку,. а за Анисью.

— Мужик на войне маялся, теперь помирает, а вы его хозяйство, сволочи, зорите. На сход вызову, старики в волости вас проучат! Чего? Меня послушают! Ты, коиопатый, тут песни орал да с девками занимался, а мы с Силаитием кажный день встречали: не последний ли? Не сметь у двора его похабиичать! Надо вам эту бабу,— ловите на улице, а тут не срамите. Других солдат подговорю, и без стариков проучат вас за Силантия.

Парии, отругиваясь длнниыми матерными ругательствамн, от избы Анисьиной ушлн. Больше по иочам не тревожили. А кузнеца Вирка сама отвадила. Он ночью у избы Аиисьиной пошумел, а наутро она в кузницу к нему пришла. При людях ие постыдилась, голосом громким и твердым сказала:

— Я, Нефед, гулящая. Кажный хороший человек может меня срамить всяким словом, где ни попадусь. В глаза в мои бесстыжие плевать и смехом похабным бесчестить. Хорошему я всякую обиду спущу, перетерплю, еще поклонюсь да отойду. Только не видать хороших-то! Все больше пакостники, блудникн да злыдни. Дак нечего и от меня хорошего ждать. Пока охота была блудить с тобой, блудила. А сейчас на дух не надо тебя. И ты меня не замай! Горло зубами перегрызу, морду ногтями изнахрачу. Смерти не побоюсь, а тебя от себя отважу. Отвяжись лучше добром! С топором сплю, и топор рука подымет, вот тебе слово мое. Я бесстрашная. Пущай все вот тут будут свидетелями. Как пообещалась, так и сделаю.

Глаза у ней стали ярко-золотыми, жаркими. А лицо и губы побелелн. Кузнец было радостно ощерился, как ее увидал, а теперь попятился. Сроду слуху не бывало, чтобы баба такие слова при людях мужику без опаскн говорила! Чтоб стращала так мужика. В большом и сильном теле у Нефеда пряталась робкая душа. Куражилась только над слабыми, а от грозного напора сжималась. Сплюнул и сказал сумрачио:

— А на кой ты мне нужна!.. Без стыду сама притащилась ко мне среди бела дня. Убирайся, покуда цела!

— Я уберусь, только слово мое помни.

— Уходи, тебе говорят! Лезет сама на всякого мужика! Спьяну, может, и был какой грех с тобой, дак я об этом и думать забыл. Н-ну, проваливай!

Вирка тряхнула головой и ушла. Мужики загалдели:

— Воротить ее, стерву!

— Избить хорошень, чтоб не грозила. Па-аскудница!

— По старому обычаю как с такими ране поступались: избить до остатнего дыханья, заголить подол да на кладбище привязать к кресту. Пускай сдохнет в своей срамоте.

— Ну и выродили себе отродье кержаки со старой-то молитвой!

— Эдакой стервы во всей волости днем с огнем ищи, больше не найдешь.

Но Виркино бесстрашие такое, когда даже цепкости за самую жизнь нет в человеке, невольно смиряло. Обезоруживало мужиков смешанным чувством боязни и восхищенья. Никто догонять ее не пошел. Никто больше в Анисьиной избе ее не потревожил. На улице ночами Вирка больше не показывалась.

С Павлом встретилась на речке. Из проруби воду несла, а он к той проруби шел. Посмотрела равнодушно в его лицо и мимо было прошла.

— Стой-ко, спросить я тебя хочу.

Вирка приостановилась и спросила равнодушно и неспешно:

— Ну? Чего надо?

В эти дни отдыха от тяжелого хмеля, от ругани и шума барака, от радости труда, который считала своим, Вирка о мужиках не думала. И про Павла совсем забыла. Оттого и отозвалась без злобы, без привета и без вызова.

— Анисья приедет, ты как? Опять назад в барак уйдешь?

— В бараке-то место у меня, видишь, не откуплено. Рассчитали с работы. Может, в участок, где господа есть, служить. Может, в город подамся. Запрет-то с меня снят теперь, и документ есть у меня. А тебе что?

— А ко мне не поохотишься жить прийти?

Вирка посмотрела прямо и пристально в его светлые, спокойные глаза.

— Хорошей бабы-то разве не найдешь? Жениться тебе надо. У тебя дети, свое хозяйство.

— Женюсь еще, коль пригляжу для себя. А хозяйство невелико. Лошадь и корова. У людей кормились без меня. За прокорм заплатил, пригнал. Вот и все хозяйство.

— Дак и один с девчонкой управишься. Не такой достаток, чтоб работницу кормить.

— Без бабы нельзя. Женюсь, тогда и без работницы обойдусь.

— Девчонка у тебя большенька. Поди уж двенадцатый год аль боле? С ней управишься. Эдакая уже вполне схозяйствует.

— К тетке в город отправлю ее. Учить хочу. Два парнишки малолетних со мной только останутся.

— Ишь ты, тороватый какой! Денег, видать, много нажил? Девчонку учить! Уж хуть бы мальчишку, а с девчонки какой толк! Учи не учи, все одно под мужа пойдет, не сама голова.

— А уж это я по своему разуму. Как хочу, так и поставлю. Ты про себя говори. Неохота, что ль, ко мне? Так трепаться-то лучше?

Вирка сердито сдвинула брови.

— Не больно зарюсь на нежирный-то твой кусок. Поди-ко я баба бывалая. Знаю, что жить в избу к себе не на одну дневную работу зовешь. А ночью, чать, ублажать себя заставишь. Ну, а я гулять — гуляю, когда захочу, а за кусок аль за подарки — на это дело меня не укупишь. Не пойду. Ищи другую.

Поправила коромысло на плечах и пошла.

— Погоди!

— Ну, чего еще?

Павел помедлил, поглядел на нее и сказал просто, хорошим голосом:

— Зря ты, баба, все назло себе делаешь. Где лучше — не надо: я, мол, возьму да в самое худо нырну. Слыхал я все про тебя. Говорить много неохота мне, а вот: ты работящая, не вовсе истаскалась еще. Живи и работай по своему природному делу. Даром кормить не стану, я не купец, не барин. А за работу накормлю. Тем, что и себе поесть добуду. Насчет приставанья, ночного дела,— не зарекаюсь. Я молодой еще, ты молодая, рядом жить будем, как чать не распалиться? Но только говорю тебе: не снасильничаю. Не захочешь — не надо. Только уж, это тоже не совру, с другими мужиками, пока в моей избе живешь, тоже чтоб греха не было. Живи тогда сухо, спасайся. Для себя неволить не буду.

— Своя пакость не пахнет, чужая смердит.

— А уж это так. На другое я не согласен. Не стерпишь — уйдешь, не привязанная. А все хоть отдохнешь. И мне без бабы никак нельзя. С детями ты ласковая, я видал. Ты срыву эдак не отказывайся. Подумай ночче, а завтра скажешь.

Вирка мотнула головой. Потом тихо сказала:

— Люди смеяться иад тобой будут. Много тут шумели про меия.

— А с того, что сама ты того боле шумишь. Поживешь тишком, дак люди к тебе потише будут. Я вот гляжу да думаю, что и об грехе своем ты больше шумишь, чем грешишь. Миого трепалась-то?

— Нет. С бежеицем с одиим, так на людях только со зла, а к себе ие допущала. А с кузнецом вот правда. Только миого я охальиичала: пьяная иа улице валялась и перед народом... иехорошо с мужиками озоровала. Да ты что меия, чисто поп иа исповеди? Тьфу! И я-то расслюиявилась... Убирайся от меня, кобель ласковый! За тем же за делом ко мие, как и все, а с присловием каким! Тьфу! Тьфу! Тьфу! Провались, окаяииый, хуже всех стервецов ты стервец!

Шибко крутым подъемом от речки шла. Тяжести полиых ведер не чуяла. Сердце колотилось в груди, и редкие у Вирки слезы глаза застлали.

И иочью плакала.

Анисья вернулась домой с побледневшим румяицем и иепривычио тихая. Лошадь во дворе распрягла сама, покупки в избу виесла. Вирку про хозяйство расспросила. И только тогда села на скамью у стола и подозвала детей. Стала их обнимать, гладить и голосить с положеиным причитаиьем:

— А и деточки, сиротииушки, да и иа кого же спокииул вас родитель ваш, светик ясный Силаитий Пахомович! Ой-й-ой-ошеиьки, не ждала, ие гадала, отколь и когда иапала на сердечушко темна ночь. Голубь белый, желаниый, соколик мой, дорогой супруг Силаитий Пахомович! Ходят иожеиьки мои, глядят глазыиьки, а до тебя ие дойдут, ие увидят тебя боле, не приспокоятся. Ушел от супруги от своей, ушел от родимых малых детушек, ушел — и ие будет иазад. Залег в сыру землю-матушку, во чужом во далеком месте и иа погосте ие иа иашииском. Накрепко залег, принакрылся землей, призаперся крестом,— ие встаиет, ие взглянет, ие покричит боле, ие приластится. Отходили его резвы ножеиьки, отработали ручеиьки, отглядели ясны глазыиьки. Ой, тошно мне, тошиехонько и не мило глядеть иа божий свет. Закрутите и меие в саваи смертный белы ручеиьки, призакройте глаза, положите с им в землю-матушку. Не березыиька в поле одииошенька трясется-качается, ветру жалится, а супруга твоя, вдова горькая, оземь бьется бедной своей головушкой, кричит, выкликает тебя, соколика, а твово голоса не дождется, не выпросит. Замолчал навек, успокоился...

Долго голосила. В ярких цветистых словах, в зауиывном вое, в обильных слезах растворила скорбь, всю печаль и за-

боты вдовьей жизни высказала. Бабы в избу набежали. Когда иссякли слезы и слова, Анисья подробно рассказала про смерть Силантьеву, про город, слухи про войну. Потом тесто для поминок ставить стала. Хлопотливо закружилась по избе.

Виринея во дворе поила скот. Подумала о смерти Силантьевой. Вздохнула:

«Каждого ждет час, и никто не знает когда. Может, завтре вот я...»

Вдруг необычайно отчетливо, будто по-новому услышала мычанье коровы, живую возню свиньи рядом в хлевушке, ощутила запах навоза и снега и свое живое, горячее тело. Черным, холодным крылом в мозгу вдруг мысль: как же, как же это? Сразу застынут жилы, остановится кровь и уйдет все живое из глаз? Будет мычать корова, будет ворошиться свинья, в свой час согреет всех солнышко, а она, Вирка, будет лежать в земле...

Сильный страх встряхнул дрожью все тело. Бросила ведро и на свет, во двор быстро выбежала. Дышала так жадно, будто правда от смерти сейчас высвободилась. И до конца дня ощущала ясно и радостно крепкое тело свое. Думала ночью:

«И скот, и люди, и трава — все на земле на смерть родится, ну те хоть думой не маются. А человек обо всем думает, из-за всего старается, чтоб крепко да надолго. И короток живой час у людей, а мы еще сами себя тревожим, неволим, сердечушко свое травим».

Утром рано постучала в окно Павловой избы.

X

Павел вошел в избу как хмельной. На лице улыбка растерянная и глаза как пьяные. Вирка удивилась. Месяц доживала о бок с ним, ни разу пьяным не видала. И от людей слышала: непьющий.

— Ты что, Павел? Выпил, што ли, у кого?

— Староста из волости вести такие привез, что все мужики, кто слыхал, чисто пьяные. Царя отменили!..

— Отмени-или? А как же? Другой, што ль, какой?

— Вовсе отменили, совсем без царя живем.

Вирка опустилась на скамью:

— Ровно на шутки ты, Павел, не охоч...

— Да никакие не шутки. Пакет староста из волости привез. За учительницей послали, сейчас на сходе вычитывать будет! Никакого нет царя! Один отрекся, другой отказался,

а глядеть — посшибали их всех. Завтра в город поеду, все хорошенько разузнаю...

И вдруг добавил, будто невольно в радости открылся:

— Я-то знал... Ждали мы этого. Там, в городе, еще унюхали. Ну, здесь с двоими тишком разговаривали. А слушай, Вирка, мужики-то не испугались. Право, я диву дался! Нисколько не испугались, сдивились только: как же это, царя осилили?

— Да у нас глухо, все одно под кем жить, а по другим деревням поди воют и боятся. Ты нашему народу, вот мне хоть, лучше не про царя скажи, а становой как? Останется? Нашинское-то начальство прежнее будет?

— Да нет! Становой-то сбежал, а урядника в подполе сгребли.

— Вре-ешь?! Ну, вот это диво! Павел, это как же? Ну-к, где платок-то мой? На сходе-то когда вычитывать станут?

Народу в школу столько набралось, как никогда еще не бывало. Стояли на окнах, в сенях, у школы густой толпой.

Молоденькая белесая учительница слабым и дрожащим от волненья голосом читала:

«...признали мы за благо отречься от престола государства Российского...»

В толпу доносились неясно только обрывки слов. Мужики задвигались. Один крикнул:

— Не слыхать! Не разбираем ничего. Мущине отдай!

И толпа подхватила:

— Пускай мущина грамотный какой прочитает!

— Ну, знамо дело! Какой у бабы голос! Только взвизгать может. А ясно, громко где ей выговорить!

— Да кабы еще деревенская. А у этой «ти-ти»...

— Городской жидкий голосишко!

— Айда, который у нас грамотный?

— Солдатов, солдатов вперед! Где солдаты? Они разберут!..

— Да и то впереде! Где им теперь стоять! Впереде и стоят.

— Пущай Пашка Суслов. Он шибко грамотный.

— Павел! Павел! Игде Суслов-то?

— Айда, вычитай. Ну, от этого услышим, глотка широкая.

Павел, приподняв плечи, со строгим лицом, зычно и отчетливо стал читать запоздавшие в Акгыровку манифесты и газеты. Долго читал. Все время напряженная тишина стояла в классе. Плотной молчаливой стеной больше часу стоя-

ли мужики и бабы. В такой тишине в церкви никогда не стояли. Расходились тоже необычно тихо, с приглушенным разговором. Только молодой безбровый солдат с девичьим лицом перебегал от одной кучки людей к другой и захлебывающимся голосом говорил:

— Названье «нижний чин» отменяется. Теперь почетное званье — солдат! Нижний чин — нельзя! Какой тебе нижний? А хто верхний? Нету больше нижнего! Эх-х, я в Романовку съездию. Энтот, Ковыршина Алексей Петровича сын, в прапорщики вышел, в офицеры. Вместе на побывку в одном вагоне ехали. Я ему говорю: «Степа, дай закурить». А он мне: «Я тебе не Степа, а офицер теперь, а ты — нижний чин, дисциплины не знаешь!..» При всем при вагоне я как скраснел тогда! Нарочно съездию. А ну, скажи, мол, я теперь хто? Нижний чин... твою мать, нако, мол, выкуси! Был нижний чин, да весь кончился.

В эту ночь Павел с Виркой долго не спали. У них была общая постель. Тогда, как пришла жить к нему, спросил он ее, как спать укладываться собиралась:

— Ну, как ты? Хозяйствовать только пришла аль совсем, как к своему мужику?

Вирка помедлила ответом. Потом просто и тихо сказала:

— А ничего. Поживем вместе и поспим вместе. Только нехорошо как-то перед Анюткой. Большая уж она.

— Она уж спит.

— Все одно нехорошо. Я вот девчонкой в первый раз как мать с отцом заприметила, с чего-то совестно и туго так дышать мне стало. А я совсем чужая, и слух про меня нехороший. Обидно ей за отца будет. Первые-то обиды живучи. Погоди, приобвыкнет малость ко мне.

Но на ласку Виркину Анютка не поддавалась. Враждебными глазами за ней следила. На вопросы Виркины или совсем не отвечала, или бранью отзывалась. Когда увозил ее в город отец, она повернулась на дровнях и посмотрела на провожавшую их Вирку. Таким недетским, ненавидящим взглядом посмотрела, что у Вирки долго сердце щемило. И Анюткину детскую злобу как самое больное, как кару за грех своей жизни в сердце приняла. Пятилетний Семка и трехлеток Панька скоро привыкли цепляться за ее юбку, как раньше за мать цеплялись. Она их холила на диво другим бабам. Анисья при встречах смеялась:

— Мы и то толкуем, чтоб все вдовцы не женились, а гулену неродящую в матери детям наймали. Старательные попадают!

Издевались над Виркой недолго. Словами зря не сорил

Павел, ио слова зиал веские. Оборвал одиу, другую бабу — и притихли. У Вирки взгляд спокойией стал. Но как-то точно сблекла оиа в тихости. Говорила мало и часто подолгу задумывалась. С чего сердце в человеке такое несытое живет? Что ии подай, редкий-редкий раз взрадуется. А то все ие то, все иедохватка, горчит чем-то радость. Павел спокоеи, иа работу ие леиив. Большой грамотиости человек. Оттого, хоть бедеи, а люди ие помыкают им. Побаиваются. И Вирку жалеет. В ту первую иочь, как Аиютка уехала, с иим спать Вирка легла. Он так ласково с ией обошелся, что Вирка сдивилась. Даже Васька ие смог так бережно и как-то чудио с нехорошим по-хорошему подойти. Словами Павел ие иежил. Только и сказал тогда с горячим вздохом: «Милка ты моя!» А все же как-то, как с жеиой, прошеиой, молеиой, к первому к иему в постель легшей, а ие как с гулеиой залапаииой. Вирка и обрадовалась, и смутилась как-то. Смущеиье радость съело. И с того самого дня — как виноватая. Будто чужую обряду иадела тайком иа себя. Увидят — со стыдом, с поиошеиьем сдерут. От этого между Павлом и Виркой все будто что-то стоит. Обозлилась раз, взяла иапилась, как бывало. Пьяиая иочью долго кричала:

— Чего ты себя перед всеми, как царь, иосишь? Думаешь, я ие вижу. Думаешь, больио я уж обрадела, что при себе держишь? Противиа мие харя твоя зазнаистая, повадка вся твоя тихая. Уйду завтра! Глядеть иа тебя ие хочу.

Ои спокойио расстегиул ремеиь и погрозил ей:

— Замолчи, а то выдеру, как собаку. Глядеть иа пьяных баб ие могу, блевать охота! Ложись иа печку и больше ие верещи. Отрезвеешь, тогда поговорим. Может, и сам выгоию.

Голоса ие повысил, ио сурово и отчетливо сказал. Глаза встретились. Светлые его глаза потемиели. Но ие разгорелись жаром, как у Вирки, а будто отвердели, без блеска сделались. И Вирка первая опустила свои. Наутро долго маялась, собиралась уйти, но ие ушла. А Павел, как обычио, говорил с ией, о чем дело говорить выходило. И иочью в первый раз на плече у мужика Вирка плакала:

— Я и сама ие зиаю, как мие с тобой жить... Вот когда так, как сейчас, согласиа иоги твои мыть да воду эту пить. А когда тошио мие с тобой, скушио, и убежала бы я от тебя, только бы ие видеть.

Ои отозвался тихо:

— Не мудри да ие дури. Живи и живи. Работу справляй, детей моих обихаживай и об себе старайся. Ну, спать я хочу. Хватит разговаривать-то! Сроду с бабами так ие валандался. Спи!

Так и жили. Будто дружно, а не вплотную. Долгих разговоров не разговаривали. А ночью и вовсе. На поцелуи горяч и ласков, а на слова скуп. Но сегодня, лежа рядом, долго проговорили. И Павел больше, чем Вирка. Про город, про царей нехорошее, что узнал в городе, рассказывал. Про всю жизнь. Отчего трудный век человечий для бедного, для низкого на земле и совсем лих. О мужиках говорили. Вирка слушала его слова, как песню на близком, родном, но все же не на своем языке. Звуком, напевом трогает, а слова не все поймешь. Оттого еще слушать и слова понять охота. Но днем опять мало с ней разговаривал. Потом в город поехал и целых две недели проездил. Прохарчился в городе. Пришлось овцу, которую было завели, продать. Вирка сердилась, но ему сказать не посмела. Не жена — на срок взятая хозяйка! Пусть как хочет. Опять друг от друга будто подальше подались.

XI

До самой весны суматошился по-новому народ. Сходы стали «митингами» называть, а мир «товарищами», а то «граждане». Слова новые по новости звонки выходили, как звякали: инструкции, резолюции. Учредительное собрание. Сперва охотно собирались, с горячности шумели. Потом уставать мужики стали. Выборы да съезды, а земля к посеву готовиться велит. Мало-помалу отставать от сходов начали. Да на деле, кроме выборов на всякие должности, ничего не переменилось. Товары в лавке на участке еще вздорожали. Еще меньше стало в продаже нужного для мужика. Гвоздей во всей округе не достать, и дорога соль. Земля, как была, в одних руках густо, в других маловато, а то и совсем пусто, так и осталась, а от колготы на сходах голова трещит. Старик Федот, постукивая батожком, сказал на одном сходе:

— Чего мы кажный праздник, чисто обедню, сходы собираем? И в будни почасту гомозимся на собранья на эти. Телеги ладить надо. Земля-то уж повылезла из-под снегу. У правильного мужика об земле на сердце-то зудит, а мы то да се, да епутатов выбираем. Солдатье в деревню навалило, а про мир не слыхать. Кабы опять не угнали перед самой перед пахотой. Айда слухайте, старики, мой совет: понавыбирали мы тут всяких комитетов. Пущай этот за старосту-то прежнего Пашка Суслов один на все отписывает. А насчет солдат старается, чтобы опять не забрали. И епутатов всяких на съезды сам назначает из зряшных из каких. Кому об земле да об хозяйстве заботы нет. А дельные-то руками и ногами отбиваются!

И взвалили все иа Павла. Целыми диями в школе был. Господ из города еще больше иаезжать стало, ио сходы собирались жидкие. Только солдаты иа короткий час замиреиья требовать к разъясиителям из города, которых «ораторами» звать стали, приходили дружио. Но до коица разъясиеиий ие дослушивали. Бежеицы в бараках и Нижией Акгыровки бедиота без сходу и без уговору каждый праздиичиый деиь у кузиицы собирались. Галдели долго, бестолково и глухо о земле, о самосильиых жителях с большим хозяйством, о том, что в других местах хоть у помещиков землю бедияки отобрали. А тут иичем-иичего! Земского иачальиика хутор — и тот трогать ие велят. Охраиу прислали. На Павла Суслова косо глядеть стали, хоть вровеиь с иими достаток у иего. А побогаче люди, кержаки, с почетом, с зазывом к иему заходить иачали. Ои похудел, потемиел, домой возвращался злым. С Виркой сквозь зубы разговаривал и к ребятам иеласков стал. В одио воскресеиье очеиь раио подиялся, собрал мальчишек и велел иа сход скликать:

— Не отставайте до тех пор, пока ие пойдут. Павел, мол, иужиое дело выскажет.

И когда собралось хоть ие полио, а порядочио иароду, громким и решительиым голосом объявил:

— Вот вам, мир честиой, товарищи граждаие, все бумаги, разъясиеиья, положеиья всякие. Вот и сельский писарь иашииский с иими, как и до революции был и при мие состоял, остается при деле. А меия увольте. Нет моего хотеиья иа это дело.

И сколько ии галдели, ии просили, твердо иа своем выстоял:

— У иас с солдатами другие мысли.

Старый кержак крякиул и громко спросил:

— С ружьем землю отбивать будете?

— А это уж там поглядим, только я всем здешиим ие коиовод. Поближе которые мие, к тем подамся.

Кержак зло отозвался:

— Какая ии есть суматоха, а за порядком следят. У кузии гляди ие иагалдите себе чего иа шею. Слыхал я. От войиы согласиики твои здесь хороиятся. Зиаю, миогим срок отпуску коичился, а которы и совсем без отпуску.

Солдаты загалдели:

— А ты иад иами доглядчиком?

— Сам, старый хрыч, подайся иа войиу, коль охота больио.

— Мы проливали кровь! Хватит с иас!

— Коль иавредишь — гляди мы тоже острастку найдем.

Долго шумели. А потом все солдатье сразу ушло. На место Павла Суслова кержаки своего поставили. Павел со светлым лицом домой вернулся. Ласково Вирку по спине хлопнул:

— Разделался с одним мирским делом — за другое примусь.

Виринея засмеялась:

— Не терпит печенка! Шуметь охота. А я как глупым разумом гляжу, да думаю — какая то́ свобода? И войну не кончают, и земли не дают, и богатеи пузом нашего брата все зашибают. Уж трясти, дак до корню трясти. Я радельника-то своего, дядю Антипа, встрела, дак не удержала слово: готовься, мол, дядя. Добро забирать к тебе придем. Равнять, дак равнять.

— Ну? Он чего?

— Выругался нехорошо, и глазами — как волк. А тронуть не посмел. Тут, я гляжу, хоть больно перемены жизни у нас не видать, а все время не то. Ране бы сгреб дак гляди и душу вытряхнул бы. А теперь шибко от меня подался.

Оба засмеялись. Павел ласково, по-новому как-то Вирке в глаза заглянул. Сказал:

— А ты мне, пожалуй что, не только по хозяйству, а и в других делах хорошей помощницей будешь.

Все чаще наезжали из города учителя, агрономы и даже ученые барыни высказывать про Учредительное собрание и про всякие партии. Книжечки, листики раздавали. Мужики к Павлу с теми книжками заходили.

— Ни хрена не поймешь! Ну-к, гляди, как тут про землю обозначено.

Павел горячо за дело взялся. В партию большевиков стал народ приманивать. Порядочную кучу сбил. Солдаты почти все. Даже из богатых дворов мужичьих. С постройки народ гуртом. А мужики акгыровские бедного состояния разбились. Которые за Павлом, которые в школе у учительницы в социал-революционеров записались. Тоже много вышло, больше даже, чем большевиков. У Кожемякина состоятельный народ собрался, к господской партии тянул. Кадетами называли. Споры большие между народом пошли. До большой драки даже дело дошло один раз. Социал-революционеры с большевиками у кузницы подрались. С уханьем, с тяжелой кулачной надсадой бились. Троих в лежку уложили. Но отдышались, ни один не помер. А раззадорила на ту драку Виринея. Отход от Павла мужиков, которые раньше около него сбивались, приняла как личную Павлу обиду. Сгоряча прибежала в школу, когда там кое-кто из них был. И

с большой страстью, сильным голосом стыдить начала:

— Куды лезете? Воевать не надоело? Солдаты чуть передохиули, а сколь накалечено! Вояку-то главиого, Николашку, сдвинули куда следует, а вы дуром в тот же тугой хомут, только с другой шлеей. Э-эх, мало вас нужда, видать, забирала! За землю держитесь? А кто на земле хозяевать будет, коль войиа не скончится? Кто войиу коичать хочет? Большевики, только они одии и стараются. А вы... до победиого конца! Гляди дадут вам коиец. Расшеперились, а сами на смерть лезете.

За больиое зацепила, ио оттого еще больше разгневались. К ученым бабам, мужикам, про общественные дела разъясняющим, примыкать уж стали. Но чтоб своя деревенская, да еще с зазорной жизнью иедалеко за плечами, учить пришла...

— Ах ты, стерва... Чего еще разбирать-то могёшь?

— У большевиков все общее. Бабы, сказывают, общие будут, дак вот и охотится по прежней закваске!

— Чего с ией долго растабаривать! Сгребай, поучи! Трое наскочили бить. В ярости с иеобычайной силой от троих мужиков отбилась. Царапалась, кусалась. Хоть с разбитым в кровь ртом, с подбитым глазом, с ноющими боками, но живая и некалечеиая вырвалась. А мужики, раззадорившись, к кузнице пошли. Там и произошла жаркая схватка.

Павел ругал Виринею, плевался, а потом смеяться начал:

— Вот дак оратор! Шибко ладошами били... только по ораторовой по морде. Все-ем собра-анием...

— Не хайли! А то я хоть и подбитая, а и на тебя кинусь! Что ж что баба, у меия тоже в голове-то теперь ие только об домашности дума. И сердце кипит. Дураки-то какие, ах! За войну с другими...

Долго иа деревие Вирку бабы дразнили, как она мужиков учить ходила. Анисья даже плюнула с сердцем при встрече:

— Думала я все-таки, што толк в тебе есть, не вовсе дурная. А теперь гляжу: порченая. Совсем порченая. Не то, дак это, а иикак ие живет в лад с правильными людьми.

Вирииея засмеялась:

— Что били меия, это, правда, зазорно! Вспомию, краска лицо жгет. А все одио: за что били, то еще попомиите. За правду били, за жалость к нашему мужичьему положеиию. У меия сердце распальчивое, но тут я ие шибко долго гневалась. Не от ума били, а от темности от нашей. Вот погоди, венчаться на красной горке думаешь, мужика к себе в дом берешь. А не осилят большевики, опять и другого иа войну сдашь.

— Не каркай, ведьма! Не стращай! Солдаты все приходят домой. Один за одним разбегутся, и без твоих горлопанов дело изделается. А то поровну хочут. От одних отца с матерью ровны-то не родятся. А которы получшай живут, поболе работали. Тьфу! Заплевать бы тебе все глаза твои бесстыжие. Смеется, пялится... И куды лезет. И мужики-то поумней ни про какие партии слушать не хочут. Так, пустельга озорная занимается. А тут баба влезла. Наше вам.

И на ходу все плевала в Виркину сторону. Но что Вирка ведьма — сама уверилась. Вскорости после разговора с Виринеей новую полицию из городу прислали. Солдат в волость сгонять, чтоб назад в армию отправить. Полиция-то ни с чем тайком ночью обратно выбралась. А все же волненье пошло.

Пришел час, земля к себе мужиков затребовала. Сгасли в Акгыровке споры и разговоры. В жильном мужичьем труде про всякие перемены забыли. И малоземельные и батраки на чужом поле по-старому со всем соком, со всей силой в землю ушли. Брошенным без засева малый его надел только у Павла остался. На крестьянский съезд в уездный город согласился. От волости послали. И до самой осенней уборки жизнь в Акгыровке старым порядком шла. А осенью взбаламутились снова. Про выборы в Учредительное собранье шибко загалдели. Павел надолго в волостное село перебрался. Совсем отшибся от хозяйства, и лошадь продали. Последний запас хлеба доедать стали. Вирка по людям работать опять ходила: ребят надо было кормить. Хоть корили ее, но на работу брали. Коль хорошо для хозяйства старается, и сатану наймешь в жаркую пору. Павел опять в выборные пошел. Листки принимать для Учредительного того собранья в окружную комиссию. И это новое слово уж почти все в деревне узнали.

Поржавели листья у деревьев, стала стынуть земля. Солнце ласково тужилось, давало тепло, но уж чуялось, что не то оно, как летом. Смирное, без жаркости. И в воздухе печаль. Сняли хлеба. В осенней стрижке своей печальными стали поля. Павел из волости в Акгыровку приехал, листки с номерами привез. Много номеров, всех и не упомнишь, даже башкирский русским дали. В волость в назначенный день везти, в ящик складывать. Сначала шумели мужики, что не будут те листки отвозить, мытариться. Но опять суматоха за сердце забирала. Война все не кончалась. Из-за земли спор с башкирами пошел. Акгыровка на арендованной у башкир земле. Оттого и под названьем нерусским, под башкирской шапкой, ходила деревня. Ак-гырь — белая лошадь.

Белолошадовкой надо бы звать. Аренда кончалась. Башкиры грозили землю отобрать, меж собой делить. И деревню русскую обещали совсем уничтожить. Жатву с горем и с боем снимали. И про войну, и про землю, мол, решит Учредительное собранье. Оттого, как близко время ко дню выборов подошло, затревожились. Стали списки разбирать, какой к чему. Один только можно опустить — выбирать надо. Бабы к Вирке забегали, чтоб разъяснила, какой листок опускать:

— Уж скажи, касатка! Как ни то помоги! Сперва было ровно совестно. Куда бабам лезть? А теперь мужики сами заставляют, а што к чему — не рассказывают.

— Вирка, какой из этих листков на конец войны? Ну-ка расскажи!

— Слышь-ка, мужик велел мне перьвый опускать. Мы, мол, с хорошим достатком, наш номер перьвый. А я к тебе тайком: сын у меня еще не вернулся. Ты мне скажи, какой большаковский-то. Я его тишком суну.

— Пятый, тетка! Суй пятый. Против вашего брата он, а все одно — суй. На конец войны он.

— А пускай против, там разберемся. Сынок-от бы хоть вернулся. У отцов сердце твердое, а мать как замается, дак не то листка — ножа вострого не побоится. Пущай что хочут делают, только бы живой воротился.

Бабы горились, что цифирь разбирать не умели.

— Какой он тут пятый, разве упомнишь с непривычки. Другие-то изорвать бы, мужик ругается. Он за третий. Ну-к, Вирка, капни маслицем, который пятый. Я его и положу.

— Павел сказывал, выкидывать будут меченые-то.

— А небось не выкидают. Много ль грамотных? Все пометят. А ты легонько, чтоб сгоряча не увидали. Вот игде-нибудь в уголочку.

И Вирка капала. Помечала малой отметиной.

Ясный, ведреный, весь позолоченный день выдался, когда подводы из Акгыровки в волость двинулись. Длинной цепью по дороге телеги. В них мужики и бабы в праздничных полушалках. Детные с грудными на руках.

Волость — деревянный дом с высоким крылечком, на выезде села, почти в поле, окружен подводами был. Как табор цыганский, шумливый и пестрый. Крыльцо серело солдатскими шинелями.

В большой горнице, где на стенах висели пустые рамы от портретов царя и царицы, большая пыльная икона и новые приказы, стоял длинный стол. Сбоку около него деревянный

крашеный, из города прислаиный ящик. За столом, с деревяииыми от иапряженья и важными лицами, сидела комиссия. Посредиие председатель, учитель волостиого села. У него был тик и прыгала левая бровь. Но разговаривал он внушительио. Все время делал указаиия, как подходить, опускать. Лишиие расспросы обрывал:

— Раиьше иадо было иа собраиье хорошеиько слушать.

Павел, красиый н потный, ио с уверенным и спокойиым взглядом, у самого ящика сидел. На улице и иа крыльце стоял шум разговоров, восклнцаиий и смеха. А в гориице, где ящик, стояла тишииа. Нарушали ее только подходившие к урне. Мужики подходили поспешным шагом, супили брови, опускали листок в молчанье. Бабы со скоифужеииым смешком, с прнсловьем. Сиачала молились в угол иа икоиу, потом уж оглядывалн ящик и дрогиувшей рукой долго толкали листок в отверстне. Почти каждая спрашивала:

— Куды класть-то? В этот в самый? А как класть-то?

Разбитиая, смешливая солдатка опустнла лнсток и, сверкнув смеющимися глазами, сказала:

— Баба и та в счет пошла. А ну, бабы, не подгадь, кладн за пятый!

Учитель серднто крикнул:

— Агитация у ящика запрещена. Опустила и уходн.

— Чегой-то? Ты больно-то ие орн, отошло ваше время орать-то. Пятый самый правильный.

Крепкотелую, но слепую старуху ввели под руки две молодые бабы. Она, шаря кругом невндящнмн, неподвижиымн тускло-синимн глазами, спросила:

— Где икоиа-то? Чтой-то сбилась я в углах с перепугу-то.

Перекрестилась истово н громко, торжествеиио сказала:

— Помогн господи, ие в зло, а в добро. Допусти постараться в дело!

Поклонилась поясным поклоиом н позвала:

— Ну-к, Марька, веди, где тут ящик-то? Куды совать, направь руку-то мою.

Председатель завознлся на стуле н крикнул:

— Нельзя, иельзя! По закоиу лишеиы права голосовать. Слепые ие допускаются...

Старуха властио оборвала:

— А ты что за человек, н какой такой закон? Бог обидел, н люди обидеть хочут? Я листок за десять верст пешком иесла... И я сыиовей для войиы родила, и я иад землей тужилась, а мне нельзя! Кажи, Марька, куды опускать. Не может ои не допускать меия!

— Но я ие имею права. В закоие ясио сказано...

И за столом, и в дверях, даже за открытым окном на улице начался шум:

— Пусть опускает! Для бедного народу будто бы стараетесь, а она из бедных бедная.

— Правда, пешком шла. Лошади не достали нигде, а на чужую подводу некуда.

— Сами семьями приехали. Чать, не виновата, что ослепла!

— Опускай, баушка, не слушай! Теперь слабода, а они все с издевкой!

— Опускай, опускай! Покажи ей щелку-то! Эй, востроносая, покажи, говорю!

— Энтот там расселся посередке-то! И вытряхнуть недолго, коль бедным запрет делает.

Суслов привстал и громко утвердил:

— Опускай, баушка! Всякому закону по делу да по нужде должно быть послабленье. Не старые времена. Теперь для человека легкости хотят, а не обиды.

Председатель развел руками, еще сильней задергал бровью и смирился:

— Ну, опускай, только чтоб мне в ответе не быть.

Старуха̀ опустила листок и опять помолилась:

— Господи, помоги.

Бабы увели ее.

В горницу ворвался косоглазый мальчишка в черном бешмете, в порыжевшей тюбетейке на бритой голове и с длинным кнутом в руках. Прямо к столу кинулся.

— Тебе чего, малайка? Куда лезешь?

— Башкирскай листка номер втарой айда, давай. Отбирай мужикам. Ваша ни нада, наша ни хватаит. Ваша вота.

Вынул из-за пазухи кипку смятых листков и бросил на стол:

— Айда атбырый, пыжалыста, скарей, наша волость ждут. Вирхом скакал, шибко лошадь гнал!

Председатель выругался и замахал руками. Писарь сбоку на стуле сидел. Быстро встал, достал со шкафа пачку листков и сунул башкиренку:

— Дуй!

Тот блеснул косыми глазами, взял листки и убежал из горницы.

Учитель вздохнул, потер лоб и покачал головой. Народ подходил. На улице шум все сильней становился. Солдаты смотрели в окна с улицы и громко определяли:

— Этот краснорожий номер первый. Эй, Павел, садани его от ящика.

Злой мужичий голос с улицы крикнул:

— А за пятый — самая прохвостня! Коиокрад бнтый иашннскнй пятый номер понес, я вндал.

— Прошу без агитацнн. Где милнцноиер?

Солдат, стоявшнй у ящнка, громко н наставнтельно объявнл:

— Когда мы иа фроите выбнралн, дак у нас так-то было постановлено...

Председатель завопил:

— Послушайте, товарищ, уходите от ящнка! Вы не имеете права второй раз голосовать. Чертова окранна! Выбираем не в один день с другимн, а с запозданнем, вот и... Я вам говорю, вы не нмеете права! Я сообщу — все выборы пропадут. Опротестуют.

— А тебя кто тяиет сообщать?

— Да ведь я же обязан!

— А ты для нашего брата старайся, а не протнв нас! Мы кровь пролнвалн, да не смей в своей волостн.

И потяиулся к ящику. Но Суслов удержал его за рукав:

— Не скаидаль, нельзя. Еще, правда, всем навреднишь.

— Так н ты против солдат?

— Говорю, не скандаль. Уходн!

Тот сплюнул, но Павла послушался, скомкал лнсток н бросил его на пол.

А у стола иовая замннка. Крнвоногий, встрепанный мужнчонка совал председателю штук шесть лнстков.

— Который тут третнй? А? Я заспешнл да спутал. Ровно отдельно клал, а на же поди, сбился. Ну-к, покажн.

— Да понимаете вы, тайиое, тайное! Нельзя показывать.

— А какне тут тайностн! Все знают. Я сперва-то за пятый хотел, да на третнй меня сбилн. А какой лучше-то?

Председатель безиадежио схватился обеимн рукамн за голову:

— Совершенно иевозможно! Разъяснялн, все деревни нзъездили. Да что же теперь делать?

Суслов засмеялся, встал, взял мужичоику за плечн н вывел его нз горннцы. Дальше гладко дело шло. Только шум с улнцы мешал.

Вдруг опять зычный голос на улнце шум покрыл:

— Макрушкнн со своего хутору целу подводу с первым номером прнвез. На тройке прнехалн. Не пущай его!

Но толпа привычно расступилась перед Макрушкнным. Он, сверля встречных чернымн острымн глазкамн, сладкнм голоском теноровым отшучивался:

— А кто вндал, что первый? Я второй привез. За башкнр, онн — иарод покладлнвый. Онн мне больше русских по душе.

От них, можно сказать, жить начал. Я за башкир. Второй, второй номер.

Угрюмый длинный солдат зло оборвал его:

— От их награбастал землю-то под хутор, обжулил! Знаем, мертвые под приговором о продаже-то подписаны.

И кривоногий мужичонка поддержал:

— Погоди, дай срок, все начистоту выведем, а землю-то для трудящего подай. У тебя отберем... Пятнадцать работников, на-ко.

Но Макрушкин, не смущаясь, пробирался вперед с длинным хвостом приехавших с ним на двух тройках и поодиночке на пяти подводах. Ответил опять шутливо:

— А я к башкирам подамся, в их веру. Теперь свобода вероисповеданья. А они еще землицы мне удружат. На наш век простачков еще хватит. К башкирам, к башкирам я...

Два дня тянулись выборы. Во всей округе разгорелись страсти. В день подсчета солдаты тесным кругом сдавили стол с комиссией. Щупали листки глазами, орали, ругались. Но подсчет все-таки удалось закончить. Ящик провожали конные доброхотцы, разного настроения. Все опасались, чтоб подвоха не вышло.

С тех выборов разгорячился народ. И каждый день все больше будоражливым приходил. В Акгыровке загалдели те, кто раньше голосу не подавал. Беднота, с постройки рабочие. Требовали землю и мир. Павел Суслов их коноводом стал. В конце зимы, когда большевистское начальство над всей страной власть взяло, и он главным в волости утвердился. Колгота по разнопленному уезду большая шла. Вирка говорила Павлу:

— Не сносить тебе головы. На такую линию вышел. Нет, чую, не сносить.

— Что ж, на печку забиться да закрыться юбкой твоей?

— А я бы тогда тебе сама мышьяк в пирог запекла. Коли взялся — выстаивай. Уж такое дело твое. Только так, сердцем я скучлива когда, дак опасаюсь за тебя.

— А ты не опасайся. Детей моих береги. Теперь, видно, и стариться вместе станем. Привык я к тебе. И к первой жене, ни к одной бабе так не прилипал. Все одно — жена теперь ты, баба моя до старости, а там и до смерти. Одно только — родить тебе надо. Чего ты не тяжелеешь?

У Вирки сгасли глаза. Опустила голову, как виноватая. С тяжелым вздохом сказала:

— Неплодная, видно, я. Ваську-то винила, а знать, сама неплодная.

И долго сидела молча с поникшей головой.

Тревога в уезде все ширилась. Казаки в сторону от большевиков линию гнули. Соседей-башкир под свою руку сбили, обещаний им всяких надавали. На волость даже нападение было. Отбились. Но зимой война настоящая разгорелась. В сорока верстах от Акгыровки бои начались.

Павел Суслов с фронта один раз сумрачный приехал на день домой. Всю ночь с Виринеей тихо и долго говорили. Встала с постели она с прожелтевшим лицом, но с твердо сжатым ртом. Морщинка у губ обозначилась. И не пропала даже тогда, когда объявила среди дня тихонько и боязливо Павлу:

— Слышь, я затяжелела. Боялась верить, а выходит — правда.

Он посмотрел в большие тревожные глаза ее, в молящее лицо и усмехнулся:

— Ну, рожай! Отобьемся от казаков, на сынка порадоваться приеду. Ну-к, собери, чего кусать мне даешь. Ехать надо.

Уж выезжать собрался со двора, как вошел во двор совсем седой, но все еще лохматый и дюжий Магара. Вирка вскрикнула и побелела. Не пуглива была, но неожиданное появление Магары напомнило ей о прошлом. И сразу, как дурное предчувствие, в сердце ударило. А Магара прямо к Павлу.

— Айда забирай меня с собой. В силах я еще, постоять за правду хочу. Где вашинско-то войско?

Про Магару Павел слыхал и знал его. Усмехнулся.

— А тебе чего в нашем войске, божий старатель, делать? Айда зятя с добром, тобой нажитым, застаивай. Откуда ты?

— Из тюрьмы. Теперь вот выпустили.

Вирка дрогнувшим голосом спросила:

— За этого... за инженера отсиживал?

Магара даже не оглянулся на нее. От Павла воспаленных глаз не отрывал. Но ответил ей:

— За богохульство и кощунство сцапали. Еще до переворота до этого. В церкви на икону плюнул и изругался. Святой там один нарисован, схожий с энтим, кто меня спервоначалу на молитву-то...

И добавил глухо:

— Замаялся я с богом. Теперь опять для него за правду стараться хочу. За бедный народ стоять пойду, за мужичий за весь род. Растревожили мужика, а ходу ему нет. Богатый в торговцы лезет, а бедному нет земли, чтоб в правильности... С вами постараться хочу. Для бога за вас пойду. Для бога грех принял, человека убил. Такое он на меня возложил, дак я и пойду для правого дела убивать.

Павел вздохнул.

— Мозга у тебя повреждена. Уж правда, что богом ушиблен. Ну что ж, айда. Долго с нами вряд ли пробудешь, а сейчас пока нужен. Дюже сражаться можешь. Сейчас тебе лошадь раздобуду.

И уехали они вместе с Магарой.

Убили Магару скоро. Дуром с гиком один на казачий разъезд кинулся. Как приезжал Павел в последний раз к Вирке на короткий час, то сказал про это, Вирка вздохнула:

— Знаешь, Павел, а много народу у нас в деревне поразному повредилось. Сидели, сидели сидняком-то: видно, от просидней гнить начали. Кто вот ругается, какой страх и беспокойство пришли. А я думаю — час такой. Нельзя больше было мужикам по-старому.

Павел не ответил. Поднялся и собираться стал. Поцеловал детей. Вирка припала к нему и замерла. Он быстро, будто укусил, поцеловал ее, легонько отстранил и к двери пошел. Но у порога задержался. Не поворачивая головы, стоя спиной к ней, сказал:

— Себя блюди, шибко я к тебе привык. Не распутничай. Дите родишь, жалей, обихаживай. Я об нем что-то думаю. Жалко, не дождался, не поглядел.

И потом, повернув голову, усмехнулся невесело и нежно:

— Дело наше тоже справляй. Через тебя слух давать буду. Ну, ладно. Давай еще поцелуемся. Прощай.

Уехал. Она глядела ему вслед. И вдруг ярким, редким для слеповатых человечьих глаз светом будто осветилась перед ней вся ее жизнь с Павлом. В короткий миг вся перед глазами прошла, подлинно такая, какой она у них была и какой она еще не видела. Как жили вместе — часто сердилась, томилась недовольством каким-то, враждой к нему. Считала его желанным и даже привыкать стала. Но ни разу с таким захлебнувшимся болью и восторгом сердцем, как сейчас, когда смотрела ему вслед, не обняла его. А вот, когда он не слышит и ей не догнать его и, может быть, свидеться больше им не дано,— ощутила, как он дорог ей. Как один только может быть дорог одной.

— Павел... Пашенька...

Целый день как в чаду ходила. Терзалась: слов своих, вот тех, что сейчас сердце жгут, не высказала ему. Воротить бы его!.. Хоть бы на недолгий час... Сказать бы только ему!..

XII

Всю свою жаркую страсть и тоску по Павлу Вирка в заботы и хлопоты по его делу вложила. Агъыровка стояла в сто-

роне. Казаки расправу чинить в ней еще не появлялись. Но властно наложили руку на всех Павловых пособников кержаки с горы — Кожемякин и еще пятеро богатеев. Ездили с возами в казачий лагерь, оттуда привозили приказы. Десять мужиков из акгыровской бедноты и восьмерых из бараков отвезли в город, в тюрьму. С десяток в волости пороли нещадно. Вирку тоже в волость таскали на допрос. Она отвечала сдержанно и покорно, чтоб Павла не подвести. Только глаза прятала:

— Ничего не знаю. Невенчанная ведь жена, так... полюбовница. Взял и уехал. Теперь, может, с другой тешится. Где — нету слуху. Я вот тяжелая, да еще двоих на меня кинул. Кабы знала где, сама бы хоть за себя наказала бы его. Не смолчала бы, выдала. Все одно он со мной жить не будет.

Вновь поставленный председатель волостной управы кулаком по столу стукнул:

— Врешь, потаскуха! Как провожала его, видали люди.

— Провожала, просила не бросать одну с детями, без всякого запаса. А куда уехал, не сказал.

Три дня в холодной при волости отсидела. Потом опять пытали мужики. Уж не про Павла, а про пособников его и про то, кто к большевикам сейчас льнет. Вирка упорно отзывалась незнаньем, только все на обиду от Павла жаловалась, что с детьми без помощи всякой бросил ее. Помаяли и отпустили. Тяжелевший с каждой неделей Виркин живот не мешал ей в потайных углах со своими видеться, быстро ходить и еще работой себе пропитанье добывать. А тут еще Павел два наказа в тайности выполнить велел. Один: за десять верст в деревню письмо верному человеку отнести. Другой: мужика одного целую неделю прятать. Когда первый наказ передали ей, вздохнула она. Потом сказала худощавому старику в беженской одеже:

— Сама пойду. Кого пошлешь? Сноровку надо, а главное — чтоб без страху.

И ходила сама за десять верст будто бы в больницу. В том селе как раз больница была. Обратно чуть ноги тащила по неровной снежной дороге. Но дотащила и концы чисто схоронила. Другое было трудней. Но все-таки уберегла в подполье. Даже соседские бабы ничего не унюхали. И чем больше старалась, тем дороже становилась ей ее вторая, тайная, жизнь. Теперь с подлинной верой говорила своим при встрече:

— Хучь мы и пропадем, а тем помогать надо. Совсем задавили маломощных.

Видеться было трудно. В деревне каждый вздох слышен и каждая новая щепка на дворе заметна. Но вот пришел

слух, что Павлов отряд к Акгыровке подвигается. Павел на словах с парнишкой безусым, но строгоглазым передал:

— Хорошо, кабы вы с затылку их нажгли. Какое-нибудь восстанье бы наладили.

Вирка с этой вестью пошла в бараки. Постройку давно забросили, но беженцы и бездомовые, работавшие раньше на дороге, в бараках жить остались. Шибко шла, но чутко ушами и глазами за дорогой следила. Никого не встретив, дошла. В большом бараке жило трое одиноких мужиков и четверо семейных. И все были одного, большевистского, толку. Оттого Вирка без опаски вошла. Но разговор не сразу начала:

— Здравствуйте-ка! Тетка Дарья дома, что ль?

Дарья от печки отозвалась:

— Здесь, дома. Ты чего, Вирка?

— Да вот к тебе, пощупай-ка ты меня... В повивалках ходишь, знаешь. Что-то больно одышка замаяла. Скоро ль разрожусь?

Дарья усмехнулась:

— И щупать нечего. Так видать,— не боле недели носить. Да ты говори дело-то. Тут никого чужих нет. Сейчас мужиков со двора позову.

Когда собрались, Вирка дрогнувшим голосом сказала:

— Ну, мужики, зачинать драку надо.

И, откашлявшись, уж спокойно и ровным голосом рассказала, что Павел передал.

Мужики не сразу отозвались. Долго раздумчиво молчали. Первый, белесый и хлипкий, Васька Дергунцов заговорил:

— Нет, товарищи, нам это дело не сделать. Напуган сейчас народ, не подобьешь. Мается, а молчит.

И другой, с седоватыми, коротко и неровно остриженными волосами, подтвердил:

— И думать нечего! Как блох, переловят.

— Подождать надо. Может, как совсем близко наши к деревне уж подойдут, тогда. А сейчас никак нельзя.

Вирка поднялась. Глядя хмуро, исподлобья, спросила:

— Это и весь сказ?

— А дак чего же?

— Больше ничего нельзя.

— Дело не выйдет...

— У наших там войско. Пусть уж стараются как-нибудь к нам пробраться, тогда подмогнем. А сейчас ничего не сделаешь.

— Ах вы, собаки! Мне ли, бабе, да еще такой — дурной

бабе, учить вас али там корить? А вот приходится. Словами только блудили, а как до дела час дошел, дак слюни пускаете! Нельзя так, мужики! Нельзя, братцы вы мои, товарищи! Какая жизнь-то у вас, долго еще протянете? Кто говорил: стоять до последнего? До чего жидка в страхе душа у человека. Сволочи вы! Не хотите, не надо. Еще людей наберу. Мне не поверят, жизни своей поверят, что нельзя боле ждать.

Глаза у ней жгли и молили, а голосом твердым говорила:

— Придет час, вернутся наши. Тогда опять к ним лицом, а не задницей повернетесь? Ну, дак ладно, я одна, баба, вот в тягости, одна пойду дело заводить. Охота дале в голоде да в побоях жить — живите. Вот этот кобелишка-то хилой тявкал: сердце чешется против кержацкого насильничанья. А теперь еще казаков ждать будут! Все одно не помилуют, хуть вы им ноги все излижите! Давно косо глядят, чуют, какая дума-то у вас. Наши подходить станут, все одно с вами расправятся. Ну, ладно, нечего мне с вами, видно, и разговаривать.

Пошла было к двери. Но мужики опять загалдели. Ругали Вирку, спорили, а все же порешили сделать, как Павел указывал.

Вирка со светлым лицом уходила. Будто на большую радость спешила идти, а не на трудное дело. Седоватый, стриженый сказал ей со смехом:

— Ты, баба, выходит, у нас и за командира, и за попа полкового. Ишь ты, начесала сколь. Целу проповедь высказала!

А командир чуть домой дошел. По дороге схватки начались. Но все же сама за бабкой Козлихой зашла:

— Айда скорей! Рожать, видно, я наладилась.

В избе у себя Вирка долго не хотела лечь. Ходила по избе, крепко стискивала зубы.

Козлиха прикрикнула на нее:

— Чего ты молчком? Кричи, кричи! Легче будет. Первый раз эдаку каменную бабу вижу. Без крику рожать собирается.

Вирка улыбнулась коротко и тускло. И опять, сморщившись, сказала прерывисто:

— Пускай с радостью-то на све-ет выходит. Шибко долго я его ждала... Не хочу кричать, хочу в легкости родить его.

И крикнула только раз. Коротко, сильно. Будто не от боли, а от восторга. И тогда несказанная легкость усладила тело, услышала на диво звонкий крик рожденного.

— Ишь ты, какого орластого выродила. Да большой. Отцу поглянется. Ты чего? Не сомлела?

— Не-ет. Покажь... Сыно-ок!

— Откуда узнала? Ишь ты, дошлая. Ну-к пущай полежит, потружусь околи тебя.

Недолго Вирка на сына радовалась. Через пять дней, когда ждала от своих извещенья, как у них там наладилось, ночью в дверь тревожно и тихо кто-то застучал. Вирка к двери, спросила шепотом:

— Кто?

Бабий напуганный голос сказал:

— Открой скореича, впусти.

Но в избу Дарья не вошла, из сеней тихо спросила:

— Козлиха-то у тебя?

— Тут, сегодня пришла, заночевала. А что?

— Где она?

— На печке спит.

— Буди скорей, пущай возьмет ребенка, а сама айда беги немедля. Через огороды, туды, к речке, а там тебя Парфен ждет.

— Дак ты что? Ребенка-то я как?..

— Ребенка! А коль саму прикончут? Павлу надо успеть слушок подать, а то втяпается. Да собирайся ты, буди Козлиху. Чего стоишь?

— Да чего ты сразу...

— Казаки приехали, у Кожемятова сейчас. Кожемятов батрачишка-то с им ездил. Слыхал, что пронюхали. Анисим дознался про наше дело. С доносом в станицу ездил. Ну, только называл, что тебя да мово мужика. Мой-то схоронился, айда беги. Ой, кабы меня тут не застали. Дак огородом-то... Огородом к реке.

И нырнула в темноту. Вирка взяла ребенка из зыбки.

— Баушка, баушка... На-кось.

— Ну чего ты взгомозилась? На печку его? Ко мне? Ну, давай.

Сильно вздрогнула, будто от тела оторвала теплый живой сверток и подала старухе. С лицом настороженным, без слез, без вздохов быстро накинула платок и полушубок и выбежала из избы.

— Вирка-а! Вирк, ты куда? Что это, осподи, попритчилось, что ли, ей что?..

Поняла только, когда в дверь, оставленную после Вирки без запора, ввалились казаки и мужики. Поняла, поглядела спокойно и стала унимать заплакавшего мальчишку.

— Ну-у, ну-у, распелся, на ночь глядя. Ш-ш-ш!

— Ты, старая хрычовка, где баба?

— Убегла куда-то. Я не спрашивала. Мне на што? Дума-

ла, скоро вернется. Мне чего? За ей не побегу, не молодая.
Рыжеусый казак шашкой пригрозил:

— Сказывай, а то не удержишь башку на плечах!

— Она и то плохо держится. А чего я скажу? Убегла, слова не сказала. Хуть кишки выпусти,— чего я скажу боле? Не налезай на дите-то, злыдень. Задавишь неповинную душеньку.

Анисим Кожемятов сказал чернявому офицеру:

— Ничего теперь, ваше благородие, не добьешься. Она правды старухе-то не скажет. Следить за избой надо.

А седой, худощавый и строгий, похожий на святителя с иконы старого письма, Антип-кержак сказал:

— Пущай ребенок с бабкой тут остаются. Сама придет. Молоко ее к дитю приведет.

На том и порешили. Караульщики во дворе в хлевушках запрятались. Днем искали, не нашли. Три ночи караулили. На четвертую, уж за полночь, в самый глухой и темный час, насторожился под навесом рыжеусый кержак и шею вытянул. С огорода темная женская фигура двигалась. Дыханье, как охотник, видя зверя, затаил. И Вирка шла легкой, сторожкой поступью зверя. Как волчица к волчонку своему, пробиралась. Будто след нюхала, выгнув шею и влекомая своим запахом,— запах крови, из ее жил взятый,— шла кормить или выручить детеныша своего.

У самой двери в сенцы была, когда крикнул резко рыжеусый другим, укрывшимся темнотой:

— Имай! Держи ее! А-а, поймал! Беги, Сычев, зови его благородье!

Вирка закричала пронзительным, долгим криком и забилась в дюжих руках приземистого казака.

— Стой!.. Стой!.. Увертливая какая! А, ты кусаться, стерьва! Стой!..

Вирка рванулась, высвободила руку и с большой силой ударила казака в переносицу. Выгнулась всем телом, ударила ногой его в пах. Казак взвыл от боли и выпустил ее. Но подоспел рыжеусый, скрутил ей руки за спиной. Она билась, качала казака во все стороны. Он неловко повернулся, зацепил ногой за ступеньку крыльца и упал. Падая, увлек за собой Вирку. Она закричала еще раз резко, пронзительно и смолкла. Затылком ударилась об острую железную скобку для отскребанья грязи, вбитую на доске около крыльца. И тогда же из избы донесся живой и требовательный плач ребенка. Виркины глаза встрепенулись в последнем трепетанье — и погасли.

Каин-Кабак

I

окружении нищих башкирских деревень глухо засел в овраге малый русский хутор. От местности получил то же названье — Каин-Кабак. По-русски значит Березовый овраг.

Никто из старожилов не помнит времени, когда росли здесь ласковые березы. На крутых боках оврага лишь густой, жесткий и в расцвет невеселый кустарник. Убогий шум дремучей человечьей жизни мало нарушал нежить здешних унылых ущелий и каменистых горных взъемов. Волки даже летом, в сытости, его несильно опасались, зачастую рыскали по взгорью близ жилья. Сырт, гряда гор, внезапно пресекших степную равнину, отделил Каин-Кабак от большой дороги. Но маленький уединенный хутор через все преграды издавна был прославлен большой нехорошей славой. Прежде и в своем уезде, и в соседних широко разносились рассказы о каин-кабакских конокрадах, о разбойных нападениях на дорожных людей, о возведенных на крови хозяйственных дворах, о домах с тайниками, заговоренными крепким заговором. Теперь, после германской войны и четырехлетнего мужицкого боя на своей земле, стариковская побаска о давнишних разбоях-грабежах оказалась слишком бесхитростной, давней-давней, может быть тысячелетней нежуткой былью. Нынешнее племя, закоптевшее в своей жаркой жизни, вовсе перестало внимать дремотным этим рассказам. Но Каин-Кабак не затерялся в глухоте окрестных хуторов и селений — он стал становищем красных партизан. В зиму тысяча девятьсот девятнадцатую наладили они самодельные окопы из снега и льда и крепким отпором отбились от казенного белого войска. А в тысяча девятьсот двадцать втором в Каин-Кабаке устроил себе логово для запойных дней шумливый человек Григорий Алибаев, партизанский командир, ныне председатель волостного Усерганского Совета.

Но местные органы ГПУ получили достоверное известие, что Алибаев — враг Советской власти, участник большого против нее заговора. От этих тщательно проверенных сведе-

ний у заведующего секретно-оперативным отделом Степаненкова на смуглом апатичном волосатом лице ожили и потемнели в тревоге белесые глаза. Взять Алибаева — задача нелегкая. О нем ходят цветистые легенды по всему уезду. В каждой деревне найдутся его почитатели, задаренные им бедняки, башкиры и русские. Если арестовать шумно, с большим конвоем, могут возникнуть вредные осложнения.

Степаненков выехал на дело сам. От города до последнего подъема в гору перед Каин-Кабаком были устроены секретные подставы: оставлены вооруженные люди и подводы. Только троих надежных товарищей Степаненков взял с собой на хутор. Уговорились, что на хутор подмога явится только на следующий день утром, если ночью не дождется их обратно.

Хорошо объезженные кони замедлили шаг. Осторожно спускались с крутой горы. Вся до конца видна кривая загогулина единственной улицы. Недружно, зато широко разметались по ее сторонам два ряда дворов. Падал некрупный ласковый снежок. На крышах изб и надворных построек налегло его свежее пуховое руно, но было оно без блеска. Солнце притаилось. От набухшего облаками неба в этот час, еще ранний, сумеречным сделался день. Под белыми пухлыми крышами серые деревянные дома и облупившиеся землянки казались темными, глухими. У самого въезда на улицу торчал длинный шест. Чуть покачивался на нем в затишье лощины заиндевевший в складках красный флаг. На другом конце хутора снежный скат горы чернел живыми малыми точками. Шумно катались на салазках дети. Улица же была тиха и пустынна. В ближайшем дворе недужно залаял дряхлый пес. Щурясь от яркого снега, Степаненков подвернул было к нему, но издали донесся окрик:

— Сюда езжай! Куда воротишь?

Степаненков голос узнал. Сонное лицо его не оживилось, но, как всегда, у него в волненье на правой скуле зардело красное пятно, зачесалась волосатая щека. Он буркнул:

— Встречает. Черти ему служат, уже донесли!

Низкорослый человек в желтом дубленом полушубке и белой заячьей шапке-ушанке махал руками, указывал на большую саманную избу близ себя. Когда подъехали, он подошел к передним саням, к Степаненкову, широко расставляя в шагу кривые ноги. Раскосые сизо-черные глаза его с желтыми белками светились усмешливым огоньком. У Степаненкова остро екнуло сердце. Черт узнает по этой образине, как смеется? Приветствует весело или издевается? Все же улыб-

нулся в ответ, открыв белые широкие зубы, остро сверкнувшие на темном лице.

— Не ждал гостей? Назад не завернешь?

Алибаев протянул для рукопожатия небольшую, сильно загрубелую желтую руку.

— Добрый для хозяина гость не бывает не в час. Айдате заезжайте, может, и сумею приветить. Давненько с тобой, товарищ Степаненков, повидаться случая не выпадало, я об тебе даже заскучал, право! Въезжайте, въезжайте.

Хитрогубый, плосконосый, с кожей дымчато-желтой, всем обличьем нерусский, Алибаев выговаривал слова тягуче, просторно, теплым голосом. Всегда охотливо, любовно приснащал их одно к другому. Степаненков знал Григория давно. Суховатый в словах сам, любил его привольную речь. Но сейчас, заслышав Алибаева, насупился.

«Разговором одним задурит, шельма!»

И нежелательно для себя угрюмо отозвался:

— Заедем, не торопи.

Ни во дворе, ни позднее за чаепитьем в дальней горнице Алибаев ни словом не выразил удивленья или любопытства. Степаненков сам пробовал объяснить свой наезд.

— Запарились в городе. Катнули на передышку к тебе. Ну, как раз тут близко от тебя маленько щупали кой-кого.

Алибаев спокойно спросил:

— Щупали? В нашей округе народ нехорош — худой жизни народ. Не земледелец, а гуляка. Эй, дружки, я вам больше не стану чай наливать. Хлобыснули по чапурушке на закладку, хватит!

Подмигнул, пригнулся приветливо к Степаненкову:

— Сейчас холодного кипяточку подадут. Послаще, покрутей этого парева.

От его дыханья ударил в лицо скверный запах винного перегара. Степаненков укоризненно качнул головой:

— Слышу, несет.

Алибаев скривил рот.

— А тебе надо, чтобы ладаном от меня шибало, что ли? Шалишь, лучше спиртом. Много народу в могилу посшибал, все без ладана, ладан не уважаю.

Степаненков перебил:

— Своего заводу водка? Не боишься, что выпьем, а по должности тебя тряхнем?

Алибаев сухо, коротко усмехнулся:

— Ну, из-за этого с Гришкой Алибаевым шуметь не станете! Самогонкой не занимаюсь, у меня старая, царской варки. Михайловский завод, чать, я громил, не выпил еще.

Снова добродушным ласковым говорком прибавил:

— Настоящий спирт, лечебный. Я им от своей хвори лечусь. Городской доктор один мне обстоятельно обсказал, что я больной — алкоголик. Без выпивки тебе, дескать, нельзя терпеть. Это он правильно, не могу без водочки. Дошлый господин, я за это ему три пуда крупчатки отвез, хоть не жалую господ. Вы там, в городу, что-то шибко цацкаться с ними зачали. В Москву меня возили, поглядел — опять господа в большом числе меж нашими шныряют. И друг дружку все «гражданинами», не «товарищами» кличут. А один так прямо залепил: «господа». Попался бы в нашей волости, я бы ему, сукину сыну, на спине господина бы прописал! Закаялся бы в трудящей республике барина кликать.

Степаненков хмыкнул в ответ что-то невнятное и встал. Заходил по горнице. Алибаев головы не повернул, но Степаненков учуял:

«Слушает мои шаги, собака».

Злобно взглянул на остроконечное алибаевское ухо. Вернулся к столу, постоял, огляделся исподтишка вокруг. В Чеке известно: добра много Алибаев хапал, а в жилье у него скудно. Грубо сколоченный стол даже домотканой мужицкой скатерткой не покрыт. Облупившиеся стены давно не белены и пусты, ни единой картинки не наклеено. Пол земляной и неприбитый, корявый. Печка-голландка дымом закопчена. Скамейки некрашеные, узкие, для сиденья неудобные. На широкой деревянной кровати вместо всякой постели один черный тулуп мехом вверх раскинут. На подоконниках махорочные окурки попримерзли. А на протемневшей, давно не мытой божнице под самым потолком потрескавшаяся старая икона без стекла. Чуть мерещится черным виденьем худущий лик какого-то узкоглазого, как сам Алибаев, угодника.

Неожиданно распахнулись обе половинки некрашеной двери. Степаненков едва удержал вздрог. Из первой от сеней половины избы, где широко расселась русская печь, вошли двое. Пышнобородый, но лысоголовый высокий старик с выправкой старосолдатской и сухощавая узкобедрая женщина. Степаненков внимательно оглядел ее короткую коричневую шерстяную юбку, щеголеватые, по ноге сшитые, высокие сапоги и старый офицерский пояс, туго стянувший тонкое тело. Сухощавое темнобровое лицо, от коротко стриженых прямых пепельных волос казалось молодым, не женским, а мальчишечьим. Но виски желты, покороблены тонкими, как паучьи лапки, морщинами, углы бледных губ устало опуще-

ны, н острый блеск слнцком шнрокнх черных зрачков в сннх глазах нехорош — нездоровый.

Старик поставил на скамейку около Алибаева четвертную бутыль н ведро воды с ковшом. Женщина опустила на стол большой трактирный поднос со снедью: холодную вареную свинину, квашеную капусту с огурцами, жареные пельменн, свнное сало и запеченные круто яйца с полопавшейся желтой скорлупой. Все в деревянных крашеных кнргнзских чашках. Алибаев взглянул на женщнну н усмехнулся.

— Вернулась, краля? Смнловалась? А я-то сдуру верхового в Александровку погнал, благодарственный молебен попу заказал. Навяжется вот эдакая холера, дак нн крестом, нн пестом не отобьешься!

Женщина сердито тряхнула головой, покраснела.

Алнбаев ласково хлопнул по плечу молодого чекиста.

— Ты как, братишка, тоже охоч до баб? Глаз-то у тебя бесоватый. Вот слушайся моего совету, толстых облюбовывай. Не столь горячи, зато и не так пакостлнвы.

У кареглазого хмельно стукало сердце, ярко светнлся взгляд. Как молодое сильное жнвотное, он весь трепетал от запаха врага, рвался к схватке с ним. Что каннтель с желтоглазым тянуть? Еще с веселым разговором лезет по-свойскн, а ты сиди рядышком да поддакнвай. Он серднто отоднннулся, резко ответил:

— Советы давай тому, кто их у тебя спрашивает.

Алибаев тихонько засмеялся нутряным, затаенным смешком. Совсем сплющил узкие глаза. Степаненков перестал кружить по горнице, подсел к столу. Высоколобый, лысый со лба, немолодой чекист с аккуратно подстриженной бородкой подвинулся на скамье, давая ему место. Глуховатым прнятным баском сказал Алнбаеву:

— Во вкусах, вндно, вы с Шуркой не сходнтесь, он рассердился.

Чалымн глазами, бестрепетнымн, как у выхолощенного коня, глянул на Шурку. Четвертый гость, латыш, ннзколобый, с тяжелым подбородком, мало вступался в беседу. Он выпускал слова с натугой, будто аккуратно выкладывал увеснстую кладь. Выговаривал нх отчетливо, но неправнльно. Казался очень голодным нли жадным. Настойчнво наблюдал, как Алибаев налнвал чай, смотрел ему в рот, будто завндовал каждому глотку, вннмательно рассматрнвал чашкн, медленно передавая их другим.

Алнбаев ннчего не ответил высоколобому.

Вдруг налегло недружелюбное молчанне. Оно длилось

одно мгиовеиье, ио все, кроме латыша, облегчеиио задвигались, зашевелились, размииаясь, когда женщина его иарушила. На иелепом мешаиом иаречье оиа сказала:

— Бис ее зиает, куда по́суду заховалы. Ты, Григорий, мабуть, усю поразбывал, тильки твою чарку зиайшла. В чому водку питемо? В чашка́х?

Несловоохотливый латыш иеожидаиио торопливо с иеуклюжим задором отозвался:

— Одиим чарком водку можио. Это ие чай, скоро сглотается.

Все засмеялись, даже Шурка иехотя улыбнулся. Алибаев визгливо крикиул:

— Ну, гости дорогие, хлеб-соль на столе, руки свое! Кларка, садись, пес с тобой, займайся с гостями. Со свидаиьицем, дружки!

Из четвертиой он полио иалил в крупиый, протемневшего серебра стакаичик, закииул голову, быстро выплесиул спирт себе в глотку, зачерпиул ковшом из ведра, запил его водой.

Солдат, принесший четверть, с рассыпчатым льстивым смешком одобрил:

— Вот правильио! Глотку цельиым прочищает, скус не портит, а разбавляет в брюхе. Ну-ка, господи благослови, хватану и я.

Степаненков, поскребывая пальцами волосатое лицо, заявил решительно:

— Как хочешь, Алибаев, нам по-твоему ие по силам. Сердись ие сердись, а я для себя разбавлю.

Алибаев иа удивлеиье равнодушио ответил:

— Пес с вами, пейте по своей кишке.

Сглотнул еще стакаичик спирта, опять запил водой и не закусил. Узкие желтые глаза заблестели, как янтарь. Латыш иедовольио дериул челюстью, встретив его взгляд. Григорий выговорил с иасмешливой ласковостью:

— А ты, приятель, подцепляй закуску, меия ие поджидай, отравы иикакой ие подмешаио. Этого дела я не уважаю.

Степаиеиков быстро перебил:

— Мало выпил, а уже чепуху мелешь. Подвииь-ка нам капустку, дамочка. Не зиаю, как вас по имеии, по отчеству.

Алибаев засмеялся.

— Прежде, по-хохлацки, Гапкой, по мужу Ковальчук звалась, теперь товарищ Клара Артуровна, а фамилию без кашлю и ие скажешь.

Ои подмигиул.

— Ты на ее не зарься. Бабешка вредная и в уме попорченная.

У стриженой под пепельным клоком волос еще шире и жарче, как в лихорадке, разгорелись зрачки. Светлого ободка почти не видно стало. С суматошным придыханьем она быстро заговорила, пристукивая ладонью по столу:

— И у ранци, и у вечери нема у его до мене доброго слова, одно — грызе мою голову. А найдужче — перед добрыми человеками. Как партейные товарищи в беседу со мной, он сичас ну выставлять меня у во всяком грязном лице. Що ты, человиче, робишь? А? Чи найпуще хто мене лает? Чи добрый чоловик? Гришка Алибаев, вот и хто!

Алибаев замотал головой.

— С утра нынче, стерва, визгает, уши заболели.

Старый солдат, склонившись к высоколобому, тихонько пояснил:

— Кликушей раньше была. Как в Александровке с мужем до перевороту жили, кажную обедню за херувимской live собачьи скулила и корчилась. Два раза духовенство бесов из нее выгоняло.

Клара услышала, сильно побледнела, сжалась, как кошка перед прыжком, но вдруг совсем неожиданно засмеялась и успокоилась.

Повернула к Шурке лицо, очень похорошевшее, точно изнутри осветившееся чудесным, высоким волненьем. Пожаловалась кротко, певуче:

— Оце ж, чуешь, хлопец, як псы, як волки надо мною зубами стукотять. Ты же добрый, ще молоденький, послухай. Я все покидала, с ими и в сражениях з белыми була, як нужниш, и в беде, и коло смерти, и на митингах волостных за оратора — усего бувало. Эх! Усе то мынулося! В одной воинской части за политрука служила. В подполье у колчаковским документ на Клару мне выдали. Не злякалась в подполье, работала, из-под самого из-под расстрелу утикла. Вот с этим-то документом на офицерскую вдову Клару Артуровну Стжибровскую. Так як же мини Гапкой Ковальчук, как при старому режиму, зваться? а?

Она всплеснула руками, молящим взором ловила Шуркин взгляд.

Шурка сильно покраснел, потом побледнел, растерянно оглянулся вокруг. Степаненков поставил перед женщиной стаканчик с водкой. Угрюмо и брезгливо сказал:

— Пей и замолчи.

Алибаев со смехом поддакнул:

— Правильно, помолчала бы. Все брешет! Выкрала у

какого-то офицера жены бумаги. С нашими таскалась и на войну. Это правда. Эй, Шурка! Ох, чисто ножиком глазами пырнул. Не злобись, паренек, мы с тобой еще, дай срок, по-душевному разговоримся. Знаю я, с чего ты волчонком на меня. Правильно! Мой сынишка Сергунька так же на отца глядит. Кларка, брысь! Не приставай к парню.

— Ах, злодияка, злодияка ты, Григорий, свит мий завьязав. Лихо — та и годи. Ну, почекай, почекай!

Опять всплеснула руками и, положив голову на стол, жалобно запричитала:

— Чи зна хто таку биду, як моя? Чи е ж такый ще бесщастный на святи! Диточек своих покидала, порастеряла. Не всмихнется мене дочечка, Горпынко зозуленька, не вздывытся приятненько Левко, хлопчик мий...

Старый солдат хрипло засмеялся:

— Детей вспомнила, упилась, значит. С утра с Григорьем наливаются. Клара! Клар... Ну-к, пропустите, я ее в ту избу унесу, отойдет, а то блевать еще зачнет.

Он легко поднял худенькую женщину и понес к двери. Клара с визгом забилась у него в руках. Ее сапоги били старика по коленям. Он громко выругался, но из рук ноши не выпустил. Шурка проводил их быстрым блеснувшим взглядом.

Вернулся старик скоро и подсел к латышу. Сообщил ему охотливо:

— Кларку в баню унес, верещит нестерпимо, по детям убивается. Худущая, а плодовита, сука. Четверых с мужем еще прижила, да безотцовских двое. Всех по чужим дворам раскидала. Как напьется, скорбит.

Латыш нетерпеливо махнул рукой. Он не сводил глаз с Алибаева. Степаненков ястребом кружил по горнице, а тот сидел на стуле, широко раздвинув ноги, твердо упираясь подошвами в пол, с корпусом, наклоненным вперед, будто готовясь к прыжку. И хоть говорил не умолкая, спокойно растягивая слова,— зорко следил за Степаненковым, уже не таясь.

Шурка отвернулся к окну. Плечи у него скучливо сникли. Старику хотелось беседовать. Он выпил спирту, закусил пельменем, не обращая внимания на Алибаева, заговорил одновременно с ним. Алибаев рассказывал:

— Да, в Москву свозили. Чешутся у начальства на меня руки, да колюч еж, голыми руками не возьмешь. А рукавичек на меня с моими партизанами еще нету, да к чему прицепляться... к пустякам. «Донесли, говорят, про твои жестокости. Мирные жители тобой ребят пугают».

А пусть, говорю, пугают. Все одно этими руками детей тютюшкать неловко, и своих-то не касаюсь. «А зачем мертвецов расстреливаешь? Это нехорошо»,— говорят. Живому-то оно больше, чать, нехорошо, а вы мертвяков жалеете. Да я мертвых и не расстреливал, брешут, я пули жалел. Заводов-то у меня, чать, нет, на стрельбу в живых пуль не хватает. А трупами мы окопы загораживали, чтоб вражьи пули не на нас, а на мертвецов расходовались. Родне разрешили эту мертвую стражу хоронить. Там нашлись какие-то мастаки-доктора, распознавали, насколько глубоко в живое тело пуля входит, насколько — в мертвяка. Не хватает, дескать, мерки. Ну, жаловались на меня.

А старик-солдат с другой стороны — высоколобому:

— Алибаев в нашей округе торговать не дает, а в городах уже опять свободная торговля. Конечно, зря он это. Слышь, Григорий, я говорю — зря торговать не даешь. Я сам, как на военной службе отслужил, торговым делом шибко завлекся. Оренбургские пуховые платки, самое, в нашей станице вяжут. Я не казак, ну станичный житель. Забрал, значит, партию платков, в Златоуст повез, на казачьи шашки наменял, а шашки домой продавать привез. Маленько дело в убыток вышло, проторговался дотла. Ну, все одно, сам не нажился, а повидал, как другие наживаются.

Им внимал и даже ухитрялся их слышать сразу обоих один высоколобый. Степаненков прислушивался к нараставшему за намерзшими слепыми окошками избы шуму. Скрип полозьев, неясный гомон. Кажется, подъезжает народ. Что такое? Шурка у окна тоже сел прямей. Повернул голову к окну и латыш.

Алибаев вдруг крикнул:

— Эй, служивый, айда, лучше споем любимую!

Затянул неверным, диким голосом:

Сто-ит гора-а высокая..

Старик, молодцевато подбоченившийся среди избы, не успел подтянуть. Алибаев оборвал пенье, засмеялся, вскочил легко и упруго, как резиновый. Совершенно трезво, отчетливо сказал старику:

— Подводчики приехали.

Выскочил из избы как был, без шапки, в засаленной солдатской гимнастерке без пояса. Старик кинулся в другую половину избы. Чекисты подались друг к другу — посовещаться. Но служивый снова появился в дверях в наброшенной на плечи дохе дорогого черно-бурого меха, очевидно

господской, и, сдвинув лихо набок свалявшуюся баранью папаху, позвал настоятельно:

— Пожалуйте-ка, товарищи, и вы с нами. Айдате, айдате, Григорий зовет.

Гости переглянулись. Латыш вышел первым, вытянув шею и наклонив голову, как собака, нюхающая след. Степаненков на ходу сказал Шурке чуть внятно:

— Ты продышись на дворе хорошенько, дураком вперед не вылезай. Я сейчас с Краузе посоветуюсь.

Старик покосился на них живым несердитым взглядом и зашагал в ногу с высоколобым. Охотно, без всяких расспросов, сообщил:

— Подводы с провиантом прибыли. У вас в городу и по другим по волостям запрет на реквизиции, а у нас разрешено. Раньше поп филипповками шерсть и пшеницу собирал, а теперь Алибаев заместо него к рождеству богатеев стригет. Это дело нехудое, это я согласен, вся бедняцкая населенья в волости разговеется и одежонку кое-какую получит к празднику.

Высоколобый, слегка отстранив старика плечом, поспешно кинулся в дверь.

Только здесь, на воле, приезжие поняли, какой спертый дух давил на них в алибаевской избе. От первых глотков свежего воздуха кровь застучала в виски. Грудь задышала, как из тисков высвободилась.

Двор и видная в распахнутые ворота улица, тихие, когда приехали чекисты, теперь кишели народом.

С десяток соннолицых башкир в заношенных теплых малахаях, в пятнисто-грязных кафтанах, стеганых или на меху, сидели на корточках под навесом. Трое, часто сплевывая, курили слаженные собачьей ножкой вершутки с махоркой. Один со сморщенным, будто испеченным лицом покошачьи сладко жмурился, забивая нюхательным табаком приплюснутые ноздри. Остальные долго, не мигая, блескучими желто-черными глазами следили за табачным дымом. Перекликались время от времени короткими гортанными, как клекот хищных птиц, словами. Лобастому чекисту все башкирские лица, скудноволосые, малоподвижные, обтянутые тугой кожей, показались одинаковыми по виду и по возрасту. Он подумал, как всегда не просто, будто вспоминая текст прочитанных книг:

«Ни одного молодого. Все древние зверо-люди, замедлившие на стезе вымиранья. Если попадемся, узнаем: «Виновны ль мы, коль хрустнет ваш скелет в тяжелых нежных наших лапах».

И в тусклых стылых его глазах затеплился огонек, отблеск чужого вдохновенья, слабоснльный н минутный. Латыш нскоса глянул, быстро и точно определнл колнчество башкнр. Степаненков мысленно нехорошо выругался. Шурка засмеялся, с любопытством оглядывая двор.

На прнступках амбара сидело человек пять чубастых немолодых казаков. Онн рассматрнвалн старнннное с шнрокнм дулом одноствольное ружье. Плечнстый казак с выпнрающнм шнроким подбородком встал, прнмерил на плече его тяжесть и глухо, нутром засмеялся. Но лнцо его не задвнгалось, не полегчало от смеха.

Старый служнвый выстроился было начальственно, картнnно в дверях, но, завндев казаков, ссутулился, поспешно зашагал к ннм с занскнвающнм подхохатываньем.

Трое крестьянскнх дровней с поклажей, увязанной кошмамн, стоялн у ворот. Маленькне взъерошенные степные лошади замерлн понуро, как в дреме. Но верховые, под казачьнми н кнргнзскнмн седлами, беспокойно перемннались под сараем, тянулнсь мордамн друг к другу н коснли глазом за загородку, где тревожился с густым ржаньем рослый жеребец.

Тяжело топталнсь по двору и галдели мужнкн в тулупах, туго подпоясанных, в пимах — будто в дальннй собравшнеся путь. Похоже на съезд у волостн илн деревенское торжнще в базарный день. В широко распахнутых воротах, как в раме, стоял малорослый Алибаев. Он размахнвал рукамн н ненстово орал кому-то вслед:

— Проходн, проходн мнмо, не задерживайся! Да язык в другой раз прндержн, а то я сам за тебя прнмусь, отучу к партизанам с указкой лезть. Полгода раскорякой проходншь, коль сам проучу! Такой декрет пропишу, что не встанешь!

Степаненков подошел поблнже к воротам. Испуганная гуденьем алнбаевского двора, пронеслась мимо запряженная в дровнн молодая лошаденка. Она смешно нырнула в глубоком ухабе н вынесла дровнн боком на пригорок. Молодой парень-седок, франтовато одетый в пальто на городской фасон, в длинном пуховом шарфе, замотанном три раза на шее, вывалился нз дровней, зацепился концом шарфа за дровни, поднялся и опять кувырнулся в снег из-за шарфа. По улице раскатился смех ребятишек, и они дружной черной стайкой пронеслнсь вслед за дровнями. Мелькали цветнстые юбкн баб, выбежавшнх из дворов. Мужнки в овчинных тулупах и в полушубках, наброшенных на плечн, усмешливо щурясь, прнподнимая шапки, с неторопливой размннкой,

в одиночку и кучкамн, подходили к башкирам, казакам и наезжим крестьянам. Точно мелкая рябь пробежала по глубоким сугробам улицы. Сквозь падающий снег окружные горы казались зубчатой грудой плотно сгустившегося тумана. День уходил. Вечерняя зимняя серость налегала тяжело и тоскливо на сугробы, гася их белизну, обволакивала избы и дворы, сгущалась в закоулках и под крышами в зыбкую темноту. И люди, их движенье и гомон показались Степаненкову недействительными, неясными, точно приснились во сне. Пил он мало, но от духоты и волненья голова слегка кружилась и телу не хотелось двигаться. Мысль: «Надо торопиться»,— в мозгу проползла медленно. Встряхнулся только, когда с ним заговорил низенький красноносый старик. Он легонько стукнул батожком об ворота, остановился около Степаненкова, оглядел его внимательно, зевнул, перекрестил рот и, счищая сильно трясущимися корявыми пальцами снег с бороды, спросил:

— А вы, городские, с чем наехали?

Степаненков повел плечами и ответил, не глядя на него:

— В гости к приятелю.

— Ыгым... Издаля гости только на свадьбу иль на похороны ездиют. У Алибаева ровно ни того, ни другого во дворе не деется. Ну что ж, с гостями, и мы за гостей сойдем! Тоже стаканчик, глядишь, поднесут.

Он усмехнулся и вопросительно посмотрел на подошедшего служивого в дохе. Тот отрицательно помотал головой, потом лукаво прищурился, показал Степаненкову глазами на низенького старика и щелкнул пальцами себе по кадыку:

— Любит.

Низенький спокойно кивнул головой в подтвержденье:

— Около Гришки только и дышу, часто пользует, спасибо ему. У нас в Каин-Кабаке мало кто есть нестарательный на выпивку. Только во хмелю да в драке и радуются. Теперь драка-то, слышь, позатихла, а у нас не хочут. Вовсе отбились от тихости, не знай, куда теперь приверимся. Хозяйство поразмотали, так вроде дворни при Гришке. Он шаперится, и мы с им. Беспокойно, а ничего. Куды же мы от его? Никуды мы, Григорий, от тебя.

Алибаев огляну лся. Короткая, очень черная жесткая щетина его волос помягчала от пота, закурчавилась. Он был сильно взбешен чем-то. Злобно крикнул на старика:

— Ты чего здесь толкешься?! Тебя кто сюда звал? Восьмой десяток землю гадишь. Хорошие-то люди почету себе

требуют в этакне-то седые годы, а ты все холуем под руку лезешь. Тьфу!

Старик поиурнлся, легоиько вздохнул и быстро отошел к стороике за ворота. Алнбаев сумрачно глянул на чекнстов и круто повериул от ннх к дровням с поклажей. Спроснл широкоплечего суровоглазого мужнка в старом, выношенном тулупе:

— Чего привезли?

Тот, лаская возы загоревшимся жадным взглядом, ответил:

— Овчины, шерсть, пшеио, пнмы н баранье сало. И гусн есть, и свииины туша. Ныиче, что ль, распределншь? Чего откладывать!

Шнрокоплечий мужик был богат. Спасая добро, однн из первых прозорливо примкнул к алнбаевскому войску. В годы обиищаиья одиосельчаи приумиожил н скот во дворе, и запасы в закромах. Но от избытка сам в теле не потучнел, а схудал, прожелтел в лнце, помрачнел. Прнумножая, все больше распалялся алчной тоской. Алибаев, поняв снедающую его заботу, сухо ответнл:

— А ты загребы-то свон шибко не расставляй, малость какую-ннбудь уделю. Не для этакнх, как ты, для бедноты реквнзовалн.

Служивый в дохе льстиво под руку Алибаеву сунулся:

— Правильно! Для бедиоты права в бою отбилн. Для кого же мы и старались!

— Ну... ты еще, старатель!

Алибаев больио ткнул его кулаком под ребро. Служнвый подавнлся словом, отскочил, ио, передохнув, снова молодцевато выправнлся. Грнгорий, глядя на него сумрачным взглядом, сплюиул и очень нскренно сказал, порывнсто повернувшнсь к Степаиеикову:

— В бою-то люди бились рядом со мной, а теперь погляжу поблизости — погань одна, на пожнву тянется. Что ты скажешь? Чнсто вшн меня обсыпалн. Тварь малоснльная, а шнбко вредная.

Казакн прнслушнвалнсь. Однн крнкнул:

— А ты, Алнбаев, от этнх от вшей, что лн, н сам заплошал? Дружок-то твой, Пантюшка-грамотей, что сейчас высказывал? То нельзя, да это запрещается. Кому запрет? Нам? О-го! Какой ретнва-ай! А ты послухал, отбрехался, как собака хилая, у свонх ворот ему вслед. Это чего же? Не хочешь, да засумлеваешься. Ветерь-то теперь, вндать, не по нам дует.

— А ты с твоимн станичннкамн протнв ветру не умеешь?

Алнбаев в ответ выругался длинной фразой, замысловато прнбирая одно к другому непристойные слова. Мужнки восхищенио перегляиулнсь. Казакн густо захохоталн. Алибаеву мастерская брань тоже будто сердце облегчила. Он повеселевшнм голосом обратнлся к Степаненкову:

— Вот так-то, друг! Это вы там в городу худо поворачнваете.

— А по-моему, у тебя иехорошо.

— Да уж там хорошо ли, иет лн, а правнльно. Кому в восемиадцатом годе кншкн выпускалн, того теперь застанвать? Эге, шалншь!

Степанеиков покачал головой.

— Ой, зарвешься, парень. Надо бы маленько с властью считаться.

— Мне Москва не указ. Власть иа местах, за что билнсь? Пускай там господам потакают, мы буржуям не потатчнкн. Заново брюхо отрастнть ие даднм, ша-а-лишь!

И, уже совсем повеселев, подошел к чекнстам. Шурка быстро отвел в сторону загоревшнеся глаза, круто отвернулся. Степаненков, тоже глядя мнмо иего, сказал:

— Ты, чем бахвалиться, шел бы оделся. Застудншься.

— Эге! Ни начальством, нн застудой не запугивай, товарищ! Пугаиы, пугаиы, до того уж перепуганы, что и пугаться разучилнсь. У вас там во все щелн баре повыперлн, а мы на господ не согласны. У нас как постановнлн, так н не сменяем: мужнчнй верх, а не господскнй. Вот поспрошай мое воннство. Недавно господин учитель однн запрекословнл...

Степаненков сердито махнул рукой:

— Ну тебя! Муторио от бахвальства твоего. Ты мне лучше объясни, что это у тебя — съезд, что ль, какой во дворе?

Алнбаев, уставясь ему в лицо желтыми глазамн, охотно объясннл:

— Это вроде как моя лнчная охрана. Всякой тварн по паре. Как в Москву на вызов выезжал, онн на станцию поиаперлн, чуть поезд не задавнлн. Я сам их назад отослал — своей, мол, охотой еду. А все-таки нет-нет да нежданно соберу, чтобы всегда наготове держались.

— А сегодня зачем собрал?

— Говорю — проверка, непонятливый ты какой. Ночью надумал, нынче на заре слух с нарочным подал, и вот, глядн, чуть за полдень — онн уже все тут нз разных мест. Коль надобностн не объявится, пошумят на дворе да разъедутся.

И с реквизиционными подводамн в час угоднли. Вот дележку мою поглядишь, справедлива ли. Ай не хочешь?

Глаза их встретилнсь. Степаиеиков глуховато сказал:

— Большой охоты ие имею. Ссориться с тобой придется.

Высоколобый издали осторожно вставил:

— Да, пожалуй, иам и собираться пора. Как бы иочь не застигла в пути. В Алексаидровке иочевать собирались.

— Здесь заиочуете.

В голосе его не прозвучало никакой угрозы. Неподвнжиый взгляд косых глаз тоже остался спокоеи, ио чекнсты поняли, что Алибаев их без боя не выпустит. Вся надежда только на подмогу. Высоколобый соображал:

«Жизии моей, пожалуй, пока ничто ие угрожает. Может быть, еще торговаться с иами будет. Надо выжидать».

Выжидаиье оказалось иестерпимым ие только для Шурки, но и для Степаиеикова. Шурка весь побелел, у него тряслись губы, он сделался сразу сам иа себя не похож. Его возмущала унизительность их бессилия. В такой переделке ои еще ие бывал. Если бы можно было нм отбиваться с оружием, а то иате — сами приехали и сдалнсь в «плеи». Чего же старшие-то думали? Надо было сразу с отрядом весь хутор окружить, запалить, заиять, смирить. И он неиавидел теперь ие только Алибаева, ио н Степаиенкова, и латыша, и высоколобого. Степаненкова мутила злоба от другого. Здешиие людн, вся окружающая Алибаева непростая обстаиовка претили его здоровеиной, цельиой, как плоть, душе. Ои ие мог поручиться, что, если еще Алибаев обратится к нему с каким-либо словом, он ие ударит его, отметая всякую осторожиость, с чувством огромиого душевиого облегчеиья. Латыш ощущал схожее со Степаненковым бешеиое отвращеиье к врагу, но знал, что гиев свой обуздать может. Ои обдумывал возможиость иападенья иа Алнбаева. Высоколобый один мог продолжать разговор с Григорием. И ои иачал было его расспрашивать о партизанских боях, ио Алнбаев отвернулся. Он услышал за сараем, иа задах, пронзительные женские выкрики.

Алибаев засмеялся, крикиул служивому:

— Лизарыч, прииеси мие одежду. Кларку шугиуть надо. С Пантюшкой, видио, спорить сцепилась. Не в свое дело лезет! Я ее сейчас! Шку-ура!

Лизарыч быстрым скоком, хлопая полами дохи, сбегал за полушубком и шапкой. И одиовремеиио через задиие ворота под сараем вбежала Клара. Оиа теперь была в папахе, в солдатской шниели и с револьвером на боку. Возбуждеиио сообщила:

— Оце ж, сучий сын, как лается! Пальнуть бы, як в Кирбасове того смутьянщика!

— Я тебе, стерва, пальну! Иди в избу, ну?!

Алибаев сильно толкнул женщину в двери сеней. Она стукнулась головой о притолоку, взвизгнула, кинулась к Алибаеву с криком, с вытянутыми вперед руками. Он ударом сбил папаху с ее головы, сильно рванул за волосы, пинком втолкнул обратно в сени, притворил дверь и накинул ее на щеколду. Клара стукнула раза три в дверь, потом жалобно заплакала и затихла в сенях. Алибаев подошел к Степаненкову, что-то хотел сказать. Тот, хмуро глядя в сторону, не слушая, перебил:

— Где же наши кони? Я чего-то их не вижу. Мы ночевать не остаемся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, прищурил глаза и, явно издеваясь, проговорил:

— Ой? Не желаете больше гостевать? Не понравилось? А мне вы глянетесь, не отпущу. Погостюете с недельку, а может, и поболе. Сколь хозяин захочет.

По лицу у Степаненкова прошла, как мимолетный взблеск, судорога бешеной ярости. Он сильно сжал челюсти, сдержался, продохнул и с усильем, но спокойно и твердо выговорил:

— Не блажи, Алибаев. Хватит. Где наша подвода?

— Ишь ты, строгий какой! От прежнего дружка рыло в сторону. Чтой-то? Не выпущу, поживете в моем монастыре по моему уставу.

Степаненков круто повернулся, хотел отойти. Высоколобый не понял его движенья. Поторопившись предотвратить беду, вызвал ее. Ему показалось, что Степаненков наступает на Алибаева, хочет ударить его. Он сзади крепко обхватил Степаненкова. Шурка наскочил на Алибаева, уронил его на землю, стал бить кулаками и сапогами. Алибаев, ловко извиваясь, вырвался. Шурка выстрелил — промахнулся. В ответ выпалил из ружья казак, тоже не задел ни одного из чекистов. Сзади башкиры налегли на них. Алибаев заорал:

— Не наваливайся, чтоб живы остались! Эй, слышь! Живыми оставить! У меня с ними еще разговор будет.

Стрельба прекратилась, но началась свалка. Чекистов обезоружили, связали, внесли в каменную кладовую, положили на кошомный ворох. Громыхнул на дверях тяжелый замок.

Трудно было определить, сколько времени пролежали. Со двора вначале доносился неразборчивый говор, людская

толкотня. Потом вдруг шум возрос, послышалось движенье, похожее на разъезд. И после этого сразу за стенамн кладовой сделалось очень тнхо. Через промежуток времени, мучнтельно долгий для запертых в кладовой, замок за дверямн кто-то осторожно принялся тревожнть.

Освободнла их Клара. Она с прерывистым дыханьем сбивчиво жаловалась на жестокую обнду от Алибаева, кляла какую-то Марьюшку, прнставала к Шурке с тнхнм прнчнтаньем:

— О, боже ж мнй мнлесенькнй, та який ты горячнй. Хиба ж можно? Полон двнр, а ты стрелять.

Степаненков серднто дернул ее за плечо.

— Некогда. Народ где?

— Да ннкого нема. Грнгорий затоскував, уснх по домам разогнав. О, якнй же скаженный! Я б его свома пальца́мн задушила, шайтана! Избил меня, а жалкует над сукой, забув все, хочь с пушек палы — не учует. Слова не промовнт, тнлькн ее разгляда. Та колы бы вона не подлянка була... Тикайте, тнкайте швыдче! Ото ему будет мнй подарочек на утре. Отчинит кладовку, а положенных нема.

С ночного неба густо падал снег. Ветер налетал порывамн, ударялся в стены, в ворота. Клара пояснила:

— Нема вашнх коней. Мабуть, казаки угналн. Да запряжнте Бурку. Ну! Идыть суда. Да ничого, не лякайтесь. Внн не учуе, с Машкой сопыть.

Высоколобый спроснл:

— А где же этот... Лизарыч?

— В горнице с дидкой Козырем сплять. Воны же пьяны, не проснутся.

Шурка жарким шепотом спроснл:

— Где Алнбаев?

Латыш, не дожндаясь ее ответа, пошел к избе. В окне внднелся свет. Высоколобый решительно приказал:

— Шурка, иди с этой бабой за лошадью. Запрягите пару, если найдешь. Ждн во дворе.

Клара нетерпелнво крнкнула:

— Да тикайте вы! Чего не бачнлн в оконце? Намерзло, не видать н ннчуть ничого.

Степаненков легонько оттолкнул ее.

— Идн, баба, покажи, где лошадь. Запрягайте скорей. Мы сейчас.

Окрепшнй ветер ударял в стены нзбы, взвывал в трубе, но Алибаев шорох в сенях услышал. Приоткрыл дверь и крикнул:

— Кто там?

Леинвый, очень мягкнй жеискнй голос в нзбе позвал его.
— Да ие тормошись, беспокойиый ты какой! Ветер шумнт. Ладно, как раз по иоге.
Алнбаев дверн плотно не прнтворнл. В небольшую щель латыш острым взглядом разглядел избу. Створчатая дверь в горницу была плотио прнтвореиа, и в ручку засунут ухват вместо запоркн. У маленького скосившегося деревянного стола с водкой н закуской стояла невысокая, тяжеловатая телом, белолнцая, чуть куриосая женщнна в бумазеевом капоте. Оиа вннмательио разглядывала иовые блестящие резнновые галоши иа ногах.
Алнбаев подошел к ией вплотиую, шумно дыша, прнпал головой к пухлому плечу.
— А песню, Марьюшка, не споешь нынче?
— Ай, да ну тебя. Уж тебе иынче пели-пелн.
— Это пьяные-то?
— Да здешинй народ и ие поет, когда не пьяные.
— А пьяные частушку отстукают, как дятел носом по дереву. Разве это песия — без разлнву? Онн расейскнх ие могут, а ты протяжно поешь. Я за то н залюбил тебя. Баба ты плохая и хапаная, гулящая, за что бы я тебя больше залюбил?
— Ну-к, пусти, я сяду. Спать мне уж охота, а ие петь. Айда лягем.
— Ох ты, лапынька моя...
Дверь распахиулась, чуть с петель не слетела. Латыш сзади схватнл Алнбаева. Круглолнцая женщниа взвизгиула иегромко. Степанеиков быстро повалил ее иа скамью и скрутнл веревкой. Быстрым говорком просила, вертя головой:
— Не затыкай мие рота, голубчик. Я не закрнчу, ие крнкиу я, товарнщ. А то задохиусь, у меня дых шнбко крепкий, задохнусь. Я ие буду кричать, миленькнй! На кой он мне сдался, кыргыз страшнючий! За калоши я, на калошн позарнлась.
Алибаев сдался без малейшего сопротивлеиья. Услышав слова жеищииы, дериул головой, и лнцо его исказнлось ие то испугом, ие то тоской.
Своего оружья не иашли. Дверь в горннцу, чтоб шума ие подиимать, ие открывали. Латыш захватил большую железиую кочергу. У Алнбаева в кармане оказался револьвер.
Степаиеиков сказал:
— Ладио, до подставы недалеко, едем скорей.
Крепко скручениого веревочиыми вожжами Алибаева

с глухо заткнутым ртом завернули в большой овчинный тулуп, нахлобучили шапку и вынесли на двор. Григорий завертел шеей, вбирая ноздрями воздух, но не дергался, не извивался в руках несущих. Высоколобый даже сочувственно попенял ему в мыслях:

«Удивительно недальновидный, даже глупый человек. Дал представленье, пошумел, а в нужную минуту остался сир и беспомощен».

Очевидно, думая о том же, латыш сплюнул и сказал:

— Дырявый башка. Старики, если дверь заломают, не помогут, испугнутся. Ну, скорей клади!

Запряженная в широкую кошеву нескладная пара, длинногривый гнедой жеребец в корню и пристяжка — молодая пугливая вороная кобылка, беспокойно топтались, чуя дыханье людской тревоги. Жеребец заржал. Из-под сарая выскочил Шурка. Бесшумно, по-кошачьи опередила его Клара. Она наклонилась над кошевой.

— Это хто? Ох, лыхо? А чому ж ее так!.. Та хиба ж я вам его отдамо?

Крикнула отчаянно, страстно:

— Ратуйте, люди!..

Шурка схватил ее за плечи, закрыл рот рукой, она вырвалась, бешено плюнула ему в лицо и снова яростно завопила:

— Э-эй!.. Помо-жи-ите-е!

Латыш с силой ударил ее кочергой по голове. Папаха слетела вбок, Клара, не согнувшись, повалилась около саней. Густо падающий снег быстро запорошил ее.

Тревожно прислушались. Никакого отклика на Кларин крик. Ветер бился в стены строений с гульливым высвистом и унылым гуденьем. Под напором его глухо постукивали ворота об засов. Покряхтывал плетневый хлевушок около избы. В студеном мраке, пересекаемом белым мельканьем снежинок, жутко чернела их подвода и четыре настороженных фигуры. Степаненков скомандовал:

— Садись.

Латыш схватился за вожжи. Степаненков придержал его за плечо.

— Пимы надо бы, пожалуй, захватить.

Шурка перебил:

— Кати! Некогда. На подставе запасная одежа есть.

— Ну, ладно, поворачивай к задним воротам. Через гумно выедем на дорогу.

В воротах жеребец зауросил. Круто задрал морду, поднялся на дыбы, сильно рванул кошеву вбок. Пристяжная

задрожала, замельтешила иогамн, метиулась в сторону, чуть ие оборвала постромки.

Латыш соскочил с козел, перебросил вожжи Степаиеикову, схватил кориевнка под уздцы, два раза ударнл его кулаком под морду и дериул вперед по дорожке к гумнам.

II

На сырту, иа горах крутил лютый бураи. Со всех сторои иеслись, иалетали, свивались, кружили ветры. Сугробы, скрытые тьмой, гуделн, шнпелн, стоиали от ветрового разгула. Сверху скупо падала мелкая твердая крупа, ио сиизу большим белесым облаком без конца и краю вздымалась, внхрилась в студеиой страстн колючая поземка. Застнлала зыбкой непроницаемой мутью все вокруг. Шурка н латыш с козел виделн только чуть чериеющне крупы лошадей н взвиваемую ветром, побелевшую длинную гриву жеребца. Холод жег лицо. На бровях н ресницах иастыли льдинки. Лошади бежали увереиио и шибко. Люди иа подводе, ныряющей в ночиом буране, не сразу учуяли, как проднрается под одежду стужа, как устают ие видеть глаза. Оин не слышалн стеиаинй метели и не пугались их.

Снльно разгоряченные удачей, еще переживалн радость ее в короткой отрывистой перекличке друг с другом, в мыслях.

Связаниый Алнбаев иеподвижио лежал в кошеве между Степаиеиковым н высоколобым. Казалось — спал. Вдруг ои яростио дернулся, сильио зашевелнлся. Высоколобый сообразнл:

— Эх, забыли! Рот освободнть иадо, еще задохнется.

Озабоченно завозился над арестоваииым. Алибаев шумно продохиул и выругался.

— Ну, смекалнстые! Разве пьющий человек может долго носом дышать? От запоя дыханне иапориое. Закурнть нет лн у кого у вас?

Ему ннкто не ответил. Степанеиков иапряженио всмотрелся вперед, оглянулся н тревожио приподнялся в кошеве.

— Краузе, что-то долго нет спуска! А? Што?

Не разобрать, что ответил латыш. Шум вьюгн разрывал, глушил слова. Забеспокоился и высоколобый. Сразу ощутнл, что иоги у иего одеревеиели от холода, а большой палец правой ущемила острая боль. Закричал, преодолевая напор ветра:

— Не сбилнсь ли?!

Но в этот мнг сбоку в белесой стонущей темноте выросла

чериая теиь. Вешка! От сердца отлегло. И боль в ногах будто ие так уж сильиа. Латыш тоже весело взмахиул киутовищем, указывая иа вешку. Оиа, мелькиув, тут же затоиула в бураие. Алибаев громко зевиул, передернул от холода плечами, лениво спросил:

— Степанеиков, а вы куда меня везете?

— Довезем куда иадо, не беспокойся.

Дорогу сильно замело сиегом. Оиа становилась все трудней, и лошади пошли уже ие быстрым бегом, а трусцой. Почувствовав сильно забиравшую его дрожь, Степанеиков выскочил, пошел, держась за грядку кошевы. Следом за иим выбрался из саней высоколобый. Спрыгиул и Шурка с козел. Холодиый ветер швырял в лицо обжигающую сиежиую пыль. От иапора студеиого воздуха трудио дышалось иа ходу. Полы тулупов хлопали по ногам, мешали. Шурка, одетый щеголеватей и легче других, двигался быстрей, ио скорей других иззяб, и ходьба его ие согревала. Ои иачал дрожать и пристукиул зубами, как в сильной лихорадке. Чекисты часто срывались с твердого наста дороги, увязали в сиегу, с трудом высвобождались. За сапоги иабился сиег. Затревожился латыш. Повернулся с козел к саиям, громко спросил:

— Сколько верста до первой спус под гора? Слышь, Алибаев? А?

Алибаев, стараясь перекричать метель, громко взревел:

— Какой спуск? Мы вдоль по сырту шпарим.

— Этот ие в город разве дорога?

— Да я вас ведь спрашивал, черти дубовые, куда везете? Зачем в город по сырту ехать? Сразу, как на гору поднялись, не по той дороге ударились.

— Куда-а?

— «Куда»!.. На кудыкииу гору, вот куда! Чего я, лежа, разгляжу в этакой темнотище? Не знаю — куда, только не в город.

— Тпру-у! Сто-ой! Че-орт!

Латыш, резко дернув, иатянул вожжи. Пугливая пристяжиая, подавшись назад, больио ушибла о скалку задиие ноги, взбрыкнула, бешеио рванула вбок. Жеребец взмахиул гривой, захрапел, тоже сильио дериул кошеву. Саии накренились, латыш не удержался на козлах, упал, протащился иа вожжах и выпустил их из рук.

— Сто-ой! Стой! Тпру! Стой! Дер-жи!

Шумно дыша, сразу согревшись, чекисты, увязая в снегу, падая, поднимаясь, все же не отбились от лошадей, добрались. Кони тоже с огромной натугой преодолевали вязкие

снежные валы наметенных сугробов, бежали недолго, с размаху угрузли в лощине. Жеребец надрывно заржал. Этот близкий живой зов просек взвыванье метели, помог людям в бесноватой мутной тьме собраться вместе у подводы. Шурка выбился из сил. Обхватил руками козлы, припал к ним головой и никак не мог отдышаться. Высоколобый тоже изнемог. Дрожащими руками нащупал край кошевы, грузно ввалился в нее. Незадолго до этой поездки у него обнаружилось нехорошее состояние сердца, и сейчас ему показалось, что он умирает. Непередаваемая физическая тоска во всем теле, стесненность в груди и особая, пронизанная колючими искрами темнота, видимая или, вернее, ощутимая закрытыми глазами. О, так мучителен может быть только чудовищный, явственный уход живого в небытие! Он застонал, скорчился в санях рядом с Алибаевым. Степаненков и латыш топтались, тяжело месили снег около лошадей, громко перекликались смятенными обрывистыми фразами, перебранивались. Алибаев, с силой вздернув голову, яростно заорал:

— Гусем надо было запрячь! Недоумки, дьяволы безголовые!

Латыш в сердцах замахнулся на него кнутом, Степаненков схватил за руку, удержал.

— Постой... Алибаев, назад повернуть далеко?

Шурка звенящим испуганным голосом крикнул:

— Да не ври, проклятый бандит! Все равно, хоть самим пропадать, тебя из рук не выпустим!

— Э-эх, ублюдки безмозглые! Всадили сами себя! Разве в буран можно коней с путя дергать? Теперь чего разберешь — куда далеко, куда близко?

Кругом со стенаньем и визгом качалась белесая бредовая муть, закрывала все пути. Степаненков попробовал искать их собственные следы с дороги сюда. Но они уже истоптали снег около подводы. Подавшись шагов на десять подальше, он сразу перестал видеть кошеву и лошадей, с трудом уловил голоса, закричал:

— Где вы-ы?!

Ветер озлел или изменил направление. Отстав от убегающих коней, они все же слышали ржанье, теперь отклик Алибаева чуть долетел до Степаненкова:

— А-а! Сюда-а!

Закудрявившаяся, запорошенная снегом шерсть взъерошилась на лошадях. Молодая кобыла дрожала мелкой дрожью вся — от гривы до хвоста. Кони вытягивали шеи, напрягались и не могли высвободиться, стоя по брюхо

в снегу. Латыш неистово хлестал их кнутом, ударял кулаком по хребтам и в бока, чтобы они сдвинулись с места.

Степаненков мрачно и неуверенно выговорил:

— Что ж, надо кричать. Может, кто с дороги услышит.

Закричал первый:

— А-а-а!.. Помоги-те!..

Высоколобый завозился в санях, напряг все силы, продохнул, с усильем слабым, неверным голосом простонал:

— Сюд-а! Помо-о-ги-и-те!

Шурка крикнул отчаянно, очень громко, захлебнувшись криком, как захлебываются плачем дети. Латыш вспомнил, вытащил револьвер, выстрелил вверх три раза подряд.

Вглядывались, прислушивались, мучимые надеждой. В беснованье зыбкой мглистой тьмы почудился Шурке отклик, чье-то живое спасительное приближенье. Он взволнованно попросил:

— Подождите!

Но сам не мог ждать, сейчас же снова закричал:

— Сюда-а!.. Э-эй!..

Слышали, ждали. Все то же взвыванье, гуденье, шипящее шуршанье снегов под налетами ветра и неживое жуткое колыханье студеного мрака. Вдруг ясно выделился унылый вой, непохожий на метельный. Он нарастал, креп, доносился все настойчивей и чаще. Высоколобый исступленно взвизгнул:

— Волки! Краузе, стреляй!..

Латыш выстрелил вверх три раза, потом завозился, отыскивая запасные пули. Долго заряжал плохо сгибающимися пальцами револьвер и хрипло, отрывисто бормотал проклятья, уже не по-русски, на своем родном языке. Стояли, топтались, кричали долго. Прислушивались, совещались. То один, то другой порывались идти на поиски дороги, но скоро возвращались обратно к саням. Шли часы. Им показалось, что ночь должна была быть уже на исходе.

Вой затихал, потом снова вздымался совсем близко. И высоколобый не знал, мерещится ли ему, или он действительно видит огненные точки волчьих глаз. И справа и слева, здесь и там — всюду в окружающей их жуткой темноте. Снова подступила к горлу дурнота, затомила страшная телесная тоска. И он отчаянно, неожиданно громко взмолился:

— Господи!.. Господи, помоги!!! Господи-и!..

Алибаев опять сильно завозился около него, закричал:

— Эй вы, дьяволы! Шурка-то, никак, упал? Растирайте его, тормошите. Да развяжите вы меня, собаки!

Степаненков наклонился над Шуркой, разметая по снегу полы тулупа. Позвал латыша:

— Краузе, надо его в кошеву... или в снег... Слышишь, давай снег разгребать. Всем нам надо в снег закопаться. Теплее.

Латыш рванулся к саням, остановился, плюнул и хлопнул себя рукой по лицу. Вспомнил, что захваченную в алибаевской избе кочергу бросил на дворе, пристукнув Клару. Иззябшие пальцы плохо повиновались. Мерзлый снег трудно им поддавался. Они разгребли яму только для Шурки, чуть прикрыли снегом его одного. Высоколобый, уткнувшись головой в угол саней, стонал уже без слов, часто содрогаясь всем телом. Шурка совсем затих около кошевы на снегу. Алибаев невнятно и злобно бранился, перекатываясь в кошеве. С огромными усильями удалось латышу вздуть спичку. Степаненков, широко распахнув тулуп, защищал слабый огонек от ветра и мокроты. Латыш разглядел на часах время. Только девятый час вечера на исходе. Краузе решительно сказал:

— Искать надо дорога.

Попробовал выпрячь пристяжку, она жалобно замотала мордой, осела еще глубже в снег, точно у ней подогнулись ноги.

Алибаев скрипнул зубами:

— Ухайдакали коней! Жеребец застывает, а кобыленка совсем сквелилась. Эх, паршивцы! Из-за вашей дурости животная гибнет! Нет ли дерюжки какой в санях, прикрыть бы.

Латыш махнул устало рукой и пошел вправо от саней.

— Краузе, не ходи от подводы. Пропадешь, болван!

Латыш не отозвался на окрик Алибаева. Отважно шел, увязая в снегу по колена. Скоро его не стало слышно. Алибаев, окликнув его еще два раза, раздумчиво сообщил:

— За ветер зашел, пиши пропало. Нельзя непривычному в буран от подводы отдаляться.

Степаненков уже перестал дрожать от холода. Почувствовал, как все его тело словно затекло, налилось большой, трудно преоборимой усталостью, как огрузнели над его глазами веки и ослабели губы. Он испугался. Закричал, с усильем ворочая языком:

— Краузе-е! Наза-ад!

Будто подымаясь на крутую гору, зашагал он около подводы, превозмогая тяжесть своих плеч и ног. Временами принимался опять кричать все слабеющим голосом:

— Эй! Кто живо-ой!.. Помогите-е! Кра-а-у-зе-е!..

И в час тяжелого топтанья, беспомощных криков в неживое, во тьму, в бездушное злодейство стихии он впервые в жизни ясно и строго думал о нелепой неверности человеческого существованья. Не один раз смерть дышала прямо ему в лицо. Как все люди, он перенес тяжелые, опасные болезни. С мужеством, не для всех досягаемым, сражался в бою. В ревностной работе Чека он часто, видя гибель, безбоязненно приближался к ней. И ни разу его не поражала мысль о хрупкости его человечьего, уже никогда не повторимого века. Мысли эти не оформлялись в его мозгу в ясные слова. Он воспринял и понял их в одном животном ощущенье гнуснейшей своей жалкости перед концом. Раньше, ожидая смерть, он знал, что станет отбиваться до последнего вздоха. В болезни будет лечиться, от живого врага — защищаться силой или хитростью. И в этом непременном сознательном отпоре, в достойной защите своего живого дыханья был самый большой смысл его человеческого бытия, уверенность в ценности его созидающего жизнь по своему устремленью мыслящего существа. Не только чувствующего, но и сознающего себя. Теперь он погибал вместе с жеребцом и пугливой молодой кобылой так же безответно и глупо — от случая, от стужи, от снега, погибал, как ничтожная букашка, которую давят, не жалея, не радуясь, просто не замечая. И от этой, не размышленьем, не мыслями, а чутьем учуянной конечной, одинаковой с букашкой своей жалкости он затрепетал, испугался. Кричал в тьму и вьюгу, звал помощь. Устал и снова встрепенулся от страха. Нельзя больше топтаться и ждать! Взбодрившись последним усильем воли, он, как Краузе, решительно пошел искать дорогу. Алибаев во всю силу своего голоса закричал ему вслед.

— Степаненков, пропадешь! Развяжи меня! Я, может, найду дорогу. Я здешний, у меня киргызский нюх.

Степаненков приостановился. Прокричал в ответ громко, но уже беззлобно:

— Найдешь — так убежишь. Выручишь разве нас на свою погибель?

У него уже не было ненависти к Алибаеву. Смутно он ощущал даже его братскую близость от одинаковой их человечьей беспомощности перед лицом стихии.

— Развязывай! Кабы не захотел вам в руки даваться, так... Эх, дурак! Вон эти двое вовсе скорежились. Не медли. Мне парнишку жалко, а не нас с тобой.

Степаненков подошел, молча принялся развязывать веревки. Закоченевшие руки не могли осилить узла.

— Да, чать, иожик у тебя есть в кармане? После, как я пойду, ты сиегом шибче руки растирай.

Степанеиков еще раз вяло воспротивился:

— Алибаев, пожалуй, я не пущу тебя. Пропадать — так вместе.

— Ну, зачем ты губами зря шлепаешь? Сам скоро взвоешь: нди поищи. Это тебе ие от людей отстреливаться, тут пулей ие пособишь. Ну? Тяин мою руку. Вот! Эх вы, стервецы, тело примяли веревками! Стой, расправлюсь.

— Алибаев, пропадешь н ты. Куда тут идти?

— Я с рожденья здешний, степовой, ие учи. Я под ветер не пойду. Голос подавать стаиу, услышишь. Слушай хорошеиько. Да не поддавайся! Двигайся, ворошись, ие дремли. От подводы далеко гляди ие уходи. Эх ты, коняги-то застывают тоже! Большой убыток вы мие иаделали, стервецы. Кони хорошие, иедешевые. Эхма!..

Он выпрыгиул из саией, широко и сильио размахиул руками, расправляя смятое иеудобиым лежаньем тело. Потом с сердитым иеясиым бормотаньем пошарил в саиях н около саней иашел кнут, сильно стегиул обеих лошадей по очереди. Жеребец содрогиулся, дериул кошеву, проржал коротко и слабосильно, будто жалуясь. Пристяжиая чуть взмотиула мордой и опять поиурилась.

Алибаев сочувствеиио причмокиул, похлопал ее по спиие, вздохнул.

— Двоих молоденьких загубили — Шурку и вороную мою кобылеику. Вряд ли отдышатся! А молодое губить — это только н есть один грех, никак не замолимый. Сволочи вы!

Ои подобрал полы тулупа и, увязая, но привычио легко высвобождая крепкие крнвые иоги, закружил около саией. Остаиавливался, вглядывался в крутящуюся мокрую темь, потом пошел в одиом направленье, наискось от подводы. Скоро стал невидим, затонул во мгле, ио часто доносилнсь его короткие неразборчивые окрикн. Казалось, он переругивался с бураном. Степаиеиков оживился иовой иадеждой, бодрей шагал около саией, остаиавливался, напряженно вслушивался, ловя алибаевский голос. Заворочался со стоном н приподиялся в санях отдышавшийся высоколобый, горестно позвал:

— Степанеиков!

— Ну?

— По голосу слышио — ои все удаляется. Не вернется он. Да это все равно... На что он нам *теперь?*

— А ну тебя к дьяволу! Молчн.

Вдруг далекий голос Алибаева прокричал снльией и ясией:

— ...о-ро-ога!.. а-а-а!..

Степаиенков всем телом рваиулся на крнк. Собрав все силы, крикнул:

— А-а-а! Где же ты?

— Иду-у... ва-ам!..

— ...лнбаев!.. суда-а!

— Иду-у!..

Голос Алибаева то звучал совсем блнзко, то ослабевал, отшибаемый вьюгой. Около саней он вынырнул совсем иеожнданно.

— Кружнл, кружил, пропер было далеко, а дорога-то оказалась чуть ие под задом у иас. Вот теперь ие знай, как коней выволокем. Этн двое-то тяжесть, а ие помощники. Об Шурке я уж не говорю, а вот... Эй, господни, идти сможешь?

— Не знаю.

Высоколобый попробовал вылезтн нз кошевы, ио вскрикнул, бесснльио упал иазад.

— Ногн... иоги больио! И руками держаться иикак не могу...

— Э-эх ты, пес тебя задерн! Тебя, чать, и выкииуть ие грех. Ну, ладио, лежн покуда. Что ж, Степаиеиков, айда постараемся. Рукамн владаешь?

— Плохо, ио все-такн могу.

— Ладио, плечом тогда подсобишь. Перепрячь надо. А вы, иедопекн, иад здешиим иародом иачальствуете, а иичего ие прнметнли, как в чем ои вывертывается. Ужлн и ты, Степаиенков, ие слыхал, что в сиежную дорогу гусем пару запрягают, а? И подобралн как: жеребца с кобылой. Да она же еще молоденька, иепривычна. Ну-ка, иу-ка, мнлая, ио-о!.. Ожнла? Эх, как труснтся! Чего, чего? Стой, стой, глупая! Ну, иу, вышагнвай! Стой, куда! Эх, дура, вырвалась! Из последней снленкн прыгает по сугробам. Ну, чего ж! Догонять — измаешься! Да у иее все одно это последиее брыкаиье. Лягет в пути. Пропала, голубушка! Чего пием стоншь? Айда помогай жеребца из снега вытаскивать. Стой! Тут я. Ты подымай кошеву плечом. Этот постарей, поумней, иу да н посильией. Ну, голубь, ну, коияга! Но-о! Хоп! Еще... Ну-у. Но, ио, но!.. Ну... еще... еще... М-м-м-ых! Ну, вот вылезли. Передохии, Степаиенков. Что — скрючился и ты, друг? Ничего, жнву быть, так расправишься. Айда рюхайся в кошеву, отлежись. Теперь уж с дороги жеребец ие сойдет. Ишь, ишь, скотиия, а поннмает, что вызволились.

Лошадь тяжело вздымала боками, но, учуяв дорогу, дергала вперед, рвалась в бег.

— Стой, стой... Сейчас. Еще Краузе пошуметь надо. Может, где поблизости мается. О-о-о! Кра-у-зе-е! То-ва-рищ! Доро-ога! Сю-да-а! Това-а-рищ!..

На братский свой зов Алибаев отклика не дождался, хоть и немалое время взывал.

— Говорил дураку — не ходи. Ехал бы теперь с нами живой, радовался бы. Эх ты, дельный мужик пропал. Лучше бы вот этого барина заместо Краузе в степи оставить. Ну, да чего уж... Едем. Доберемся, верховых из села на розыски вышлем. Айда! Но-о!

Высоколобый из кошевы громко взмолился:

— Скорей!.. Погоняй, дядя, плохо мне.

Алибаев повернул голову.

— То-то, человече, еще «тятей» назовешь. В беде бывает мирной человек хуже, чем опасный. Мирной сробеет, а опасный захочет, дак вызволит. Но-о! Двига-ай!

Ехали длинным долом. Здесь поземка взметывалась слабей. Только густо сеяло снегом беспросветное небо. Сугроб на дороге был мягче, полозья глубоко входили в него. Лошади тяжело везти, но она бежала во всю силу, отфыркиваясь и похрапывая. Буря в узком долу завывала, как в трубе. Просекала, рвала слова. Степаненков не мог понять, о чем кричит Алибаев, по долетавшим бессмысленным обрывкам. Он и не вслушивался. После всего испытанного в сумбурный этот день и ужасную ночь теперь налегло на него тяжелое спокойствие, приглушившее сердце и мозг. Он силился думать не о том, что ожидает их на неведомой стоянке, куда везет Алибаев, а о том, что все же доверяться ему нельзя, он — враг, но ни злобы, ни настороженности в душе эти ленивые, дремотные мысли уже не возбуждали. Хотелось только тепла и сна. Скорей бы в жилье, согреться, расправить затекшее, издрогнувшее тело. Вдруг требовательно вошел в уши странный гулкий звук, напомнивший что-то хорошо знакомое, связываемое всегда с зовом, с кличем. Что это такое? Степаненков взбодрился, выпрямился, пригнулся вперед, насторожив слух. Алибаев оглянулся, наклонился к нему с козел.

— Слышишь? К селу подъезжаем. Звонят для заплутавших. Это, пожалуй что, Сусловка. Большое село. Тут даже милиционер вам на подмогу есть. Ну, барин, вот теперь помолись, поблагодарствуй за спасенье от нечаянной смерти. На звон выехали, теперь не пропадем. Все-таки, видать, твой бог расплющил глаз-то, когда давеча ты вопил к нему.

Высоколобый ответил смущенным, но уже окрепшим голосом:

— В бреду, вероятно, я, в беспамятстве был.

— То-то — в беспамятстве. Ладно, мы со Степаненковым за вас за всех старались, память не теряли. Ну вот, вам вперед наука: какая ни есть спешка, дуром ночью в буран в степь не суйтесь. Все одно — дело не выйдет.

Алибаев говорил строго, как набольший, подчеркивая, что теперь они у него в руках. Но замученные, иззябшие люди этим не возмущались. Степаненков очень неохотно и ненастойчиво все-таки попробовал дать ему отпор:

— За нас, Алибаев, ответ с тебя все равно...

— Не трепли, друг, языком. Аль башку поморозил, плохо смекает? Убежать-то я мог, а не убежал. И в Каин-Кабаке я сам в руки дался, смекни хорошенько. Выпустить вас позабыл, Марья ко мне пришла. Я только похорохориться перед вами хотел. Ну, об этом разговор в городе будет. Шурка-то еще дышит?

— Сейчас шевелился, стонал.

— Стонет, это хорошо. Тело, значит, свое чувствует. Может, отдышится. Ну-ка, гнедой, шевелись! Еще маленечко. Н-но!..

III

В чистой горнице все на городской фасон. На окнах вверху надвески в три зубца из жесткого кружева. Цветы порасставлены на особых табуретках. Тоже не деревенские — не герань, не столетник, а клен, фикус и уродливые кактусы. У стен венские стулья, диван деревянный, крашеный. Стол перед ним, отступя, посередине горницы, покрыт зеленой клеенкой с желтыми изображеньями Кутузова в середке и других генералов Отечественной войны в коричневых кружочках по углам. Висячая лампа под потолком велика, на керосин жадна, невыгодна. И горка с разнокалиберной посудой за стеклами, и неширокая железная кровать под байковым одеялом, и цветные бумажные обои на стенах — все будто не обжитое, не для себя, а напоказ, по праздничному случаю устроенное. Но за обоями, в пазах и щелях — многочисленное клопиное племя. Всю длинную здешнюю зиму горница не проветривается. Дух в ней стоит исконный, густой. Из неплотной створчатой двери идет смешанный запах овчин, квашеной капусты, кизячной топки и застарелого, въевшегося в одежды человечьего пота. Передний угол с протемневшими иконами и только с одним

моложавым образком, беленая кирпичная голландка с открытым прокоптелым жерлом без затворки, за голландкой — дощатая настилка для лежанья, с кошмой и бараньими тулупами в головах. Это настоящее — то, с чем живут.

Савелий Максимович, хозяин, хоть и хмурился, когда нежданные наезжие люди внесли в парадную горницу суматоху, сор, раскидали по полу сапоги и тулупы, сидел в ней теперь как-то охотливей, вольготней, чем всегда. Был он прижимист и негостеприимен. Достатком своим, уцелевшим после всех потрясений, без надобности хвастаться не любил. Еще спозаранку, убоявшись бурана, завернули к нему с дороги на базар двое старых его знакомцев. Один из них, Леонтий Кудашев, человек в нынешнее время сильный — председатель Совета здешней волости. Другой тоже очень полезный — прославленный в округе пимокат. Для них Савелий Максимович распорядился согреть самовар, но угощал их все же вместе с собой в жилой, семейной половине.

В ночи нанесло Алибаева с обмороженными. Косоглазый распорядился в дальней горнице их на отдых устроить. Савелий проживал не в алибаевской волости, но знал его силу во всей округе и опасался. Алибаев как-то грозился и в чужих волостях переворошить «амбарушки». Савелий этих угроз опасался, при встречах старался задобрить Григория и теперь подчинялся его распоряженьям. Возились с его спутниками долго. Всей семьей растирали, согревали, отпаивали самогоном и чаем. Шурка и высоколобый лежали на двух периах на полу. Высоколобый крепко спал, а Шурка затихал лишь временами, ненадолго. Сильные боли в теле нагнетали на него бредовые жуткие виденья. От физической маеты и от страха он стонал и метался. Степаненков, с лоснящимися от гусиного сала лицом и руками, вытянулся на диване у стола. Он часто открывал глаза, но взгляд его был блаженно-туп. Он не слышал ничего, кроме своего сладостно отдыхающего тела. Алибаев уже успел отлежаться. Он взбулгачил не только Савелия Максимовича, а всю его семью. Посылал его сыновей во многие дворы и добился, что снарядили верховых искать в степи заплутавшегося Краузе. Теперь, голый до пояса, сидел на полу, поджав под себя крест-накрест ноги, топил соломой голландку. От ярких вспыхиваний неподвижное лицо его казалось позолоченным тусклой позолотой, как у идола.

Буран все не затихал. От налетов ветра гудели порой стены. В замерзшие окна швырком ударялся снег. Час был уже поздний, полночный, а в горнице и в другой половине

избы еще не спали взбудораженные люди. Пимокат сидел на припечке, свесив ноги, а Леонтий Кудашев — рядом с Алибаевым на полу перед голландкой. Он, лукаво усмехнувшись, обратился к хозяину:

— Что вздыхаешь, Савелий Максимович? Гостей считаешь? Подвезло тебе сегодня.

Савелий знал, что Алибаев с нестоящим городским народом не станет валандаться. Знакомство в городу ведет только с начальниками. Поэтому ответил сдержанно, но достаточно приветливо:

— Гости на гости — хозяину радости. А кто это с тобой, Григорий Петрович, вместе в беду-то попал? Чем в городу занимаются?

Алибаев усмехнулся:

— На ночь не стоит сказывать. Завтра весь их чин обозначится.

Савелий насторожился.

— О-о? Вона что!

— Да ты сиди спокойно, не ерзай. Тебя это не касаемо.

Кудашев весело засмеялся.

— Этот, на диване-то, знакомец мой. Мы с ним пространно беседовали. Только он в нездоровье сейчас, потому и не признал меня.

— Где же это ты с ним обзнакомился?

— А когда в чеке шестнадцать суток сидел.

Кудашев легко поднялся, пошел за кисетом к столу. Был он сухощав и легок на ходу, очень моложав для своих тридцати лет. Алибаеву понравилось его чистое, выбритое лицо и светлый взгляд, оттого он живо заинтересовался.

— Я про тебя что-то мало слыхал, а то всю округу знаю. За что же это ты втепался?

Дверь приоткрылась, и в горницу вошла высокая русая девушка. Она сильно покраснела, встретив взгляд отца.

— Я за тулупом, папаня. Одеваться нам.

Алибаев приметил, что необычно для буднего дня она старательно приодета, причесана с гребенками в закрученных волосах и, отвечая отцу, быстро метнула взгляд на Кудашева. Он оглядел их обоих засветившимся взглядом, когда Леонтий торопливо проговорил:

— А вы посидите с нами, Анна Савельевна. Все равно скоро верховые приедут, разбудят. Мы вот тут беседуем...

Савелий неласково перебил:

— Спать ей пора. Чего она к нашей мужиковской беседе пристанет. Иди спать, чего болтаешься? Завтра не добудишься.

Девушка покраснела еще сильней, вытащила с припечки из-за спины пимоката тулуп и ушла.

Кудашев поглядел ей вслед, кашлянул, закурил вертушку, стесненно, нарочито небрежно вымолвил:

— Вы, Савелий Максимович, по старинке дочерей ведете. В городах, особенно в нынешнее время, они не только в разговоре — и в делах участвуют, так сказать, во всем рука об руку с мужчинами. Отчего же с нами и не побеседовать бы Анне Савельевне в нашей беседе?

Савелий, отведя глаза в сторону, строго сказал:

— Девка беседовать может только с матерью да с подружками. Замуж отдадим, тогда с мужиком побеседует. Теперь не дозволяю и на улицу играть, и на свадьбы гулять не пускаю. Шибко озорной народ нынешний.

Кудашев вспомнил, что Савелий, по рассказам, сам смолоду через край озоровал. И в здешние края попал по уголовному делу. Срок отбыл, общество его не приняло обратно на родину. Оттого и осел здесь, женился, добро нажил, теперь славится своей степенностью и строгой повадкой. Хотел было Леонтий намеком уколоть, отомстить за свое неприятное ему смущенье, но сдержался. Насупившись, зашагал по горнице. Алибаев с большим душевным интересом следил за ним. Но когда Кудашев оглянулся на него, он отвернулся и равнодушно сказал:

— За что же тебя шестнадцать ден в чеке держали?

Савелий Максимович отрывисто засмеялся. Точно глухо пролаял. Но проговорил без улыбки, неодобрительно:

— Начальник на начальника наскочил. Ну, вы беседуйте, а я пока пойду посплю. Чать, к свету, не раньше верховые вернутся. Ишь ты, гудет как! Свету, чать, не видать. Разбудишь меня, Григорий Петрович, коль спонадоблюсь.

— Ладно.

— Да вы бы тоже ложились. Чего...

— Керосин жалко? Если из городу вызволюсь, пришлю тебе из своего запасу.

Савелий приостановился.

— А ты как же в город-то?.. Не по своей разве воле? Опять везут?

— Иди, иди, спи, обо мне не печалься.

— Да об тебе чего печалиться! Ты заговоренный. Смерть-то тебя, не знаю, какая забрать может, не то что начальство.

И он, тяжело ступая, вышел. Стены ныли, гудели от ветра. Сухо ударялся швырками снег в стекла. Раза два громко вскрикнул и забормотал Шурка.

Алибаев подбросил в печку новую охапку соломы.

В горнице стало жарко, светло. Оттого что за стеклом бесновалась метель, казались жар и свет троим неспящим особенно дороги. Они расположились рядком. Пимокат лежал на животе, покашливал, почти не вступался в разговор. Большими печальными глазами глядел на огонь. Лицо его, уже сморщенное, с седоватой реденькой бородкой, сделалось наивным и теплым. Обычно он мешал всякой беседе желчными придирками, недобрым смешком, назойливым приставаньем, похожим на немощную злость хилой беззубой собачонки. Кудашев на него взглядывал не раз с ласковым удивленьем. Все трое, случайно столкнувшиеся у одного огня, под защитою одной кровли, надежно укрывшей их от лютого вражьего дыханья стихии, обрели редкую радость душевного большого сближения друг с другом. Каждый ощущал хорошую человечью заинтересованность разговором, мыслями, судьбой другого. Кудашев неторопливо рассказал о своем аресте.

— ...Явился, значит, этот хлыш к нам, зареквизировал во всех дворах тулупы и полушубки. Я гляжу — дело-то плохо, населенье волнуется. Взял да у себя в волости его заарестовал, полушубки назад роздал. Незаконно он действовал, после все выяснилось. Да если бы еще обидел вот Савелия — дело десятое, а то обобрал и правых и виноватых. И для себя лично, главное, много нахрапом приобрел. Ну, а у него мандат,— в волости-то испугались. Значит, его освободили, прямо, можно сказать, отбили, а на меня — донос. На их донесенье из города приказ меня с помощниками моими арестовать. Даже подводы не дали, пехом в город пригнали. Отсидел я, значит, в чеке в общем номере шестнадцать суток, пока дело разобралось. А потом — как в кадрели — он туда, а я сюда, на свое место.

— Что же, не обиделся ты? Не взбунтовался?

— Обиделся было, да одумался. Дурость и лиходейство, товарищ Алибаев, как дурная трава, меж хорошим из земли прут. Плохо, чего скажешь? Нехорошо. Я, как из Франции из плена бежал, сильно к большевикам стремился. Думал тогда, что у нас все хорошо, все без задоринки, а увидал много плохого. Ну, все-таки не забуду, как я к ним через страсть бежал. Добег — не уйду. Я вам так объясню: вроде как через те трудности кровная моя семья стали большевики. В другом месте я чужак, а здесь все свое. Где и засмердит, да ведь своя болячка, не отплюнешься, лечить станешь.

Он подробно рассказал, как бежал, три раза был возвращаем назад на тяжкие штрафные работы, наконец, все же

пробрался через Швейцарию в Россию. Перед его глазами вставали картины чужеземной жизни, теснились воспоминания о событиях, разговорах, городах, горах, морях, пережитом отчаянье и ликованье. Полоненный ими, говорил затрудненно, теряя нить, но с огромной сердечной горячностью. Потом пимокат медлительно и печально размышлял вслух:

— Трудящему, если он не пьяница и не ленив, жить всегда можно, даже при нынешней скудости. Одно беда: доктора хорошие почти все с буржуями убежали. Как я захворал, не умеют помочь. Сколько добра в городе пролечил, а все перхотка грудь сушит. Ничего мне не мило. Я и не разбираю, плохи ли, хороши ли ноиешние правители, вот ученых у них мало — это плохо, доктора нестоющие... До войны у нас один киргизин своей киргизской молитвой хорошо грудной боли помогал... А что, Григорий Петрович, ты ведь киргизского рожденья и теперь водишься с иими. Дознайся, пожалуйста, куда сгииул этот знахарь, хромой Шишингара. Я и за сто верст к нему доеду!

Кудашев перебил:

— Правда, значит, вы из киргиз? Лицо ваше действительно выдает вас.

— Что рожей, что кожей в папаию мать меия выродила. Мое рожденье очеиь даже занятное.

Алибаев взглянул на Кудашева невидящим, зачарованным далеким виденьем взглядом.

— Нонешнюю зиму часто сны мне на вспомииху сиятся. То самого себя мальчоиком вижу, то привидятся мать с отцом, коих и не видывал, какие из себя были. Родительницу-то видал, да глаза у меня тогда еще были молочные, незрячие. Всякое, все из дальнего, как у старика, на ум во сне иаходит. По примете у нестарого человека это к смерти бывает. Во сие душа прощается, печалуется, глядит, где ходил, чего видал, слыхал человек. Эта девчоночка русявая тоже расквелила, кой-чего иапомнила. Страдашенька твоя, кажись, Кудашев? Ну, ну, хоть отец буржуй, отца и по шеям можно. У меня вот такая же была... Похожая. Да. Вьюшку-то засунь, Кудашев, прогорело, а то выстынет. Рожденье мое удивительное, с другими несходное.

Уставившись неподвижным взглядом в затухшее успокоенное жерло голландки, он рассказывал неспешно, покрестьянски строго, постепенно, по годам, от начала, будто раздумчиво проходил по старой меже.

— ...Девушка православная, значит, она была, а в голодный год кыргызин ее накормил и всю семью ее вызволил.

Она с тем кыргызином и слюбилась. Увез он ее к себе в кочевку. Детей народили. Ну, а в Александровке-то в это время главный миссионер проживал, чтоб окрестных кыргыз в правильную веру приводить. Настойчивый, достойный был человек, в своем деле ретивый. Много кыргыз покрестил. Ну, к слову, после голодного году, как скот перевелся, они надолго затощали. Охотой множество в православную веру обращались. Для новокрещенцев начальство новый поселок устроило, избу каждому давали, лошадь, корову и хлеба на первый запас. Сам губернатор с иконками их благословлять один раз наезжал. Плохо ли? Гуртом крестились, семьями, а в избах маханину жрали, по-кыргызски разговаривали и Магомета и Николая-угодника равно почитали.

Чать, и посейчас так живут, не обрусели, коли не разбежались. И тогда, летами, на траву, в кибитки, много убегало. Ну, а поп этот, миссионер старший, видит — много кыргызья крестится, еще ретивей стал. Как же, мол, так: тут неверные стадом к православному богу валят, а тут вон какой случай! Мать моя, женщина правильной веры, с кыргызом сошлась, детей народила от него, их не крестит и сама от своего бога отшиблась. Сейчас, значит, мать под стражей — к попу.

В страду с поля взяли. После голоду кое-кто из кыргыз сеять зачал, русские бок о бок — обучили. И родитель мой, нехристь, тоже. Может, мать его, по крестьянской своей навычке, на хлебопашество натолкнула. Приволокли ее к миссионеру на кухню. По обряде кыргызка, но по-русски чисто говорит. Ребятишки чистокровные кыргызята, прямо неподложные. Девчонка старшенькая еще кой-как слов с пяток русских прохныкала, а мальчишка-пятилеток одно — горлом по-кыргызски булькает. Одежу на их расстегнули, глядят — крестов нет на шее. Все это, что рассказываю, после от людей слыхал. Сам не видал, мной мать на сносях была. И те, старшенькие, сестренка с братишком — люди после сказывали мне — тоже были, как я, в отца, чернущие, кривоногие. Орут, лопочут, трясутся. Мать на полу на коленках елозит, ноги поповы ловит, слезами половик заливает, приподымется, крест на своей шее за гайтан дергает, показывает — не сменила, мол, веры, по-православному молюсь, за грех с иноверцем сама отмолюсь, перед богом буду маяться и каяться, не карайте по людскому закону. Через слезы кричит: «Хучь кыргыз, хучь поганый, для православного с собакой вровень, а мне дорогой! Смилуйтесь! Отец моим детям, а мне и без божьего благословенья муж.

Не разлучайте! С грехом он меня не неволил, сама согласье показала. От смерти он меня вызволил. В Киев, в Ерусалим пешком на богомолье схожу, не отымайте у его детей, он к детям приверженный».

Поп головой мотает, перстом на икону кажет. «Нельзя! Сама в грехе смердишь и детей от бога уволокла. Бог не дозволяет, царь не велит».

Закон тогда такой был: из православья дозволялось переходить только в немецкую веру, ну, они тож Христа признают, а если к Магомету или в жидовскую — нельзя. За это в тюрьму. Разъясняет ей поп этот закон, заморился сам, аж губы побелели. Когда у бабы мужика желанного отбирают, ее законом вразумить так же трудно, как волчицу взнуздать. Кланялась, плакала, молила попа, да вдруг подтянула живот и, как кошка, прыжком на него, взвизгнула да в космы ему вцепилась. Народ на кухне толпился. Кинулись пастырю на подмогу. Что ж ты думаешь, как озверела баба! В тягости, а немало повозились с ней, пока скрутили. Заперли ее в поповой бане, во дворе. Вдруг стражник бежит: «Так и так, ваше благословенье, я к этому делу несподручный, что теперь делать? Баба родит, очень мучается».

Поп рукой отмахивается, слушать про женское безобразие не может, а попадья сжалилась. Послала стряпку за старушонкой-повитухой. Та пришла, помолилась перед иконой, посомневалась, но все-таки сдалась. «В грех ли, во спасенье ли выйдет, говорит, а потружусь около поганого брюха. Куда же бабе деваться, коль час пришел? Чать, бог меня за это не завинит».

Эта бабка, повивалка моя, долго жила. Как я большеньким стал, она часто мне говорила: «Под веселым боговым глазом мать тебя зачала, не доглядел, что от нехрещеного, в сорочке сын родился. Будет, значит, тебе сладость в жизни, терпи, дожидай, обязательно будет. В сорочке на счастье рождаются».

Ну, сорочка-то мне не сильно на подмогу. Мало меду хлебнул. Мать меня хоть и у православных, но чужаком кинула. Над горькими ее родами попадья шибко разжалобилась. Умолила попа, привели к ней в баню братишку с сестренкой моих. А может, базлали через край, допекли всех в дому. Только и стражу от бани сняли. Осталась на ночь одна мать с детьми. Бабка тоже не поохотилась в бане ночевать. Ушла домой и меня с собой унесла, чтоб не придавила родильница в метаньях. Она, и разрешившись, не успокоилась. Все стонала, на банном полку с боку на бок перекидывалась. Да середь ночи, видно, опамятовалась

и убегла вместе с детьми. После дознались: родитель мой, кыргыз, чисто кулик, потеряв птенцов, без ума по селу на коне кружил. Может, встрелись, вместе убегли — не знаю. Посланные на другой день от кибитки отцовой ничего не нашли, только угли от старого костра. Слух был, что отец в другую степь укочевал, а мать будто тут же после побега вскорости кончилась,— не знаю. Я вырос мирским дитем, молоко грудное и то не от одной женщины принимал. По очереди кормили меня грудью жалостливые бабы, которые кыргызским моим обличьем не гребовали. Греха не боялись, в церкви меня по-православному крестили. Даже к благородным в родню из купели попал: становой пристав крестным был, а матерью крестной сама попадья. Эй, други, не задремали? Дальше сказывать? Могу — разохотился.

Дивно самому: чисто со стороны, как другой человек жил, поглядываю. Ну, значит, при крещенье назвали меня Григорьем, по крестному величанье записали Петрович, а чтобы помнил грех рожденья своего, кыргызскую фамилию дали от родителя. Звался тот кыргызин Алибайкой. Я от него по свету гуляю — Григорий Алибаев. В зыбке качался я у бабки-повитухи в избе, на ноги твердо встал, разуметь все вокруг зачал, то есть лет пяти эдак от рожденья, к попу на кухню жить перешел. К гостям в праздники и на именины меня выводили показывать. Миссионер рассказывал, как господь чудесно меня удержал в православии и не дал матери с собой унести. Купчиха Тимонина слезы платочком вытирала, давала мне конфетку и по головке гладила. Спал я на плите, оттого что кухня была холодная, а плиту топили часто. Поп лапшу с бараниной с варку любил. Жилось мне хорошо, сытно. Но только крестный становой на меня позарился, выпросил у попа себе. Стал я спать у стряпки станового на кровати. Она меня на сон часто ругала поганцем, потом наваливалась на меня, и спалось мне опять тепло, хоть еда давалась паскудней поповой. Становиха была об хозяйстве рачительна, скуповата. И здесь на именины меня гостям казали. Только у попа я «Отче наш» читал, а здесь меня выучили петь «Ах мороз, морозец» и плясать русскую. Один раз, на святках, сплясал, спел — и мировому судье приглянулся. Он меня у станового в карты выиграл. Раньше, сказывают, крепостных так-то выигрывали, ну, я не крепостной был, а еще хуже — ничей. Кто взял, тот и над душой, и над телом хозяин был. Вот и перешел я на десятом году возраста от станового к мировому. Шибко плакал, вспоминаю. С теплой стряпкой, чисто с матерью, жалко мне было расставаться. У мирового, если вспомнить по совести, тоже

мие иеплохо жилось, а сердце щемило. Сажал за еду он меия вместе с собой. Не семейный, скучал. А спал я у иего по-барски, иа диваие. Разговаривал ои со мною мало, разглядит когда меия. Глаза у иего все мутиые такие были, чисто спросоиок. Пройдет мимо или даже прямо иа меия глядит, а ие видит. Дак вот, когда разглядит, засмеется, ткнет двумя пальцами под ребро: «Живешь, магомет?» — «Живу»,— отвечаю. И весь разговор. А больше мие и делать у иего иечего. Заскучал я. Все-таки я бы жил у него, ие убегал, кабы ие напугался. С иеделю я у иего прожил, как ои меия зовет к ему в спальиую. Вхожу — ои в подштаиниках, собирается спать укладаться. Говорит со миой, об чем — сейчас и ие помию, говорит, а сам перед зеркалом сидит. Я гляжу за его спииою в зеркало и вижу: зубы вынул, в стакаи поклал. Потом все волосы с головы правой рукой сиял. У меия сердце взвилось, сроду этакого дела ие знавал, чтоб зубы вынуть и волосы сиять можио было! А ои тоже в зеркало-то увидал, что у меия морду от страха-то перекосило, взял да нарочио, чтоб еще больше иапугать, схватил себя за обе щеки да голову обеими руками тихонько двигает. Я думал — ои и голову отвинтить может. Заорал благим зевом — да из спальии, из дому дирака. Так иапугался, что и темеиь ие в страх! За село убежал и ие вериулся туда больше. Наутро к иищему страииичку пристал. Разговорчивый попался, от испуга меия разговорил. С иим уплелся верст за тридцать. Только скоро ходить и канючить милостыиьку иадоело. Взял да в селе Скоробогатовском отстал от старика. Ну, под крышу к кому-иибудь приютиться надо. Хоть летиее время, а чем же пропитаться мальчишке? Кружил, кружил по селу, дело к вечеру. Идет мужик по дороге. Поглядел иа меия да засмеялся: «Откуда, говорит, ты, косоглазый?» Я молчу, а сам за иим чисто собачоика присталая плетусь. Шел, шел я за иим да заплакал. Кишки от голоду щемило. Ои не отругнулся, пожалел. «Ладно, говорит, иди за миой, иакормлю». Я за этим хозяиином своей волей пошел и уходить из его дому иаутро ие схотел. Баба его полеиом меня выгоияла. Ушел да опять иа двор вериулся, под крыльцом у иих переспал. Утром ребятишкам своим велела согиать меия со двора. Побили, поцарапали — убег, а к иочи опять к ним. Ругалась, плевалась баба, била меия, а потом — иичего, привыкла. Заставила воду в баию больничиую носить. Этот хозяии-то мой при волостиой больнице сторожем служил. Больиица ие по-городскому, зиамо, устроеиа, попроще. А в баию иа задах сторожиха пускала париться мужиков, которы от дурной хвори лечились, по-

нынешнему называют — венерических больных. Сторож требовал их парить, а я парил, спину вехоткой смывал, мазями мазал. Они мне за это по пятаку с тела платили. Доход сторожиха получала. Ну, ничего, годов пять, не меньше, я у них прожил, и потом с чего-то тоска меня взяла. Обмываю язвенных, а самому плакать и блевать охота. Закручинился чисто большой. Да уж шестнадцатый год, из отроков в парни одна ступенька, понимать научился. Обижаться на свою долю стал. От обиды поп и становой с мировым издаля родней показались. Задумал я опять назад к ним. Затосковал, закручинился, дальше — больше, невтерпеж. Тянет меня в Александровку. Как-никак — родина! Ну, что же, побег на место рожденья. Побирался, тем и кормился дорогой. Народ тогда поротозенстей, помилостивей был. Везде подавали. Ну, пришел — здравствуйте. А с кем здороваться? Мирового паралич разбил, попу повышенье сделали, в большой город перебрался, становой цел, на том же месте, я к нему и объявился. Он ничего — засмеялся, признал. Говорит: «Ты как же без документов, бродяга, шатаешься?» Я оробел, говорю: «Мне документ не надо, я у вас желаю проживать...» Он смеется: «Ишь ты, ласковый какой! На что ты мне нужен?»

Документ мне выправил, а у себя держать долго не схотел. «Дочери, говорит, у меня в возраст входят, а с тобой играют, на россказни на твои уши развешивают, все в кухне трутся. Ты киргизское отродье, кровь в тебе разум перешибает, и попадет одна из двух какая в беду с тобой». Вроде этого высказал. Умный был, доглядчивый. Распаляться-то на баб я, правда, рано зачал.

Ну, Тимонину, Ивану Филипповичу, торговцу, меня скачал в лавку в подручные. Чтоб сласти не таскал, в первый же день хозяин до хвори пряниками меня обкормил. И посейчас я пряники не уважаю — так объелся тогда. Ну, на этом месте долго задержался. Хлопотно, да сытно. Одежей хорошей я тогда завлекся, справить ее порешил. У купца легче ее выслужить, чем у других хозяев. Жалованье мне не полагалось, но за старанье матерьем на одежу к праздникам дарили. Об одеже старался, чтоб баб приманутъ. Обличье мое было для них неприятное. Думал — оденусь, которая-нибудь и поглядит поласковей. Стряпка с нижней кухни меня ублажала, ну, собой такая, что и я только зубы сожмя с ней грехом занимался. Лет за сорок, рябая, и на лбу шишка кровяная вроде кисты — бородавка, что ль, эдаким красным бугром разрослась. Я хоть и кривоногий, а телом крепкий, настоятельный. Опять же сердцем дурной тогда,

ласковый был. Залюбилась мне шибко девушка одна, сестра почтового начальника. Из себя она тогда была крепенькая, белая, русоволосенькая такая. Сразу, как увидал, чисто родня мне сделалась. Вот волос-то у нее такой же был, как у этой Аннушки у твоей, Кудашев. Да. Все об ней пекусь, думаю, что бы для нее хорошее сделать. На почту — надо не надо — бегаю. Как гривенник какой лавочник в хорошем духе кинет мне, я сейчас марку покупать. А куды мне ее? К чему прилеплять? Ну, деньги не часто перепадали — за маркой на неделе два раза не побежишь. Помогло вот что: лавочник «Сельский вестник» — газету и «Родину» — журнал выписывал. Я в это время самоучкой читать помалу научился. Потому заглавья помню. Ну, бегаю год, бегаю другой, девчонка-то подалась. И косоглазый, и кыргыз, а поглянулся ей, привыкла. У брата-то она заместо стряпки при его жене и нянькой при детях. Занятья не господская, с моим ровная. А брат узнал про наше согласие, обиделся. Все-таки по рожденью ему сестра. Лучше в девках при семье в вековушках засолить, чем за работника отдать. Порешили с женой Фросю к тетке какой-то в другое село на время отослать. Почты начальник моему хозяину пожаловался. А у того после празднику престольного от перепою дурь из головы еще не вышла. «Выкради девку, говорит, заплачу за венчанье, улажу. Я его не люблю, брата Фросиного то есть. Невелик господин, а неуважительный, пусть от обиды покорежится». Ну, так и сделалось, обвенчались тайком. Купец-то после очухался, сердился, чуть нас со двора не согнал, да ничего — обошелся. Сильно я для него в работе жилился. Оставил у себя деньги, на свадьбу затраченные, отрабатывать, подарков всяких лишил. А Фросю в чистую кухню на подмогу для ихней стряпухи поставили. Спали мы с ней в холодной кладовушке на дворе и летом и зимой. Ничего, молодые, горячие, не застыли. Только через год дите родилось, хозяева велели Фроську с младенцем куда хочу, а из дому убрать. Ну, в ту пору как раз мой мед-то я и хлебал — все удавалось. Министерской школы заведующая, старая девка, а добрая, Фроську с дитем в сторожихи приняла. Впервой родня-то у меня на земле объявилась. Каждый час к им тянуло, а со двора хозяин раз в неделю на одну ночь отпускал. Горячий я, ослушивался,— выгнал он меня. Но через три дня назад воротил. Выгоден для него я был, только за пропитанье работал, а старался во все силы. Воротил и даже жалованья три с полтиной в месяц положил и к праздникам опять подарки.

Это я уж зауросил, плату запросил. Прожили так три

года, еще девчонка у нас народилась. В солдаты меня забрнлн. М-да, солоио показалось! Что ж, угиали. Я убечь думал, Фроська остерегла: «Меня с детьми, говорнт, загубишь, протерпн службы срок». Терпел, пнсьма бабе своей такие отписывал, что учительиица плевалась. Написала мие, что читать Афросинье письма мои ие будет, если нежности всякие ие перестаиу расписывать. Чисто, мол, не жеие закоиной пишешь, а игральщнце. Эдак другие солдаты ие пишут. А я ие с похоти, с тоски ласкался. Опять чужаком в ярме, миого ли со своей семьей поутешался? Дальше-то все под гору, годами старше, а житье мое хужей. Войиу объявили, домой-то со службы я ие попал. В отпуск, как вышло, ие пошел. Маленько поздно вышло-то. Письмо-то у меия в кармаие уже поистерлось. В ием учительница отписывала, что Фроська от застуды померла. Кашлять она, еще когда у лавочника оба жили, почасту закашливала.

Оттого, дескать, и застуда до смерти вредиая ей прншлась, иа кашель-то. Чего же? Башку разбить хотел, думал — в мозгах повреждеиье произойдет от огорченья. Ничего, отдышался. И об детях сердцем обмирал, а в отпуск ие схотел идти. Без Афросииьи и детн только горе растравят, ие могу без Афросииьи с иими быть, и онн без нее ие в радость. Учительница при себе их оставила. Другие старые девки к собакам, к птицам, к кошке за утешеиьем, а эта к монм детям еще при Фроське сердцем прилепилась. Пишет — ие в забросе оии. Да и пособье иа иих за меня шло. Дернул я себя за космы, стукнул башкой об кулак, отказался от увольиеиия в отпуск. А после иа фронт в действие попал.

Ну, об этом чего рассказывать? В каждой семье от сыновей зиают. Меия ие убили, обстоятельио даже ие раиили, одио пустяковое было пораиение. А все-таки я другой стал. После хвори так бывает. Не то повредился, ие то через край выправился. Страх потерял. Себя ие жалко, и иичего ие боюсь. Без страху человеку вредио, невеселое сердце в человеке, когда ничего ие боишься. Чего там было бояться? Смерть каждый деиь обок караулит. Случай иамахиет — ие открестишься, не отлютуешься. Трясись ие трясись, иикакого трясеиья иа года ие хватит. Человека обидеть не жалко. Чего его жалеть? Может, ои здесь остаиется, а ты завтра вытяиешься без всякого шевеленья. Добро копить иеохота, да и ие заберешь с собой. Мы там грабили без острастки, а куда оио, награблеииое? До дому ие сохраиишь, да чего домой уиесешь? В брошенных усадьбах посуда там всякая, креслы, рояли — их не унесешь. Золотые побрякушки — это чинам повыше доставалось. Одежу? Куда ее иа-

берешь? Узлы с собой в переходы не попрешь. Заразиным девкам раздавать, ну их... Поглядишь, пораздумаешь, да там же на месте об пол трахнешь, разобьешь или подожгешь. Ничего не жалко и ничего не страшно. Как свободой нас поманули, я не от страху убежал с фронту, а скушно, от тоски сбег. Которые солдаты орут, радуются, а мне скушно. Про ребят вспомнил. Подумал — может, около них, за ихние головы устрашаться чего начну. Сон у меня нехороший сделался. Ну, отосплюсь, думаю, в избе домашней, детей разгляжу и, может, тогда для себя чего-нибудь зажелаю. Детишки это... глазенки у них уже со смыслом. Ладно, щипануло за сердце. А все скушно, и сон все нехорош: ни ухо, ни голова не засыпают. Только что глаза заплющишь, а все одно денное все в мыслях явственно. Охота мне растревожиться, на сходки на свои хожу, в город на митинги, ораторов слушаю. Потом зачал я во все партии в политические записываться. Потолкался и в народной свободе, и в есерах, и в меньшевиках, после к большевикам пристал. В программы я не вникал, народ глядел, искал, какой по сердцу больше придется. С большевиками позадержался покрепче. С ними позанятией, пошумней. В Александровку вернулся, первым делом за Тимонину лавку. Потрясли мы с товарищами хозяина. Из добра из его я себе довольно нагреб,— а на кой? Дети еще невелики, корысть к добру всякому в них не упорная. Погалдят в новинку да и забудут. На кой вся та прибыль? Гомозился я все-таки с политикой, состоял во многих в председателях. Ну, не с весельем, а так, на время хорохорился. Ладно. И к детям я ни так, ни эдак. Отвыкли, что ль? Не льнут ко мне. За конфетки только ласкаются, пропаду — не заплачут. Эта старая девка-то, учительша, меня, чать, переживет. Еще крепкая. С ней свыклись. Чужая, а им вроде своей, ближе меня, родителя. Ну, чего же? Незачем отец им. Я даже злобиться на них зачал, еще больше отпугнул. Колчак их со мной развязал. Как он воцарился, в Алтайскую губернию я подался. Там с партизанами стакнулся. Ладно, хлебанули всякого. Врага не жалели. На той войне, на царской, я вроде не ярился. Убил если кого, так не видя попал. А тут морда к морде. С прохладцем убивал, с выдумкой... Всякое бывало. Ну, меня там знают. В Иркутской губернии тоже. Ничего, в тое время ровно оживел, тревожился. Когда наша власть верх повсеместно взяла, я, значит, опять в Александровку. А чего делать? Опять нету спроса на бесстрашье на мое. Дом хороший занял. Тимонина, лавочника-то, благодетеля моего. И его же младшую дочку за образованность и за веселый

голос в гражданские жены к себе присогласил. А к детям в школу вроде как на свиданье только ходить стал. Не умею с ними обходиться, чего-то у меня неладно все выходит. С другими приятный часом все-таки бываю, а с ними все с натугой. Ну, ладно, житье привольное, с частой выпивкой, завидное, сытное. Люди со страхом предо мной, с почетом, значит, ко мне. Клавдия, жена гражданская, горяченькая, сладкая. Я на это дело спорый. Всякую бабу привечаю. И с Клавдей ничего, часом даже по-хорошему, добрый бываю. Только ненадолго. Баба ко мне все вяжется такая, что на часок один мне своя. После супруги моей Афросиньи Николавны, покойницы, ни одна не жена, так — только на срок утешницы. Ну, так чего же выходит? Ни к чему у меня жаркости нет. Со стороны посчитать — много за мной числится, а по-моему — ничего у меня нет. Заскучал я, запивать шибко стал. По месяцу, бывает, закручиваю. Ем мало, все пью, пью. Прошлый месяц из глотки печенку кровяную выблевал, перегорело от вина в нутре. Ну, пьяный шарашусь, нехорош, шибко бесстыж случаюсь, дак, чтоб дети мои меня в это время не видали, запой отбываю в Каин-Кабаке. Место самое подходящее. Народ тамошний глухой, ничем не удивишь и не разжалобишь. Слышьте, друзья, там на весь хутор только два человека веселых: гулящая солдатка Марья-песенница да дурачок один, сказки умеет сказывать. Ну, Каин-Кабак мне еще и для другого дела сгодился. Ладно. Никак, на дворе тишает? Айдате-ка прогуляемся, поглядим. Все поснули, надо, чать, и нам укладаться.

Степаненков приподнялся с дивана на локтях, озираясь по избе прояснившим взглядом, спросил:

— Алибаев, ты куда?

— Чего, до ветру провожать будешь? Погоди, в городу еще напровожаешься. Вернусь, не бойся.

Метель стихла. Негусто сыпались нестрашные пухлявые последние снежинки. Проглянуло мутнеющее предрассветное небо.

Кудашев, поеживаясь от холода, спросил:

— А сейчас-то вы по какому делу арестованы?

— Погоди, коня погляжу. Иди в избу, вернусь, доскажу, коль дослушивать охотишься.

— Да я с вами пойду... Помогу.

Когда, потушив свет, они трое улеглись на кошме, на полу, Алибаев досказал:

— Как-то вечерком поздненько заходит ко мне церковного старосты сын, приятель по выпивке. Мямлил что-то,

тянул-тянул, все на меня взглядывал. Потом и говорит: «Гриша, нет ли у тебя бомбы?» — «Есть, отвечаю, а тебе зачем?» — «Надо»,— сказывает. Подпоил я его, он выболтал все. Плачет по-бабьи, жалится, открывается мне: в заговоре против Советской власти запутался. Теперь охота на попятный, да боится. «Одного,— канючит он мне через слезы,— отравили, как тот помогать отказался. Ветеринар, говорит, у них один в компании, яды достает. Обязательно отравят». А эдакому дураку винтовки и бомбы доставать поручили. Ну, думаю, заговорщики, а все-таки взбодрился. Мое дело такое, в драке вольготней я дышу, втянулся в драку. Дальше — больше, согласился я, стал на потаенные свиданья в разных уездах являться. Крестьянское восстанье они подымать задумали и по Сибири много насбирали в разных уездах согласников. И в Барабинском, в Омском, в Новониколаевском и Петропавловском в уездах. В которых селах по двадцати наших, а в которых пять, четыре и по одному было, всего довольно понасбиралось. Задумали с казаками сибирскими сосвататься. Главарей у нас двое было, оба с небольшим образованьем. Один бывший прапорщик, другой — служащий кооперативный. Так, невеликое место занимал,— с мелкой закупкой по деревням ездил. Оба в разных городах под чужими фамильями проживали. С одним и баба его, девица из высокоблагородных, вместе действовала. Это все уж дознато, я при чекистах и рассказываю. Хоть и храпят уж, а может, который услышит. Ну, ладно. Идет дело. Печать своя: посередке череп и кости, а по краям надпись: «Смерть изменникам». И знамя у ветеринара готовое хранилось — желтого цвета, черной бахромой обшитое. Когда к своему в дом мы входили, крестились на икону широким крестом и говорили: «Мир дому сему». А он должен ответить: «Смерть изменникам». Пароль вроде. Ладно. Народу понасбирали. Собрали отдельный особо независимый добровольческий отряд атамана Нехорошева. Надо было программу, идеология это называется, придумать. А бес ее выдумает, идеологию-то,— это не наше дело. Думали Сибирь отдельным государством объявить, а чего потом — не знаем. Царя сибирского поставить охотников не высказывалось. Отвыкли уж от царя, кто и думал — сказать поопасался. Какое правленье — ни черта не знаем. Стали искать знающих людей. Нехорошев было есеров искал, ну, дельных не нашел. Один подложный с нами позапутлялся. Вроде меня, во всех партиях перебывал. Ну, и чего же — гомозились-гомозились, а дела настоящего не выходит. Одна подготовка, а к чему — не знай. Мне

надоело на образа креститься да «мир дому сему» буркать. Это не моя занятья. Отшибло меня, отравы я не боюсь. Перестал являться, куда указывали. На дело, говорю, зовите, голый разговор надоел. Ну, они и сами заторопились. Назначили день — двадцатого июня в прошлом году. А мужики-то, согласники из деревень, подвели, на сбор не явились. Я не ездил, раньше вызнал, что дело рассохлось. Коноводы дранули в Ташкент. Чека их все-таки выискала. Один по одному имали, вот и до меня добрались, везут. Я их давно поджидал.

Он услышал около себя ровное сонное дыханье Кудашева. Ласково усмехнулся в темноте. С большим интересом слушал, а уснул, не дождался конца. Молодой, здоровый, тело долит!

Пимокат заворошился, спросил:

— Почему же ты не убег?

— Заарестоваться порешил. Много видал, всякого хлебова хлебнул, а в тюрьме еще не сиживал. Посижу.

— Да, оно, чать, не шибко сладко в тюрьме-то. А то гляди и к стенке припаяют.

— Оно, друг, мне, сладкое-то, не дается. А в тюрьме-то, может, мне как иному монаху в монастыре, и поглянется. В какой-нибудь монастырь прятаться мне надо. Сын подрастает, сердится, жизнь ему моя не кажется. А прикончат — жалеть некому. Ну, айда спать.

День встал сероватый и кроткий, будто пристыженный буйством вчерашнего. Пухлые свежие сугробы без солнца лежали мирно и бело. Верховые вернулись только к полудню. Ночевали в башкирской деревне. Они привезли закоченевший труп латыша. У Степаненкова сильно болели лицо и руки, но он встал раньше Алибаева и послал мальчишку хозяйского за волостным милиционером. Тот скоро пришел на зов и остался ждать в Савельевой хате.

Когда привезли тело Краузе, Степаненков позвал милиционера в горницу. Потом сухо и коротко, глядя поверх его головы, приказал Алибаеву:

— Собирайся.

Алибаев пристально посмотрел ему в лицо, усмехнулся и сказал:

— Слушаюсь. Теперь довезешь, не заплутаемся?

Отводя глаза, Степаненков оборвал:

— Не канитель, одевайся скорее!

Савелий во дворе запрягал для них пару своих лошадей. Увидев Алибаева, погрозил ему кулаком:

— Сволочь! Привез. Ладно, когда-нибудь, может, и с тобой посчитаемся.

Алибаев покачал головой. Сказал, ни к кому не обращаясь:

— Вот теперь уже я верю, что заарестован. Все без опаски надо мною начальствуют. А приветить на прощанье никого не находится.

Вдруг с крыльца поспешно сбежал Кудашев.

— Увозят? Ну, прощай, Григорий Петрович. Набаламутил ты, а все-такн мне тебя чего-то жалко. Будь здоров. Слушайте-ка, Алибаев, в вашем деле с этнм самым контрреволюционным нехорошевским отрядом случайно запутлялся братишка мой — Егор Кудашев. Он по глупости. Вы там напомните, чтоб меня в свндетели вызвали. Он зря попал, не так, как вы. Ну, ладно. Может быть, на свиданье к вам приеду.

Алибаев широко усмехнулся, крепко прихлопнул небольшой своей рукой руку Кудашева и тихонько сказал:

— А насчет Аннушки благословляю. Мне она глянется.

Степаненков сердито крнкнул:

— Садись, Алибаев! Время.

IV

Число взятых по делу о нехорошевской контрреволюцнонной организации все увеличивалось.

Крестьяне тюремное заточенье переносили тяжелей, чем горожане. Вынужденную физнческую бездейственность они ничем не могли возместить. Большинство было неграмотно или не имело навыка к чтенью. Для последних смысл преодоленных тягостным чтеньем печатных строк ускользал, тонул в тумане бедных представленнй, не связанных непосредственно с делом их рук, со всем насущным для них. Убить время на разговор друг с другом в общих камерах они могли в течение двух, трех дней. Больше не хватало ни слов, ни охоты на беседу. На принудительные работы их не водили. Приближенье весны угнетало заботой о весенней пашне, о необходимости выбраться к посеву на волю, чтобы не схирела семья, не рушилось хозяйство. Стремясь вызволиться домой к нужному времени, они старались оправдаться, умолить, упросить власть, купить себе свободу любой ценой униженья и предательства. Каждый из них называл свое сельское общество огромным словом «мир», но мир этот, разбитый на мелкие участки отдельных хозяйских интересов, лншь редко и ненадолго ощущался ими как

дыханье одного организма. Каждая клетка в давности приспособилась жить и отмирать отдельно, не нарушая общего теченья жизни. Выступивши скопом против города, крестьяне — только что их разделили при допросе — сразу распались каждый сам по себе, как колосья в развязанном снопе. Доказ, подозренье, ошибочные предположенья, прямая ложь, оговор — все сплелось в запутанную сеть их показаний. Начались новые аресты. Расследование затянулось. Взятые по одному делу, узники ожесточались друг против друга все сильней.

Жители Каин-Кабака держались плотней, реже выдавали — оттого что меньше теряли от длительного заточенья. Это были люди, утраченные для мирного труда за годы царской и гражданской войн. Хозяйство во время их отсутствия развалилось окончательно. Создавать его заново они не принимались. Единственным делом их жизни стало разрушенье. Семьи научились обходиться без них. Если жена сумела сохранить исконную домовитость, она добывала пропитанье и детям, ворочала вместе с ними трудную мужицкую работу, сетовала на мужа в горький бабий час, но беспокойного возвращенья его домой даже не желала. Бабы другого, легкого склада приспособились скитаться за мужьями. С нищим своим скарбом и с детьми ездили они в обозе в большевистскую войну. Перебирались в город, когда мужья попадали в тюрьму, попрошайничали, торговали собой, скупали и перепродавали старье на барахолке, посылали детей «в кусочки» по дворам, ухитрялись сами питаться, мужьям носить ежедневно передачу и покупать у податливых тюремщиков мирволенье мужьям.

Каин-кабакцы кормились неплохо, пользовались многими недозволенными поблажками, изнывали в заключенье не больше, чем на пересадке в ожиданье поезда хладнокровные пассажиры. От возможного смертного приговора их охраняло чернокостное происхожденье и соучастье с войсками красных в бою. Но вдруг, неожиданно для следственной власти, и они на допросах бурно разговорились. Сведенья, доставленные ими, были совершенно новы и для следствия важны. А сообщили их внезапно и дружно каин-кабакцы в отместку атаману Нехорошеву. Все это скопище людей, лишившихся в бессладостной своей судьбе чувств, дорогих человеку, ревниво лелеяло веру в свою боевую доблесть. Сомненье в ней было для них единственной незабываемой обидой. Атаман Нехорошев, разгневанный, что в назначенный день восстания в июне месяце каин-кабак-

ские сообщники на сборный пункт не явились все, во главе с Алибаевым, сказал тогда:

— Алибаевская шпана только на дележку вылезает, а пороху боится. Хлипачи!

Случайно узнав о произнесенных давно, но навсегда оскорбительных словах, каин-кабакцы пробовали учинить самосуд над ним в тюрьме. Произвести его не удалось. Тогда они дружно принялись продавать властям Нехорошева с его близкими, всех вместе и в розницу.

Алибаев, равнодушно отказывавшийся от каких бы то ни было показаний, в последний раз на допросе тоже оживился гневом. Сказал следователю ни с того ни с сего:

— Я этому свистуну, как на суде встретимся, морду изнахрачу.

— Кому? Что такое? В чем дело?

— Атаману самозваному. Только и знал, что штабы всякие из своих холуев собирал да по подложным бумажкам получал у ваших ротозеев деньги. Понасажали дерьма кассы хранить, а стараться не надо — сами в руки суют казну.

— Кто по подложным документам деньги получал?

— Кто, кто? Чего после время на стуле прыгать? Задницу зря обижаешь. Ты бы раньше к стулу-то не прилипал, поспел бы, может, на дело. Ленивый у вас только не получал, вот кто! Вот я не получал,— мне своего, с бою взятого, хватало. А этот ублюдок Нехорошев задается, ата-аман! Не знаю, каким местом атаманил, вашего брата только пугал. По привычке чужими руками хотел жарок разгрести, а как своими довелось, дак — ой! обжегся! Без памяти диранул, как заяц, за Ташкент, и след с перепугу не замел. Где в войну был, страдовал ли, это еще неизвестно. Молодец — на овец, а спроть молодца — сам овца.

— Вот что, Алибаев, я тебе предлагаю: перестань кричать. Расскажи толком. В ваших же интересах.

— Ты ко мне с интересом не лезь! Про интерес с Нехорошевым разговор заводи, этого укупай — дешевый. А меня не укупишь! Офицерская затычка, мокреть нхняя, смеет каин-кабакских партизан хлипачами обзывать. А он их в бою видал? А? Нюхнул он эстолько, сколь они? А? Да не вылупляй ты зенки, не труснсь, я те не трону! На харчок вы мне нужны все вместе с вашим бобром захваченным, с Нехорошевым. Ты знаешь, Степан Красков на белую разведку напоролся, брюхо ему располосовали, кишки вывалились, а он с лошади не упал, ускакать сумел. Это тебе хлипач, а? К нам доскакал — кишки свисают, обомлел,

язык поворотить не может. Я ему кишки в брюхо вправил, снегу в них для охлаждения понабил и кричу: «Говори скорей, сукин сын! помрешь, не успеешь!» Сказал, место назвал, где встретил и сколько человек, только после этого кончился. Вот! Это мы вас эдак застанвали, дак неуж мы побоялись бы и против вас? А? Коли меж нами несогласье вышло, побоялись, думаешь, эдак же брюхом бы повернуть, а? Ты пошевели мозгой, после всей страсти какая еще нас пристрашит? Нехорошев зимы испугался, до лета с восстанием дотянул. А нам зима была ль страшна? Когда за Советы бились, холода какие лютовали, слыхали вы с Нехорошевым, а? Куропать на лету падала. Схватишь ее — комок ледяной! А мы этот холод продышали, сдюжили. Нас и там бы помиловали. Эдакое крепкое мясо и белым на свою защиту получить шибко было желательно. Передохнуть, отогреться, откормиться бы нам дали. А мы об этом и не подумали. С вами в согласье были, вас и застояли до победы.

— Это все мне известно, товарищ Алибаев. И если я допускаю с твоей стороны...

— Не товарищ я тебе теперь! И Степаненкову я больше не товарищ... Ну, только и этой паршатние, сволочне этой тоже не товарищ! Сколь я живого у бога в смерть стравил, все мне простится. Коли за смертью ад объявится, мне простится. За то, что я с партизанами с моими в бой за эту гнусь не вышел, за их человечьей крови не пролил, всякий грех мой не в грех стал.

— Из Каин-Кабака, значит, никто на сбор не явился?

— Из Каин-Кабака! Эх ты, тютик! Не с одного Каин-Кабака, а с любого хутора ни один партизан бывший, да не только партизан — никто из нашинских не явился. В июне разве можно мужика тревожить? А? Нехорошеву абы бы тепло было, а после целая Сибирь заголодует,— ему все одно! Нам не все одно. Мы против начальства шли, а не против мужика. Нам его страда дорогая, за его мы кровь проливали. Не для таких вот, как ты, не для господ старались!

— Участники этого заговора все больше кулаки, что же вы о них заботились?

— А который в драку не шел, хозяйствовать бы в это время смог, а? Ну тебя, не смыслишь ничего. Мы пораньше тебя разглядели, что не в свой косяк попали, еще до объявки сбора отставать зачали. А ты, что ж, тоже думаешь, как Нехорошев,— бою испугались? Сами вы кишкой жидки, дак и в людях вам тот же мерещится изъян.

Алибаев уже не сердился более. Последние слова выговорил врастяжку, сам не слушая их. У него отяжелел, сразу затек затылок, замутнились глаза. Он ощутил знакомую дрожь колен, жар, как злоба, распиравший грудь, и жажду, от которой по-особому колюче высохло во рту. Вторую неделю не удавалось добыть водки, и он томился, хворал. Гневное возбужденье ненадолго помогло ему забыть трудную тоску запойного пьяницы. Опять, как навязчивое бредовое виденье, все вокруг покрыло одно представленье стаканчика или хотя бы глотка, одного глотка отмягчающего муку питья.

Взбодренный растерянностью его взгляда, странным дрожаньем покрасневших век и сразу стихшим голосом, следователь сел тверже, прямей, спросил громче:

— А до этого, когда вызывали на явку, вы всегда являлись?

— А? Кто? Куда?

— Ну, хоть бы ты. О себе расскажи.

— Слушай ты, начальник, добудь мне водки. Пекет в нутре, не могу. Чего бормочешь, я не разбираю. Добудь хоть на один глоток, а? Помоги человеку, разок хоть один помоги, а?

Следователь заморгал, взглянул на Алибаева, нерешительно усмехнулся.

— Чудак ты, Алибаев! Разве допустимо с такой просьбой...

— Кабы мы с тобой от Христа не отреклись, я бы тебя ради Христа просил, вот чего допустимо! Жгет. Сдохну я нонче в камере, если хоть глоток не сглотну. Добудь, а? Да не вяжись ты ко мне с расспросами, стукотня в башке, сердце запеклось, понимаешь ты!

Следователь крикнул охрану, Алибаева увели в тюрьму. В камере он ничком распластался на кровати, тягуче стонал и скрипел зубами.

Под потолком в запыленном стеклянном колпачке загорелся холодный неподвижный огонь. Алибаев приподнялся. На стене ожила уродливая тень. Он содрогнулся и лег опять лицом вниз. Он боялся. Это не был тот страх, которого он жаждал. Он пугался себя, своих движений, резко внятных в одиночестве. Жизнь его тела вдруг стала всегда, каждый миг слышна ему, и это непрестанное слышание себя точно со стороны, среди прикованных к одному месту предметов, в тиши толстых каменных стен — было жутко, как смех в гробу. Ему на воле часто казалось, что он не любит людей, что ему опротивела их возня, пачкотня, грызня

друг с другом. Но теперь, впервые огражденный от их близкого дыханья, он напрасно старался с прежним отвращеньем вспомнить все зло, учиненное ими над его жизнью, многие от них полученные обиды и скорби. Он не забыл, как он сам и ему подобные, ближние и дальние, каждодневно надругательствовали над добром, как все они, вихляясь и злобствуя, топтали, давили, убивали друг друга, как ненадежна немощная их любовь и как осмотрительна, корыстна их ненависть.

Но теперь, в принудительной от них оторванности, настоятельно вспоминалось, что в несчастливой, болезненной и смертной человечьей жизни трудней было безнаказанно приласкать, чем ударить, и все же каждый тосковал по любви, отдыхал только под ее отсветом. И для самого Алибаева, прожившего больше враждой, чем любовью, нашлись любящие его и просто дружелюбные к нему люди. Их, а не обидчиков, он невольно часто вспоминал в тюрьме. Неожиданно сильно пожалел Клару, припомнил ласковость Клавочки, многих из партизанского отряда. За них он взъярился на Нехорошева, но ярость скоро остыла. Он не мог сейчас жить злобой, он встосковал по людям. Алибаев не понимал или бессознательно остерегался понять, что, оставшись с самим собой наедине, он оробел, как безнадежно робеет на свою погибель пловец, захлестнутый волной, как, оробев, падает с большой высоты ловкий акробат, усомнившийся в своей ловкости.

Эта робость — предсмертная боязнь души. За ней — только червивая пасть небытия, не прикрытая никаким спасительным живым обманом и не отвратимая ни хитростью, ни мольбой. Ощутив ее смрадную близость, Алибаев встосковал, что прожил мало и дурно, хотел повернуть назад в жизнь, что-то исправить, переделать, но не мог хотеть. И, проклиная, он не отодвигался, а тянулся в эту пасть.

Каждый вечер, завидев выраставшую на стене свою тень, мертвую, передразнивавшую каждое его движенье, заслышав тайное, уловимое только его мыслью шуршанье тишины, похожее на шум неторопливо ссыпаемой земли, он впадал в такое состояние совершенной тоски, что ему казалось — кровь свертывается в нем в холодеющие сгустки, слепнут глаза, голова тяжелеет непомерно, тянет долу все тело, и дышать уже нельзя. Холодный пот орошал лоб. Алибаев стонал, скрипел зубами, водил по стенам, по всей камере широкими зрачками жутких глаз, искал, чем убить себя, чтобы умерить, укоротить казнь.

За дверью послышался осторожный говор, потом звук повернутого в замке ключа, негромкое отодвигание засова, и дверь открылась. Алибаев вскочил, попятился назад, снова изнеможенно опустился на кровать. Он подумал, что ему померещилось. К нему приближалась Клавочка. Он сразу ее узнал, несмотря на мужичий чапан и шапку, но не мог ни поверить, ни понять, что она живая, настоящая проникла к нему. Клавочка подошла совсем близко, вгляделась в опухшее серое лицо с воспаленными полубезумными глазами, испуганно спросила:

— Ты что? А? Ты... ничего? Ты в памяти?

— Клава!..

— Да я же, господи! Что ты, не узнаешь, что ли? Как страшно смотришь.

— Я думал — мне привиделось. Как ты прошла? Тебя допустили?

— Ой, тише говори. Наверно, там слышно. Тайком, тайком пропустили. Я долго ждала, пока прошла проверка. Ну-ка, здравствуй, что ли. Испугал как ты меня. Да ну, обними,— я, я это, я!

Она внимательно осмотрела его всего, потом камеру, покачала головой, жалобно вздохнула и села рядом с ним на койку. Он не выпускал ее тела из своих рук, дрожащими пальцами гладил ее плечи, лицо.

— Ты что, все не веришь глазам? Ой, какой плохой стал! Напуганный какой-то! И потом уж очень прочернел лицом. Ну, знаешь, мне ведь сейчас же уходить назад надо. Кабы не попасться.

Алибаев не слышал ее слов. Он жадными неверующими глазами смотрел в ее неотметное миловидное лицо, потом вдруг рассмеялся затаенно, не разжимая рта. Клава поежилась, сдвинула тоненькие ровные брови.

— Да ты не молчи. Скорей говори, что тебе надо. А? Ты слышишь? Что тебе передать с воли? Или со мной чего накажешь?

Алибаев передернул плечами, встряхнулся, сказал торопливо и хрипло:

— Водки. Поскорей добудь, с утра завтра доставь. Маюсь, не чаю еще ночь протянуть.

— Да я знаю. Вот принесла, только очень мало, на груди, под кофточкой. Ой, как боялась!

Расстегивая пуговки, она шепотком скороговоркой рассказывала:

— Мужчина ведь взялся в камеру к тебе пропустить.

Вдруг облапит, что тогда? Кричать нельзя — поймают, да еще с водкой.

— Ладно. Ты скорей. Глотку у меня захватило. Спирт, что ль, у тебя или самогон?

— Спирт, только мало. Вот, на... Тут все-таки побольше полстакана будет.

Алибаев выхватил у нее из рук плоский, довольно большой флакон из-под лекарства, прилип к нему губами, жадно глотнул. Клава схватила его за рукав.

— Ты не сразу. Ах ты, надо бы мне и рюмку захватить. Гляди спьянеешь, долго постился. Эй, не задохнись.

Он тряхнул головой, оторвал рот от флакона, шумно продохнул.

— Не учи, сам знаю. Дай-ко вон там в кружке на столе вода. Ну, вот выпил и закусил. Еще на глоток осталось.

Раздвинул руки, повел плечами, размялся и повернулся к Клаве. Она чуть подалась назад от его дыханья.

— Ай сама не выпиваешь? Все еще трезвенница? Это хорошо! Кабы только ты не подлюга оказалась. Кто тебя нанял?

— Ты что, от глотка одного спьянел, что ли?

— Ты, Клавочка, женщина хитренькая, сама бы поумней удумать могла, а послушалась глупыша какого-то. Я еще не вовсе здесь сдурел, хоть и спячиваю потихоньку. Подослали тебя с водкой... не тряси головой, знаю! Подкупить народ здешний весьма возможно. Но шибко храбрых я не приметил, чтобы к такому подследственному, как я, в одиночку бабу с воли доставить взялись. Эдаких удалых здесь нет. Ну, ладно. Спрашивай, чего спросить наказывали.

Клавочка зажала ладонями лицо, заплакала. Часто всхлипывая, она прерывистым шепотом объяснила:

— Я давно ведь в городе кружусь, все свиданья добиваюсь. В гумзу в эту, как к обедне, с утра каждый день, из гумзы в Чеку, опять в гумзу, ноги к вечеру ноют. Какой-никакой, а муж ты мне или нет? Я-то ведь другого не заводила. Путался ты там много на стороне, а мне-то все-таки муж, и не по старому, а по новому закону... а я жена, не любовница. Как же мне не хлопотать за тебя?

— Погоди. Выспрашивать меня будешь?

— Да чего ты, в самом деле, Григорий? Женщина из сил выбилась, как бы повидать, как бы чем помочь, а ты меня встретил, как злодейку! Если я никак больше добраться до тебя не могла! Ты бы все-таки хоть то оценил, что я, такая молоденькая, не бросаю тебя, забочусь, вот приехала.

Арестовали тебя, всякого почета лишили, а я ведь ие бросаю тебя, другого мужа не ищу. Ох, тяжело все-таки, Гриша, с тобой! Около тебя только и плакать я научилась!

Оиа вздохнула, пригорбилась, вытянула на коленях руки и опустила глаза. Темная длинная тень легла от ресниц на свежие щеки, опустились углы молодых ярких губ. Алибаев искоса поглядел на нее, вспомнил, что за время действительно тягостного с ним сожительства Клава не сказала ему ии одиого сердитого слова. Откуда бы он ни возвращался, как бы ни был угрюм или зол, оиа всегда встречала его ясной улыбкой, оставалась неизменно ровна и приветлива. С простодушной безбоязненностью вверила она свое девичество человеку с невеселой славой доблестного убийцы и сожительствовала с ним как вериая супруга, с легким целомудренным холодком, с мыслью о материнстве, но безотказио, и ни разу не оскорбила немолодого, некрасивого и даже нелюбящего мужа недовольством или грустью о другом. А ведь она очеиь молода, едва ли ей за двадцать. И щеки вот у нее еще по-детски округлые и плечи не наливиые, а молодо суховатые. Алибаев почувствовал жалость к этой юности, зря захваченной им, большую нежность к несчастливой жене. Он осторожно, одним жестким пальцем коснулся ее руки.

— Ну, чего ты нахохлилась, птаха? Я не обижаюсь. То есть не на тебя обиделся. Скажи-ка ты мне лучше, как живешь?

— Да чего же, как мне жить? Вот постараться надо, чтобы ты вернулся. Я думаю, все-таки не могут не зачесть...

— Разве стосковалась без меня?

— А как же? Чужая я тебе, что ли? Наплакалась, очень боялась. Там такие рассказы по деревням ходят!

— А про Клару ничего не слыхала? Не поймали ее?

Клава обидчиво повела губами.

— Нет, убежала. Ты не сердись, Гриша, я, грешница, все-таки пожалела, что ее не добили в ту ночь.

— Да. Худущая, а живучая. Зачем же ты пожалела? Она тебе чем мешает?

— Боюсь, как бы не выкинула еще чего-нибудь, тебя бы не запутала.

— Я, милка, уж так позапутлян, что дале некуда. Умом вроде мешаюсь.

— Ну? Я боюсь... Как?

— Я вот тоже боюсь, только сам не знаю чего. Кабы ты сегодня водки не прииесла, я бы как-никак, а покончил с собой. Ну-ко, дай-ко рученьки твои поглажу. Спасибо,

пташка. Много я виноватый перед тобой. Не серчай, когда помру. Шибко я обрадовался не одной водке... Тебе обрадовался. Ну-к, стой, остаточек сглотну. Ух, хороша снадобья! Сердце мягчит. Степаненкова не видала?

— Нет. Хворает он. Говорили, что с той ночи все никак не выправится... Простудился, видно, сильно.

— И Шурка хворает. Краузе тю-тю! Вот оно, судьба-то как над людями изгиляется. Хороши люди за меня поплатились, а энтот лобастый, тля, насекомая, живет.

— Этот тоже, за тобой который приезжал, Богдановский — его фамилья,— он в отпуск отпущен по болезни сердца.

— Все ты знаешь, доглядчивая бабенка.

— Да как же не знать! Мне бы и не повидать тебя, кабы они здоровы были. Сильно они против тебя настроены. Вот тебе! А ты же их спас. Впрочем, лучше, что не бежал.

Алибаев шумно вздохнул.

— Ну, тебя-то недаром допустили. Ты чего им теперь скажешь?

Клава прижалась грудью к плечу Алибаева, обхватила его рукой за шею.

— Гришенька, миленький, а ты скандала не устраивай. Прошу тебя! Никогда ни о чем не просила, в первый раз прошу тебя, умоляю тебя... Муженек мой, Гриша, родненький! Не говори ничего, что догадался, а? Может, удастся еще увидеться. Я тебя выручить хочу, не мешай мне.

Алибаев, согреваясь ее телом, боялся двинуться, нерешительно поглаживал ее колено жаркой рукой, но ответил неприветливо:

— Я тебе не велю. Ничего больше не вымаливай. К смерти не присудят. Вот только в одиночке...

— Вот то-то и есть. Ты же с ума сойдешь. А мне обещали тебя в общую камеру перевести, если согласишься показанья дать.

— Какие показанья? Товарищей топить? Я убивать умею, а торговать людьми не пробовал. Не буду.

— Да каких товарищей! Нехорошев тебе товарищ? А? Если ты согласишься показанье давать, все равно какое, только обещаешь не отказываться от ответов, мы еще повидаемся. Гриша, ты подумай, много ли ты меня радовал? Гришенька, пожалей меня...

Алибаев тесно обхватил ее обеими руками, жарко поцеловал пересохшим ртом мягкие, влажные губы. Клава запрокинулась. Алибаев, тяжело дыша, наклонился над

ней, отпрянул, поглядел налившимися кровью глазами на отверстие в двери, шумно передохнул и отодвинулся.

— Ну, что же, ну, Гриша? Так и погубишь меня ни за грош, ни за копеечку? Я все для тебя, а ты...

Алибаев встал, заходил по камере, то и дело턴 кося на нее сумрачным, жадным взглядом. Потом остановился перед ней, постучал ногой в пол и хрипло сказал:

— Ну, иди, Клава. Чать, не на всю ночь допустили. Эх, облапил бы я тебя сейчас! Здорово ты мне сегодня желанная. И не то что только для блуда... Иди, жена, иди, бабонька. Пора.

Клава встала, обняла его за шею обеими руками, прижалась плотнее.

— Мы и на стороне у меня увидимся. Только не порти дела. Я же не уговариваю тебя против своих... В одиночке тебе нельзя. А тогда на работу будут водить, там увидимся. А?

— Ладно, иди, ластынька, иди. Я подумаю. Иди, иди... А то не выпущу.

У самой двери он больно сжал пальцами ее плечо и вплотную в ухо шепнул:

— А ты с начальниками гляди не блуди. Теперь я тебя за блуд не помилую. Помни.

V

Клавдя зажилась в городе. Закончила давно начатое вязанье крючком, сшила новые оконные занавески с этим кружевом и послала с попутчиком в свое село домоправительнице-тетке письмо:

«Дорогая тетя Маня! Благодаренье богу, хлопоты мои идут успешно, с пользой для несчастного моего мужа. До суда он теперь сможет находиться в более хороших условиях, часто на воздухе, вообще повеселее. А суд выяснит, что Гриша не так виноват, как показался,— больше из-за своего беспокойного характера. Я на это твердо надеюсь, чувствую себя бодро и хорошо. Хорошо, что Степанида перешла жить к нам. Она старательная в работе и вообще нам подходящая. Главное — дальняя родня, никто не придерется, что мы пользуемся наемным трудом, когда мы содержим нуждающуюся родственницу. Но все-таки вы за ней следите, в амбар одну не посылайте. Ключ от амбара, пожалуйста, не забывайте прятать и вообще нарасхлебень ничего не держите. Человек даже не виноват, если вы его

вводите в соблазн своей неаккуратностью. Напишите, пожалуйста, поскорей, доставил ли Семен Козырь супоросую свинью из Каин-Кабака. Тогда, с вещами, мне невозможно было ее взять, а он божился, что скоро доставит. Теперь она уж опоросилась, поросят он, конечно, не всех привезет, обязательно парочку-троечку украдет, но хоть бы свинья не пропала. Кларка-хохлушка в них толк знала, нашла очень хорошую. Так не забудьте, пожалуйста, написать мне. Если не привез,— я его и отсюда достану. Когда Парфен Алексеевич поедет в город — он скоро собирается, я знаю,— пришлите с ним ручную швейную машину, 2 пуда баранины, 1 — говядины, 10 фунтов свинины, 3 сотни яиц и полпуда масла. Приходится Гришеньке носить ежедневную передачу, а здесь провизия дорогая, и за деньги еще мало что продают, вещи разматывать не стоит. С Парфеном за доставку я сделаюсь сама, вы так ему и скажите, а то он вас обжулит. Ну, до свиданья, желаю вам доброго здоровья, крепко вас целую, буду ждать ответа. С сельчанами живите подружней, чтоб склока какая не произошла. От рябой Марфы держитесь подальше. Пусть в спину ругается, вы, очень вас прошу, молчите, не огрызайтесь. Пускай брешет, что я в городе живу для того, чтобы с чекистами путаться,— мне наплевать. Собака лает, ветер носит. Я не такая дура, чтобы по рукам пойти, на месяц регистрироваться, когда у меня муж есть и не собирается со мной разводиться. Вы стерпите, пока суд не кончился. Не надо ни с кем ссориться.

Любящая вас племянница *Клавдя.*

В начале письма я написала выраженье «благодаренье богу». Это, конечно, случилось по привычке. Я — жена партизана и все-таки как-никак большевика — не могу верить в бога, да и не верю. Но вам можно в церковь ходить. Ничего, это нам не повредит, вы — старенькая, вас уже невозможно переделать. Пишите ответ поскорей, но все-таки повнимательнее. Очень много букв пропускаете, я с трудом разбираю слова. Еще раз целую вас крепко и желаю всего лучшего.

К. А.»

Клавдя облегченно вздохнула, закончив письмо. Сладко потянулась, прижмурила глаза, но, вспомнив, что пора собирать узелок для передачи, быстро вскочила со стула. Посмотрев на часы-будильник в изголовье кровати, мысленно выбранила себя:

«Дурища, расселась! Уж пять минут второго, еду надо

к двум, а шагать-то вон сколько. И волосы не подвила еще. Фу, как время бежит, никак не успеешь все сделать. Ну, пойду побыстрей. Далеконько до вокзала! Ох... Много все-таки с моим Алибайкой хлопот».

Семнадцать человек — бывших офицеров, молодых мужиков из нехорошевских заговорщиков, наиболее здоровых на вид и степенных работящих уголовников — были переданы в распоряженье транспортного отдела политохраны для производства неотложных работ по восстановлению железнодорожного движенья. Перед самой отправкой неожиданно для тюремного начальства высшим распоряжением был причислен к ним Алибаев. В конце города, у вокзала, наскоро подремонтировали обветшалый арестный дом. Вместо поломанных в окна вставили новые железные решетки. У ворот выросла некрашеная, свежо пахнущая деревом караульная будка. Такие же молодые, веселые нависли ворота в прорыве седого, ощеренного меж досок забора. Арестанты, приобщившиеся в прогулке через город к нетемничной людской жизни, ввалились в них со смехом, с прибаутками, весело. Алибаев с усмешкой, широко обнажившей желтые, прокуренные зубы, подмигнул на будку и на ворота, крикнул:

— Правду в газетах пишут, покончали разрушать, строиться зачинаем!

Безбровый круглолицый солдат громко засмеялся в ответ, но быстро вспомнил, что он — охрана, покосился на других сопровождающих, мотнул винтовкой и пригрозил Алибаеву:

— Я те позубоскалю! Пролезай, что в воротах задерживаешь?!

Алибаев дружелюбно взглянул на него, ласково отозвался:

— Не серчай, сынок. Зазевался маненько.

На шатких, разбитых ступеньках входа он опять призадержался, поглядел на белесое небо, на притоптанный, загаженный людьми снег у крыльца, снова широко усмехнулся, хлопнул ласково по спине идущего перед ним и вошел в душный дом с железными решетками, как домой после томительного странствования.

Дом разделялся только на две половины. В одной стояли два длинных стола и одна тяжелая, во всю стену, скамья. Меж двух окон висел криво прилаженный, замызганный, исцарапанный телефон.

Здесь ранним утром и на ночь вместо ужина пили компанейский чай. Кипяток давался казенный, а заварка

своя, собранная из передач. На дворе грели дежурные чурками медный с прозеленевшими боками самовар. Обедали на работе. Другая половина, совершенно пустая, даже без нар, служила спальней. В изголовье под окнами в ряд вытянулись узелки, мешочки, мешки и сундучки с пожитками. Посредине, во все помещенье, положена была солома — общая постель. В обеих половинах под потолком плохо светили маленькие электрические лампочки, по одной в каждой. Но пустой, без строений двор был сильно освещен. Там и на улице сосредоточивалась охрана. Караульный начальник на ночь устраивался на столе.

С семи утра до темноты, с полуторачасовым перерывом на обед, арестанты заняты были тяжелой физической работой на железной дороге. Грузили, разгружали вагоны по уроку — определенному количеству пудов в назначенное распорядителем время, таскали на носилках по крутым всходам глыбы льда в холодильник, ворочали камни и бревна. Целый день на ветру, на предвесеннем озлившемся холоду, редко — под крышей, в своей, из дому еще взятой, у всех плохонькой одежде. У кого и была хорошая — в тюрьму с собой не взяли. Правда, в натуге холод донимал меньше всего. Но все-таки семеро — четверо из офицеров и трое из нехорошевцев — на пятый день работы сданы были в тюремную больницу в жестокой застуде.

На чрезмерную тяжесть работы не жаловался только Алибаев. Слабосильней многих, давно отвыкший от физического труда, он обливался потом под ношей, шумно, с хрипом дышал, часто сплевывал со слюной кровь. Возвращаясь, чуть двигал разбитыми, ноющими в костях ногами, со сгорбленной, затекшей спиной. По утрам и ночью, вставая на работу и ложась после нее, каждодневно он ощущал радость. Точно выздоравливающий после длительного беспамятства в хвори, заново видел вещи и живое — в их изначальной большой ценности. Под пакостной коростой дурных слов, злобы, скотского поведения он в окружающих, как собака нюхом, слышал теперь человека. По природе своей навсегда обреченный страстям, он и добро кощунственно восприинял как страсть. Как убивал и насиловал, так же стал благодетельствовать. Недоедая сам, раздавал другим грузную Клавдину передачу. Даже большую половину доставляемой изредка водки дрожащей рукой отливал другим. Постоянно отбывал дежурство по казарме за ленивых. Навязывал всем свою помощь. Им стали помыкать. Он без разбора уважал и прохвоста и честного, его уваженье стало вызывать в других гадливость, как пресмыкательство. Начал Григорий

часто заговаривать проникиовеиио о любви к ближиему. От волиеиья у него отвисала, мокрела ннжияя губа, н смотреть иа иего со стороиы было неприятно. Голос всегда ласковый, улыбка в ответ иа брань иадоелн всем арестаитам за полтора месяца совместного пребываиья — до отвращеиья к нему. Нехорошевцы, в разговоре между собой, дивнлись, вспомииая прежиего Алибаева. Мефодий Долгов объясиил:

— Чего ж, повихиулся в уме, блажениым стал. Теперь время такое, иекуда эдакого пристроить. Раиьше, пока моиастыри иеразореииые были, ои бы деньгу хорошую для обнтели зашибал. Божий сделался человек, а бог-то под запретом,— куда же ему деваться? И иам его надо терпеть, чего же!..

Степаи Кухарев, сплюнув, заключнл разговор:

— Беда! Чего с человеком случается! Кабы ие знал сам, н сроду бы ие поверил. Какой ведь орел был!

Клавдя иа свидаиьях подозрительио вглядывалась темнеиькнми острымн глазками в его лнцо.

— Ты ие хвораешь, Гриша? Я похлопочу в больиицу тебя. Что-то очень уж ты ласковый и развареииый какой-то.

— Брось, мне хорошо. Вот только ты очеиь устаешь. Заморнл я тебя, пичуга. Ехала бы ты домой.

— Грншеиька, я радуюсь, что ты теперь вннмательный ко мне такой. А все-такн думаю... Право, хвораешь ты.

Свиданья здесь не разрешалнсь, ио допускались по человечеству самой стражей рано утром до увода на работу и вечером по возвращеиье в любой деиь, если караульный начальиик ие был чем-иибудь расстроен илн обозлен. Происходнлн н в столовой, н во дворе, н в сеиях — как удобиее казалось охране.

Траиспортный отдел ГПУ возглавлялся длиниым сухощавым неразговорчивым человеком. Некогда ои отбывал каторжиые работы иа царском руднике. В разговорах уклоиялся вспомниать это время, ио помнил о ием хорошо. Зиал, что илоты бунтуют только тогда, когда отдушины тайиых поблажек наглухо закупореиы. Начальиик наложил запрет иа свиданья, ио сумел сделать так, чтобы ннжние доглядчикн догадывались его иеопасно нарушать. И заключенных радовала увереииость, что нм сочувствует иепосредствеиное иачальство, отиосится к иим по-человечески, с доверьем, рискует, допуская запрещеииые свидаиья с близкнмн. И это обстоятельство рождало особое отношеиие к иачальникам, в коице коицов выгодиое для иадзора. По особому тюремному закону нравственности арестаиты сами

связывали, ограинчнвалн себя, оберегая подвергавшнх нз-за иих себя риску надсмотрщиков.

Одии Алибаев сомиевался, что это попустнтельство без подвоха. Но, предавшись добру, считал эти мысли отрыжкой прежиего зла и сообщил их одиажды только Егору Кудашеву.

В первый деиь пребываиья в этом арестном доме оии хорошо встретились друг с другом. Как ввалились гурьбой в помещеиье, молодой сероглазый парень с белокурым пушком над большим алым ртом, с чериой родинкой иа правой щеке повернул за плечо Алибаева лицом к себе. Приветливо сказал:

— Вои какой ои есть, Алибаев!

Григорий лукаво подмигнул.

— Слыхал, зиачит, про меия?

— Как ие слыхать! У вас что же, вещей-то никакнх при себе, всего и осталось богатства, что этот тулуп?

— Хватит. Нечего хоромину-то загромождать. Ну, будем зиакомы. Я и место займу вот тут, с тобой рядом. Ну, шабер, как зовешься-величаешься?

— Егор Кудашев. Егор зовут.

— Кудашев! Слышь-ка, а ведь у меия для тебя поклон в котомке давио закладен. Вот, волк меня заешь, как это я забыл. Брат твой, Леонтий Кудашев, тебе клаияется.

— А где же вы его видали?

— Давио виделнсь, память с того дня отшибло у меня. Велел он постараться разузиать об тебе, помочь обелиться в деле-то в нашем в баидитском, а я как в одииочке рассиделся, так и рыло от хороших людей в сторону. Забыл, поимаешь, совсем запамятовал. Как отшибло!

— Какое же с вашей стороиы может быть обо мне стараиье, коль рядышком оба в клетку захлопиуты?

— Нет, иет, это я еще мозгой раскниу! Постой, с другимн сватьями иадо обиюхаться. Что за народ? С тобой еще, соседушка, иабеседуемся.

Набеседовались оин вволю. Алибаев узиал, что Егор Кудашев, действительио, зря запутался, но очеиь крепко. Доказать его иевииовиость трудио, так как ои сам не захочет до коица все нити распутывать. По сбнвчивым н иеоткровеииым его рассказам Алибаев чутьем докопался до правды. Обстоятельства перепутались иеобычайио.

Егор Кудашев жил в семье старшего их с Леоитием брата. Тот с партизаиской войны до сего дия еще не вериулся домой, ио, по вериым слухам, был жив, иаходился где-то за Питером. Ушел он с белыми, потом будто бы попал в плеи

к красным, с ними в рядах сражался — не разберешь, с кем из них содружествовал по своей охоте. Егор остался в избе с его женой и двумя братниными малолетними детьми. Жена братова, молодая, смелая и здоровая, хорошо управлялась по хозяйству и без мужа. Егором как наймитом помыкала и была в доме главой. Мужа своего она очень любила, сильно тосковала по нем. Но·она была уверена, что он за белых, а не за красных. Юный, очень душевный Егор сперва просто подчинялся снохе, потом, по-видимому, привязался к ней чувством более горячим, хотя грешной связи между ними не было. Из-за недосягаемости своей сноха сделалась для него как солнышко на небе. Дороже всего и ясней всего. Он верил каждому ее слову, выполнял все ее желанья. В самую распутицу попросились к ним два проезжих человека переночевать. Потом остались дней на пять, ждали, пока вода доламн схлынет. Старшего Егор знал как Алексея Климова, ездившего от своего села в город с каким-то ходатайством в земотдел. Был же на самом деле он атаман Нехорошев. Про заговор Егор Кудашев ничего не слыхал, сам и мыслями и настроеньем почитал Советскую власть своей, стоял за красных. Как ни был мягок по молодости, не поддался бы на заговор, хотя бы и сноха упрашивала. А после, как явились чекисты с обыском, нашли запрятанные охранные бумажки на имущество семьи этих Кудашевых с печатью организации Нехорошева и такое же письменное запрещенье мобилизовать принудительно Егора Кудашева в случае наступленья особого отряда атамана Нехорошева. В огороде разрыли бомбу. Сноха перед этим незадолго очень странный разговор вела с Егором. Теперь его он только понял. Она была виновата, но уж на попятный ладила, расчухала, что дело не выйдет. Когда производили обыск, она сильно перепугалась, что ее заберут от детей. Но заподозрили Егора Кудашева, забрали. Выдать сноху с головой он не мог, а иначе оправдаться ему никак было нельзя. Егор в рассказе выдал ее странно настойчивыми завереньями, что она *тоже* ничего не знала. Алибаев решил сообщить следователю про этот распутанный его личной сметкой узел, но услышал ночью один раз, как во сне Егор окликнул сноху по имени, а потом затосковал, заметался по нарам. Наутро от Кудашева держался в стороне, сердито его обрывал, а при свиданье с Клавдей через нее заявленья начальству, как собирался, не передал. Утешал себя мыслью, что его заступничество едва ли засчиталось бы в пользу Егора.

Один за другим незаметно в месяц выросли дни. Алибаев всем опротивел, но Кудашев от него не отодвинулся.

В революционные праздники, когда не водили на работу, Егор читал вслух Алибаеву книжки из тюремной библиотеки. Сначала читал рассказы. Но все попадались новые, недавно напечатанные — про белых и про красных, про житье при Советской власти, очень странно, непонятно и скучно написанные. Стали тогда вычитывать из политических брошюрок. Обоим это показалось занятнее. Но Алибаев не все понимал и попросту смотрел в рот Егору, думая о своем. Егору один раз дали свиданье. Приезжала сноха, и он в этот день дышал как в лихорадке, ни с кем в камере не разговаривал, и для Алибаева это был единственный ощутимо тягостный день в его новом настроенье.

Алибаеву казалось, что он теперь всех людей любит просто за то, что они люди. Но он бессознательно хитрил перед собой, не замечая, что Егор действительно полюбился ему всей своей ухваткой. Кудашев хорошо примечал все вокруг, действенно всем интересовался. Не иконоборствуя, как Алибаев, он не боялся жить своим умом, стойко противоречить всему, чего он не хотел принять. Был худощав, легок и вынослив. Поднимая на работе тяжелый груз, всегда устраивал его на спине особенно ловко. У него не было лишних движений, обременительной мужичьей неуклюжести. Никто не учил деревенского парня, как от них отделаться. Он сам, зорко глядя вокруг, заприметил их у других, нашел манеру двигаться, дышать, сберегая силу и время. Сделанные им ошибки не повергали его в уныние, не сбивали с панталыку. Он обращал их в пользу себе, как птица сопротивленье ветра для полета. Только в первом своем чувстве к женщине он оказался тяжело опрометчив и не мог еще из этой беды выкарабкаться. Алибаев, лежа рядом с ним на полу, спросил его как-то ночью:

— А что, Егор, Кудашевы русских кровей?

— Ыгы... А что?

— Глядел я все, сколь ловко ты ложишься, встаешь, и подумал — словно бы ненашинского народу ты человек. Шибко уж деляга. Догадливый, как жид, а спиной крепок, как русский. В человеке крови всегда обозначаются. Вот во мне русская от матери все-таки к старости отцову переделела. Жалостлив я стал, доходчивый до чужой туги. И сердце полегчало, совесть понятлива сделалась.

— Ну и зря. Блажишь ты не от матери, не от отца, а сам от себя. Дурачком сделался по доброй воле.

— А по моему сердцу, я только теперь и заумнел. Вот сейчас усну, когда злобы грех поменьшал во мне. А то спать не мог.

— Может быть, ты просто спился, ослабел. Пройдет еще это с тобой. Настоящие-то блаженные, все-таки правда, тронутые умом бывают. Я про тебя никак все-таки не думаю, что ты глупой.

— А я про тебя не сдогадаюсь хорошенько, умный ты или не вовсе умный, а только правильный. Действительно, правильный. А Леонтий, твой брат, тоже правильным мне показался, да все-таки не так.

— Вот тот правильный. Никакого правила не нарушит, раз оно ему втемяшилось. Сноха была, сказывала, что он в городу, здесь. А не пришел наведать, потому что здесь не по правилу, с обманом свидаются.

— О!.. Это уж и вовсе немец. Я на пленных немцев нагляделся, а то еще у колонистов бывал. Нет, есть к русским кровям у вас подбавка какая-нибудь немецкая. Перемешался теперь народ. Оно и хорошо. Новый приплод, может, получшее выдет. Нашинское племя перед старым хилявое, а эти, может, опять на поправку.

— Спи. Сегодня отпраздновали, завтра на работу. Задышишь опять, как паровик. Отдыхай.

Зима раздрябла, расхлюпалась. Небо нагрузло водой. Снег падал вперемежку с дождем. В сырости работа сделалась еще трудней. Обедать сели под запасным навесом для клади. Издрогшие, измокшие, сбились тесно, пасмурной тучей. Нехорошо смотрел и был вял даже Егор Кудашев. Всю последнюю неделю он на себя непохож.

«Тяжелое в мозгу поворачивает»,— думал, наблюдая за ним, Алибаев.

Сегодня он ни за кем, даже за Егором, не мог заботливо следить. Кашель разбил всю грудь. Ныли плечи, то и дело туманилась голова, жаркие искры прыгали, мельтешили перед глазами.

К навесу подошел невысокий худой солдат со шрамом через весь лоб, в грязной шинели до пят. Он был безус и безбород, но немолод. Мелкие морщины пересекали переносицу, бороздили виски. На изуродованном лбу желтая, увядшая кожа. Десять человек, охранявшие арестантов, сбились своей кучкой тоже под навесом. Один из них взглянул на подошедшего, повернулся к нему всем корпусом.

— Ты чего?

Тот хриплым голосом спросил:

— Братцы, товарищы, а що, не знайдется у вас лишней краюшцы хлеба?

— Во, видали! Явился гость! Разве можно солдату побираться?

— Та який же я солдат! Недужный инвалыд. Бачишь сам — витром качае. К батькам помырать иду.

— Помирать не надо далеко ходить, везде можно.

— Було б не надо, кабы враз смерть, а то дыхаю, истыпиты прошу.

Солдаты охраны поглядели друг на друга. Старший как раз жевал. Он отломил от своего куска и протянул пришельцу. Спросил:

— Откудова же ты идешь?

Солдат взял хлеб, вяло ответил:

— Сдалека.

И отошел. На ходу оглянулся, посмотрел на арестантов, скрылся за станционной больницей.

Старший передернул озябшими плечами, встал и начал переминаться с ноги на ногу. Солдат, сидевший поближе к арестованным, нехотя выговорил:

— Брешет, что солдат. Побирушка.

Старший равнодушно ответил:

— А пес с ним. Плохой, правда, хворый, видать. Ну, кончать еду надо, до вечеру мало время остается. Ты что какой сизый и трясешься весь? Хвораешь?

Алибаев, глядя мимо его лица, ответил сквозь зубы:

— Лихорадка трясет. Ничего, разомнусь.

— Ну, ладно, двигайся.

Алибаев не мог не узнать Клару. Узнали ее еще двое из арестованных. Оба они переглянулись друг с другом. Посмотрели на Алибаева, но тот отвел глаза. У него все захолодало внутри — не от испуга, а от жалости.

«Вот дурища! Несусветная дура! Чисто сучонка шалая, сама под руку подскакивает. Лучше бы ее тогда прикончили, сразу бы отмаялась».

Когда вернулись в арестный дом, двое, тоже признавшие Клару, по очереди урвали минутку спросить его о ней. Он обоим ответил:

— Ничего не знаю. Расхварываюсь, голова мутна, не разглядел. Чать, то вы в кого другого вклепались. И, как говорит, не расслыхал. Не знаю.

Укладываясь, Алибаев слышал, что его окликнул Кудашев, но не отозвался. Поглядел в темное плачущее окно, подумал о Кларе:

«Где она ночует-то? В эдакую непогодь да не под крышей. Худо! Ах, дура, дура».

Заснул скоро. Потом ему показалось, что он проснулся,

поспешно открыл дверь, пошел по длинным, ярко освещенным, но совершенно пустым и незнакомым коридорам на улицу. Шумел дождь, хлюпала грязь, но было очень светло на улице, и он бежал быстро. Дождь не мочил его одежды. Как-то сразу очутился в церкви, при ярком свете люстры, восковых свечей. Пел невидимо где очень монотонный, похожий на шум дождя хор. Но Алибаеву пенье казалось радостным. Он стоял рядом с Кларой. Их венчали. Лезло в глаза чернобородое лицо священника, но Алибаев все отворачивался, чтобы это лицо не мешало ему видеть Клару. И он повернулся боком к священнику, увидал ее синие глаза, удивительный сияющий взгляд — и весь задрожал от любви, восторга, странно смешанных с такой мучительной тоской, что дыханье остановилось. Чтобы не задохнуться, он хотел крикнуть громко-громко, но голос ему не повиновался, и он застонал. Вовсе это не церковь, а широкая равнина. Не видно ни травы, ни цветов, она вся сияя, и вверху в небе синева эта так ярка, что глаза режет. Он идет по ней один, но знает, что близко где-то Фрося. Опять его пронизал сладчайший трепет любви и боли, стиснул сердце...

С огромным усильем, с натугой закричал и проснулся, услышав свой крик. Он лежал на спине, и прямо в лицо ему светила лампа. Щеки были мокры. Алибаев поднялся, стал скручивать папиросу; руки тряслись, и он долго не мог свернуть ее как надо. Боясь смотреть в окно, но то и дело в него взглядывая, выкурил две папиросы, жадно затягиваясь, потом завернулся в тулуп с головой и опять лег. Больше уже не заснул до вставанья.

Алибаев был один в спальной половине. Все ушли в другую — обедать. Разговор оттуда доносился более веселый, чем в ближайшие прошлые дни. Сегодня, в день празднования Парижской коммуны, арестантам дан был отдых, на работу не водили. Она в последние дни всем показалась особенно тяжелой. Погода стояла переменная. С утра сверху оседала теплая сырость. От нее хилел снег и чавкал под ногами, промозглый воздух забирался в ноздри и в рот, вызывал маятный кашель. Потом вдруг холодало. Студеный ветер замораживал мокреть. Носили тяжелую кладь по заледеневшим, скользким сходням. Отсыревшая одежда во время передышки в работе быстро отнимала тепло разгоряченного движеньем тела. Троих сдали в больницу, заменив их новыми, никому не известными арестан-

тами, жителями дальнего какого-то места. Они, внове, часто сокрушенно вздыхали, жаловались на свою участь, искали в других жалости, сочувствия. Никто им не посочувствовал. Здесь мало было жалостливых.

Алибаев заново переменился. Он стал очень молчалив и хмур. Больше не кидался помогать другим. Назойливой услужливостью уже не надоедал, хоть и не огрызался, не спорил ни с кем, отвечал несердито, когда ответ от него требовался.

Сегодня, в день отдыха, приезжал из города оратор по путевке из губкома. Он делал доклад о международном положении и значении новой экономической политики. Арестантов его наезд развлек и оживил. Один Алибаев отнесся к нему безучастно. Сидел все утро на полу, поджав под себя ноги, и настойчиво думал о своем. Темные глаза его поблескивали по-ястребиному. Сейчас он, казалось, уснул, завернувшись в тулуп. Но как только хлопнула дверь, тайком посмотрел: кто? Вошел Кудашев.

— Ты что же не обедал?

— Егор, погляди, где Щука?

— Во дворе. Офицеры дрова колют, он им помогает. Я сейчас оттуда.

— А мужики? Другие-то где?

— В той половине, там печка топится, теплей, здесь шибко холодно. А што?

— Чего же делать? А?

Кудашев подошел к двери, прислушался и подошел к Алибаеву.

— А ты что же, на попятный думаешь? Сгубить нас всех хочешь?

— Я за тебя, Егор, пуще всех опасаюсь. Главное, не верю я, чтоб дело вышло. Кларка ведь дело-то ведет, никто другой. Она отчаянная шибко. Вылезет где надо. Как в прошлый раз.

— Так чего же? Она показалась вам, чтобы письму поверили. Ведь опасались, что обманное. И день хорошо выбрала. Узнали только те, кому надо было узнать.

— То-то, они ли только. Да и сомневаюсь я...

— В ней?

— Сама-то она в пекло полезет за меня...

— Вот ты это понимай, что и нас вызволяют только из-за тебя, не пяться назад. Я передумывать не согласен. Все равно — один, безо всякой подмоги, а убегу.

— Да ведь ты раньше не думал. Каюсь я, что тебе рассказал. Ты меня и с панталыку-то сбил, я бы не согласился.

— Думал я и раньше, да зацепки не было. А теперь все равно, больше не могу. Силы тратим, надрываемся в работе, а конец для меня плохой ожидается. У меня ведь нет боевой заслуги, я в своем дворе топтался. Ну, а смерти дожидаться сидеть мне неохота. Значит, надо спасаться.

— Ну, а поймают тебя — тогда не спасешься.

— Не поймают. А поймают, так что же? Нельзя же не пробовать от смерти уйти. Жив останусь — и виноватость свою избуду. Через годок-другой по-иному и об деле нашем судить будут, а сейчас горячо, а я в первых числюсь... Под горячую-то руку... Ну, как хочешь, разговаривать опасно. Коль передумал, извести остальных.

— У меня насчет тебя, главное...

— Насчет меня не поможет, я теперь от думки своей не откажусь.

— Ну, дак и нечего, ладно. Как надумали, так и сделаем.

Ночью ни Алибаев, ни Кудашев долго не засыпали. Оба обдумывали одно и то же — предстоящий побег. Один из конвойных, сопровождавших арестантов на работу, тайком передал Алибаеву известие от Клары еще до появленья ее на станции.

Она умоляла Алибаева бежать. Суд неизвестно когда, долго еще придется томиться в неволе. А там — если помилуют, не казнят, все равно опять долгое заточенье, а время идет, годы уже немолоденькие, может он и захиреть и кончиться в тюрьме. В Каин-Кабаке нашлись верные друзья. Они помогут побегу не только из тюрьмы, но и во Владивосток. Если он о себе не думает, пусть подумает о других. Она называла еще пятерых мужиков из одной волости с Алибаевым, которым помилованья быть не может. Их вызволят только с Алибаевым вместе, для одних стараться не будут. Все для побега налажено. Нельзя медлить, потому что весна развезет дороги, вскроет овраги и речки. Еще Клара наказывала остерегаться Клавдии, а о себе сообщила уже не на словах, а в нацарапанной ею самой записке. Алибаев разобрать ее не смог. С большим трудом прочитал ему Кудашев:

— «Николы я тебе в очи не встану, не разжалуюсь, не покличу, ты не бойся, от божуся смертельную клятвою, живы у щастьи, в доброму здоровьи. Плачу я не об своей недоли, и не с того волосы у мене стали сивы. Вбьють мене, так на одну пулю якого другого поважиийше сменю. Не хочу, щоб ты вмер».

Алибаев не сразу решил, как быть. Он раздумывал о том, что его попытка стать братом всем людям, помочь им —

окончилась неудачей. Не такая должна быть помощь. И не всем и каждому, а то половиком под ногами у людей станешь и самое добро слякотью распластается. Другое дело — помочь делом человеку, когда эта помощь насущно нужна. Кудашев ближе всех ему, милей других — ему надо помочь, ему следует сделать добро. И убивая, он жалел молодых, щадил их. А коль спасать захотел, как же не спасти юного Егора. Если он решает, что побег необходим,— надо согласиться. Егор думал о годах заточенья, о подневольной, не в радость себе, работе, о возможной безвременной и постыдной смерти и, содрогнувшись, ухватился за мысль о побеге. Теперь его невозможно было разубедить.

День побега был назначен в субботу, из бани. Водили их по окончанье работ каждую субботу вечером по десять человек. В эту субботу собрались только Алибаев, Кудашев и пятеро мужиков, названных Кларой. Но перед самым уходом к ним неотвязно пристал Щука. Новенький, которому не доверяли. От него удалось скрыть замысел. Присутствие его в бане усложняло дело, но отвязаться от него не удалось. Сопровождали их трое солдат. Один — тот, что передавал первое сообщенье от Клары, их соумышленник. Он остался караулить у двери номера в коридоре. Два других сели в предбаннике, где разделись арестанты. У одного из мужиков, самого смиренного вида, были запрятаны под одеждой веревки. Он замедлил раздеваться. Один из солдат спросил:

— Что же ты? Кого ждешь?

Мужик замотал седой кудлатой головой.

— Что-то в грудях задавило. Отдохну, посижу маленько.

Щука раскрыл рот, прислушиваясь, но Кудашев крепко обхватил его за плечи и потянул в баню.

— Чего встал на дороге? Пойдем, пойдем.

Сзади надвинулись остальные, и все гурьбой ввалились в баню, хлопнув дверью. Караульные сели на диван и стали свертывать папиросы. Отставший от других мужик начал раздеваться.

В бане Щука только что принялся смачивать голову, как сзади на него прыжком налетел Кудашев. Втиснул его голову в шайку и налег всем телом на него. Дверь в предбанник распахнулась. Караульные не успели двинуться, как шестеро здоровых мужиков навалились на них. Рот им заткнули грязным бельем. Четверо держали, двое раздевали. Сняв с них солдатскую одежду, их связали и внесли в баню. Там скрутили и Щуку. Он уже перестал извиваться в руках Кудашева. Был в обмороке. Кудашев и еще один

мужик быстро оделись в снятую с караульных амуницию. Остальные надели свою одежду. Кудашев огляделся:

— Все готово? Двигай.

И взял винтовку в руки. Тут только увидел, что полуодетый Алибаев, с лицом иссиня-красным, пошатывается на ногах.

— Алибаев, ты что?

Тот ничего не ответил. С трудом поворачивая налитыми кровью глазами, попятился, согнулся и лег на пол. Кудашев наклонился над ним. Он невнятно забормотал что-то несуразное:

— Хорек, хорек...

Кудашев побелел.

— Братцы, что же делать?

Седой кудлатый мужик дрогнувшим голосом ответил:

— Он не в себе. Я за им даве глядел, он нехорош мне показался.

Алибаев перемогался давно. Сегодня ему с утра было особенно худо. Он с трудом передвигал налитыми тяжестью ногами, но большим напряжением воли заставлял себя ходить, понимать, что делает. В бане, когда охватил его со всех сторон жар, он уже плохо видел и покачивался. В предбаннике, пока связывали караульных, на миг опамятовался. Но это напряженье было уже последним. Явь ушла из его глаз и слуха, он впал в беспамятство.

Кудашев раздумывал недолго.

— Ни вывести, ни вынести... Бьется в руках. Ну-ка, скорей рот, рот ему... Он закричит. Что же делать? Э-эх! Ну, нам передумывать поздно. Вяжи и его.

Кудлатый мужик тоскливо шепотом спросил:

— А чего же мы там скажем? Из-за его они больше старались, не из-за нас.

Егор махнул рукой.

— Что есть, то и скажем. Некогда теперь, поздно передумывать.

Он приоткрыл дверь и позвал стоящего у дверей. Из номера вышли пятеро в сопровожденье трех часовых.

Беглецов переловили в одиночку. В условленном месте не нашли они ни подвод, ни обещанных верных людей, и убежать далеко им не удалось. Только позднее стало известно, что в Каин-Кабаке в это время шла своя кутерьма.

Зима трудна выдалась для Каин-Кабака. Нужно было

любовное упорство в труде над их неудобной пашней. Каин-кабакцы и в прежнее время не надсаживались над полями. За войну отбились вовсе, разленились. И земля, как опостылая жена, рожала мало и худо. Иного промысла, отхожей работы поблизости не было. Волей-неволей приходилось тужиться по крестьянству. В ближайших соседних землях савеловских и копыловских хуторян озимь этой осенью, как щетка, вышла густа. У них же нехороша почти на всех пашнях. И еще от хозяйского недогляда или уже так — беда не ходит одна — напала хворь на скот. Чуть не каждый день на дворах по очереди бабы выли над подохшей животиной. И окрест над падалью в пустынном осеннем поле во множестве кружились беркута-стервятники, вертлявые сороки и жирное воронье, справляя пир. С холодами по людям пошла болезнь. В закромах заготовлено оказалось мало запасу. Еще до святок не дошло, каин-кабакцы уже доедали хлеб.

Раньше, пока ночная беда не прихлопнула алибаевский двор, жителям Каин-Кабака жилось тревожней, но и веселее. Перепадали с того двора и дары и подмога. Оттого сначала, когда забрали Алибаева, мужики густо загудели в гневе. Но вслед за Алибаевым взяли в тюрьму еще хозяев со многих дворов, самых охотливых на драку мужиков. Бабы подняли вой, сокрушаясь о детях, и робкие отцы семейств притихли. По-прежнему горячо о нем беспокоился, корил хуторян за бездействие только Васька Сокол, одинокий молодой мужик. У него жена и сынишка недавно померли. Он о них меньше сокрушался, чем об Алибаеве. Ему первому о себе весть подала Клара. С ним вдвоем они взбодрили сторонников Алибаева не только в Каин-Кабаке.

Вечером, накануне того дня, когда подбитые Васькой Соколом люди, во главе с ним, должны были явиться в назначенное место, бабы побежали гурьбой в избу Филатенковых. Матвея Филатенкова забрали по нехорошевскому делу одним из последних, недавно. Баба осталась на сносях, с пятью ребятишками на руках. Старшему сынишке всего одиннадцатый год, он и справлялся за хозяина. Евдоха Филатенкова, тяжело поворачивая огромный живот, сегодня собирала сына на мельницу. Мука вся кончилась, у соседей взаймы просить и совестно уж, да все-таки просила: в трех дворах отказали — самим никак не удается смолоть. Пришлось сына справлять на мельницу. Вдвоем с малосильным парнишкой насыпали и стащили на дровни зерно. А через час после этого Евдоха закорчилась в страшных, еще небывалых ни от одного из детей родовых муках. Бабушка

Секлетея замаялась с ней. Вытирая трясущейся рукой пот с лица, говорила собравшимся в избе:

— Ну, бабы, ничего больше не могу. Умаялась, чисто сама рожаю. Заговор, видно, сделан на брюхо кем-нибудь со зла.

Серолицая баба с глубоко запавшими глазами ответила ей слабым голосом:

— Эх, баушка, на всех на нас тот заговор, из-за него и мужиков в острог посажали, и бабы родят неблагополучно. Я вот какая удалая допрежь родить-то была, а в нынешнии года другого мертвенького скинула.

В ночи избу допоздна освещал с потолка маленький огонь пятилинейки. В кольце налегшей бабьей толпы на скорбном своем ложе лежала мертвая неразродившаяся Евдоха. Огромный живот возвышался над поверженным бездыханным ее телом как напоминанье об ее последней житейской тяжести.

Та же серолицая женщина, увидев его, затряслась и страстно взголосила:

— Сестрицы, бабоньки! Мужики отстраждалися, отвоевались, ждали бабы радости, работать без надсадушки, детей растить с родителем. А и где же те родители подевалися? Ой, тошно мне, тошнехонько, ой, бабоньки...

Она горько зарыдала, оборвав слова, и повалилась на кровать, лицом в ноги мертвой Евдохи.

Бабы, плотней сбившиеся в избе, завсхлипывали в ответ. Взвился и громкий плач. Высокая рябая баба сурово его перебила:

— Будет, бабы. Голошеньем здесь делу не поможешь. Он страждал, воевал, а мы, что ль, не маялись? Он-то наехал, с нами полежал, встал, отряхнулся да опять, дело не дело, в драку в новую. А детей кому подымать? В хозяйстве кто ворочать будет?

В ответ поднялся сполошный бабий шум. Жалобы, восклицанья, плач наполнили избу. Обычно окружала мертвого строгая, уважительная тишина, нарушаемая только установленным причитаньем. Теперь обида и неустройство живых отстранили мысль об умершей. Рябая баба сильным своим голосом опять покрыла общий крик:

— Теперь, если мы сами не вступимся,— пропадать и нам и детям. Чать, не я одна дослышала, что Васька наново подбивает.

— Мама-а!.. Ой, мама, ой-ой-ой!

— Стой, бабы, расступись. Эй, Степанида, это Гришанька твой. Степанида-а!

— Что ж, что мой! Пущай давят! Пущай всех подавят! Отец-то думает об их? А? Кто об нас подумает? Кто об нас постарается?

— То за большевиков ходили — наши, мол, наши. Ну, ладно, мол, наши. Как ни то перемогусь. Своими крылышками прикрою... Выстаивай за своих.

— И я, я тоже не отказалась. А теперь чего же, и это не свои. Да кто же тебе свои? Со всеми и будешь драться весь век.

— Кто с Алибайкой водился, кто от его наживался, тот пусть и вызволяет...

— Да, как раз! Нахлебники-то алибаевски, башкиры, казачишки-то, небось первы смекнули, поукрывались.

— Да что Алибаев? Опять, что ль, кто за Гришку собирается? Да скажите, милые, да не майте меня. Чего опять про Гришку?

— Васька Сокол на выручку...

— Они, соколы-то, взовьются да улетят, а отвечать опять воронам придется.

— Эдакому соколу перья-то повыщипать, башку набок пора.

— Да стойте же вы! Ой, да голубушки, ой, сестрицыньки! Айдате не сдавайте. Соглашались мы на большевиков, пущай и будут большевики.

— Вон Евдохины-то дети воют на печи. И наши так же будут. Который год одни всю работу ворочаем.

— Работу за их ворочаем и рожаем опять же мы. Кабы они родили, дак узнали бы...

— Стойте, бабы! Угомонись. Ну, стой ты, зевластая! Третий год всего замужем, а всех забивает.

— Да я на третьем-то на годе, может, за двенадцать твоих...

— О-ох, сердечушко! Да и как я в свою избу взойду, да и как я гляну...

— Сто-ой! Кто чего слыхал, ну? Отколь узнали, что мужики затевают?

Рябая баба звонко отозвалась:

— Я подслухала. Не спалось долго с вечеру...

— Эй, потише... Ну-к, стойте. Чего она говорит?

— Да громче ты!

— Рассказывай, Феона, говори...

— Вышла я во двор, гляжу, за плетнем по нашему огороду кто-то крадется. Я было кричать хотела, да одумалась. Вижу — мужик, а на дворе-то я одна. Ну, гляжу, гляжу: Васька Сокол. А за им еще. Трое эдак друг за

дружкой. Тут я и смекнула. Не иначе опять — на драку заваруха. Стой, думаю, догляжу. Они по-за амбарами вместе пошли. Я близко-то не могла. Но слыхала: Кларку поминали и Гришку, а потом: завтра, дескать. Я плохо дослышала, но все-таки выходит так... Завтра ночью они с Кларкой встренутся за хутором...

Поднялся снова шум, но скоро опал. Женщины начали совещаться потихоньку. Когда расходились, рябая властно заказала:

— На язык замок. Нетерплячие мы на тайности, а все-таки надо помнить: детям нашим на погибель, коль до время мужики дознаются. Надо Кларку словить, в ней весь вред. Гришка родня нам всем одинаковая, нашему плетню сват. Будет, навоевались с ним. А сколь порухи он нам сделал, еще не считано.

Юркая бабенка сунулась к ее плечу.

— В других местах бабы нову сарпинку понакупали, а у нас при ем ни куплять нельзя, ни торговать нельзя.

— Торговалы с купилой-то еще нет, об чем засохла!

— Ну ладно, бабы, будет. Потишей языками-то...

Прошел день, а в следующую ночь спозаранок поднялись все в хуторе, от мала до велика. Чуть угадывался еще по-зимнему тяжелый на подъем рассвет, когда в сизом его сумраке забегали, зашумели люди. За хутором, там, где высился шест с красным флагом, сгрудился народ. Шум тяжелого бега, разговор, крики, руготня сливались, ширились, перекатывались по всему хутору. Никто друг друга не слышал, каждый метался, кричал во всю силу голоса. Звонко перекликались, плакали, смеялись шныряющие меж взрослыми дети. Гул людского волненья, как буря, далеко отдавался в предрассветной тишине за хутором в горах.

Бабы подкараулили Клару с Васькой Соколом и еще двумя мужиками. На помощь поймавшим из всех изб набежали бабы с ухватами, с кочергами, с палками, с поленьями. В руках у рябой был большой заостренный кол. Она кричала:

— А ну, Васька, бей! Бейте нас, мужики! Кончайте нас, мужики! Ты, Степан, убивай меня! Убей жену свою! Кончай детей наших, все одно!

А сама наступала грудью вперед, широко и сильно размахивая колом. За ней другие. Стоном разливался их вызов:

— Пали из ружья! Поклади на месте!

— Чего же стали? Нам один конец.

Мужики отступили быстро. Бабы повалили Клару на снег. Падая, она крикнула:

— Тут и лежатымо, де завъязала себе свит. Братцы, Григория...

Кончить она не успела. Ожесточенный женский визг еще долго стоял и над мертвой, как кощунственная панихида. Бабы непристойно надругались и над телом ее. Завернув ей на голову одежды, обнажив худые, с выступающими костяшками колен ноги, ее труп привязали к шесту под флагом.

Прибывшие на другой день из города начальники, проходя по избам, везде заставали мужиков опять мирно сидящими на печках. Бабы крутились в обычной своей работе.

В ночь побега арестантов из бани на постоялом дворе в городской слободке ночевало трое приезжих мужиков. Целый день они ходили по городу, вернулись они уже по темноте и сразу залегли спать. Но когда хозяин потушил лампу и ушел в свою половину, они один за другим проснулись, тихонько, ощупью пробрались во двор посмотреть лошадей. Во дворе было темно от грузного облачного неба. Падал тающий на лету снег. Ноги по щиколку хлюпали в талом, вязком, смешанном с навозом месиве. Высокий жердеобразный мужик натянул чапан на голову, огляделся вокруг и, успокаивая кого-то, примерещившегося ему в плачущей, шепчущей тьме, вслух проговорил:

— Овсеца мерину подбросить придется. Ну, дороженька на завтре — трудно ехать будет.

Чубатый немолодой казак сердито подтолкнул его.

— Иди, иди подальше. Растопырился у крыльца.

Сошлись под сараем у одной колоды и зашептались. Казак, плохо сдерживая басовитый вольный голос, объявил:

— Крыто! Ворочаться домой надо. Ни хрена!

Мужик в чапане зашипел предостерегающе, оглянулся, зашептал чуть слышно:

— Каин-кабакские не явились, стало быть, отступились, а нам как же? Мы и вовсе по разным местам живем. Как сговориться — все вразброд, тот сюда гнет, этот туда.

Третий, низкорослый, но коренастый, спокойно негромко отозвался:

— Рассудили, значит, что ни к чему буча? У вас все вразброд, а мы чего же одни башку ломать пойдем? И в Каин-Кабаке народ теперь тоже не прежний народился. Надоел

он нам, говорит, беспокойный все-таки. Будет, навоевались! Хозяйство схилилось.

Казак грубым шепотом перебил его:

— Ну, тоже хозяйство! Как раз в Каин-Кабаке шибко ретивы мужики до хозяйства! Скажи: трус народ там — и все!

Мужик в чапане примирительно сказал:

— Ну, словом, ни у их, ни у нас, ни у вас нет охотников отбивать Григория. Народ, что волна в бурю, грозно гурьбой встает. Ну дак чо, будет уж бурей-то ходить. Пора кажной волне на свое место ложиться. Перепалки-то уж везде позатихли, а нам как новую затевать? Пущай сам как-нибудь старается. Он — дошлый! Утре, как маленько разведрит, айда по домам!

Алибаев отлежал полтора месяца в тифу. Только перед самым судом перевели его из больницы снова в тюрьму. Он совсем поседел, постоянно отвисала нижняя губа, и спокойно-туп сделался взгляд косых глаз. Теперь он никогда не отказывался от Клавдиной передачи. Много и жадно ел, почти все время заключенья провел в утробном глухом сне. В последний раз затрепетал перед жизнью во время суда. В первый же раз, когда он увидел, как подходит к красному столу своей отчетливой, верной походкой Егор Кудашев, он точно проснулся. Раза два в перерыве, в комнате, куда их выводили всех, ему пришлось говорить с Кудашевым. В первый раз он сказал ему:

— Вся вина на мне. Я ведь знаю, как люди помогают. Жалко тебя. Я ума решился, согласился на побег. Да кабы еще довелось с вами, а то... Худо мне, Егор, опять я шибко мучаюсь.

Во второй, приглаживая рукой седую щетину на голове, опять пожаловался:

— Люди сказывали — дикий зверь до старости не доживает. А я лютовал лютей зверя дикого, а смерть меня не берет ни в хвори, ни в казни. Коли меня не засудят на пристрел, куда же я тогда?

Кудашев невесело улыбнулся:

— А я вот знал бы — куда. И не пожалели бы судьи, кабы не засудили, а мне конец.

— Может, на суде обскажешь...

— Теперь поздно. Запутался я с побегом. Ошибся насовсем.

— Живой тем и жив, что ошибается да поправляется.

— В этой стрельбе промашки не бывает, а в могиле чего поправишь? На другой бок и то не перевернешься.

— Погоди, сынок, может, и не насовсем. Живой будешь — и оправишься и обелишься. У живого все концы в руках.

Он что-то еще хотел сказать, но передумал. Посмотрел ласково в лицо Егора и отошел.

Суд приговорил Алибаева к десяти годам лишения свободы со строгой изоляцией. Но, приняв во внимание его прошлые боевые заслуги, сократил этот срок наполовину. Под удар высшей меры отдали семерых во главе с атаманом Нехорошевым. На суде развернулась чудовищная картина зверской расправы нехорошевского отряда с отступниками и целый ряд тайных страшных убийств. К семерке применили революционный закон во всей его прямоте: расстрел без права обжалованья.

В тюрьме уже свободной стояла приготовленная смертникам камера, но все знали, что новые жильцы проживут в ней несколько часов, утра не дождутся.

Приговор был объявлен в дождливую весеннюю ночь, в два часа.

У зданья суда и дальше на площади густо чернела толпа в сплошной темноте под дождем. Жадно ждали осужденных, хоть и невозможно было даже разглядеть их. Выводили сначала под кольцевой охраной смертников и на некотором расстоянье от них — остальных, приговоренных к заточенью, под конвоем менее страшным. Сквозь дождевую завесу тускло мерцали редкие и слабосильные фонари, освещая малые неясные пятна отдельных лиц среди людского скопища. Невидимые голоса, прорывавшиеся отдельно восклицанья, смех, чей-то надрывный плач — колыхались над площадью во тьме. В самой плотной черноте, в середине площади, вдруг произошла заминка. Раздались громкие окрики:

— Раздайсь! Расходись! Освободить дорогу!

— Стой! Что такое?

— Товарищ Рудой!

— Наза-ад! Наза-ад!

— Стреля-ай!

В мокром воздухе один за другим глухо захлопали выстрелы. Налетела откуда-то конная охрана. Сквозь женские визги, шум и шлепающий панический топот бегущих очень сильный, уверенный мужской окрик:

— Все в порядке! Двигай дальше!

К охране, сопровождающей смертников, подскакал всадник.

— Что случилось?

Снизу, из тьмы, кто-то ответил:

— Ничего. В темноте-то, которых сзади ведут, кучей, сбились, прибавили шагу и натолкнулись на передних. Ничего, столпились, потолкались. Все целы: семеро. Сосчитай сам.

Никто не разобрал, что в толкотне Алибаев с огромной силой вышвырнул меж охраны в толпу народа Егора Кудашева и сам вошел на его место. Шагали медленно и ровно семеро, как прежде.

В камере, на свету, когда конвой захлопнул дверь и тяжело стукнул засов, Нехорошев схватил за плечо Алибаева:

— Ты, черт...

— Молчи! Задушу!..

Не прошло и часу, за дверью послышались осторожные шаги, заскрипел в замке неповоротливый большой ключ. Вошли люди с револьверами за поясом, с винтовками. Впереди высоколобый. Алибаев съежился, быстро повернулся спиной, но высоколобый не только сразу его увидел, но и все понял.

— Вместо кого? А? Нехорошев здесь? Кого нет?

Шестерых снова заперли в камере. Алибаева вывели. Высоколобый не очень смело, глядя мимо Алибаева, спросил:

— Это что еще за фокусы?

Алибаев злобно прикрикнул:

— Не твоего ума дело.

Но потом спокойно и негромко, точно самому себе, вслух пояснил:

— Ошибку вашу поправить хотел, еще раз на добро было поцыкнулся. Может, еще и удастся, может, вызволится. Парень эдакий белому свету нужен. А меня куда берегете — не знаю.

Клавдя знала. Она усиленно хлопотала, во все ходы проникла, съездила в Москву и там сумела облегченья участи Алибаеву добиться. Последняя его выходка была прощена, потому что Кудашев не убежал.

Прошло только полтора года, и Клавочка высвободила Алибаева. Старая Клавдина тетка встретила их хлебом-солью у ворот. Входя в свой дом, Клавочка вздохнула всей грудью и сказала:

— Ну, вот, все хорошо. Я опять своему мужу жена

и нашему дому хозяйка. Ох, надоело мне мотаться по судам.

Повернулась к Алибаеву и настоятельно сказала:

— Я надеюсь, Гриша, что ты теперь окончательно остепенился. Пора тебе честную старость себе добывать.

Как-то заехал к ним Савелий. За чаем, оглядывая одобрительным взглядом стол и располневшую румяную Клавдю, сказал Алибаеву:

— Не знай, за какое твое добро, Григорий Петрович, бог жену тебе такую послал. Без нее так бы и капут тебе. Дуром окочурился бы в какой-нибудь передряге. А теперь гляди, в дому добра — на детей и на внуков хватит. Сами оба наливные, не укулупаешь. Седой ты, да седина не в укор, коль детей еще печешь. Покрикивает наследник-то, растет? Только не в тебя, а в мать задался.

Савелий знал, что дитя привозное. В город Клавдя выезжала нередко, да и Шурка, случалось, сюда завертывал. Еще когда Алибаева выхлопатывала, сблизилась с Шуркой. Знал об этом и Алибаев. Но Клавдя ясно взглянула на Савелия и тепло улыбнулась.

— Растет. На отца непохожий лицом, не знай, какой характером удастся. С муженьком-то натерпелась я беды, не довелось бы еще и с сыночком.

Алибаев, навалившись грудью на стол, жадными пальцами тянул к себе кусок жирного пирога. Он равнодушно поглядел на Клавдю, на Савелия и, лениво ворочая языком, маловнятно отозвался:

— Какой-нибудь вырастет. Кричит только больно шибко.

Туго забив рот пирогом, выпучил глаза.

— Вот ведь как, Клавдия Тимофеевна, ты остепенила человека. Крик слышать стал. А раньше сам без крику часу не жил. Ну, знаешь, Григорий Петрович, я все тебе прощаю. Много ты мне страху задавал, все прощаю. А вот как вы с чекистами коня у меня угнали, этого не прощу. И сейчас, как вспомню, ругаться с тобой охота.

Алибаев сильно огрузнел. Память у него тоже будто жиром затянуло. Он искренно ответил:

— Какого же это коня? Я чего-то забыл про коня. Какой конь?

Он редко вспоминал отдельные случаи из прошлого. И вся его былая жизнь вспоминалась ему дремотно, будто в жарко натопленной комнате, разморенный теплом, он смутно улавливал ухом взвыванье далекой непогоды.

Клавдя взглянула на него и ласково посоветовала:

— Не бери третий кусок, опять под сердце задавит. Не жалко ведь, ешь на доброе здоровье, да ведь тебе же

под сердце задавит. Ну-ка, возьми вот, утрись, щеки у тебя намаслились. Муж у меня неплохой человек, Савелий Максимович. Только надурил много. Пораньше бы ему оглянуться на себя да вот эдаким спокойным манером зажить, как сейчас. В партии состоял, не удержался,— жалко. Дельному человеку лучше всего, когда он партийный. В работе шире можно развернуться. Я бы и сама партийной работой занялась, кабы было на кого хозяйство оставить. Тетя уж очень постарела, только и может, что ребенка нянчить,— и на том спасибо, все помощь. Вы-то, я знаю, по старой закваске, партии опасаетесь.

— Будешь опасаться, как зятька такого, как Леонтий, наживешь. Бабе-то, конечно, все одно — с кем живет, в ту дугу и поет, но мне Аннушку жалко. Ни достатку основательного, ни почету. В прежнее-то время я бы ее не так устроил.

— Я тоже дивлюсь, Савелий Максимович, как люди не умеют устраиваться. Хоть бы для пользы дела сообразили. В городе я знаю одного — уважаемый партийный, вроде начетчика по разным собраньям выступает. А гляжу один раз — дерет на собранье на это пешедралом через весь город, чисто беспартийный какой. Лошади себе даже не исхлопочет. Вот и у нас сын комсомолец, то есть пасынок-то мой,— ну, да мы с ним дружно живем, все одно я его за родного сына считаю, и он меня больше Григория Петровича уважает,— так вот он тоже неразумный в этом деле. Это уж у него от Григория Петровича. Разговаривает он со мной, я ему ведь сочувствую, он любит со мной беседовать, а попросить его поддержку какую исхлопотать — нельзя. Сейчас зафордыбачит. А что же, так без поддержки и в кулаки недолго попасть. Вот тебе боевой партизан Алибаев, гроза на всю округу, а в кулаках засчитают за хозяйство. Ох, надо бы, Гриша, тебе заслуги-то боевые отчистить как-нибудь.

Алибаев, шумно сопя, поднялся, голосом искательным, неуверенным проговорил, глядя в сторону:

— А што, праздник ведь сегодня. Я пойду с теткой в подкидного дурака сыграю.

С недавнего времени он очень пристрастился к этой нехитрой карточной игре. Так самозабвенно ей предавался, что Клавдя иногда не могла дождаться его по делу. Приходилось вместо него самой с работником в амбар ходить, овес лошадям отпускать. И Клавдя ласково, как всегда, но безотменно наложила запрет на «подкидные дураки» в будни.

Клавочка проводила взглядом тяжелую, широкую книзу

фигуру Алибаева. Когда его шаркающий шаг перестал быть слышен, негромко сказала Савелию:

— Надо куда-нибудь его пристроить. Может быть, еще для какого-нибудь дела сгодится, а то эдак кровь застоится, не дай бог и удар хватит. Может быть, вот в потребительскую лавку. Работа общественная, тоже все-таки неплохо. Он же боевой партизан, все-таки этого у него уж совсем-то не отняли. В городе ему легче устроиться, да жизнь там нетихая, беспокойная все-таки. И хозяйства такого уж не разведешь. Здесь крестьянствуем потихонечку.

Летним вечером Алибаев сидел на приступке у входа в потребительскую лавку. Еще люди не вернулись с поля, тихо лежало село. Но вечерние длинные, как в старости, тени уже вытягивались над землей. Поглядывая на смирное небо с широкой спокойной полосой заката и пустынную дорогу, Алибаев радовался покою. Хорошо, что покупателей сегодня мало было. Он еще не привык отвешивать, выдавать товар и получать деньги. Это занятье было ему неприятно. Но что же — спорить с Клавдей, ругаться, очень уж это беспокойно. Да в лавке сидеть неплохо. Прохладно, и мух мало. Задремлешь — в рот не набьются. А дома чуть приткнешься где — мухи и в рот, и в уши, и в нос. Грузен очень стал. Как уснет, вспотеет, жир пот гонит, мухи облепят, как жирную падаль.

На дороге показался человек. Алибаев встревоженно приподнял голову: не в лавку ли? Эх, хоть бы мимо. Человек прошел мимо, даже не взглянул. Но Алибаева вдруг что-то пробороздило по сердцу. Он тяжело, с пыхтеньем задышал. В движеньях человека, в его легкой верной походке была большая схожесть с Кудашевым. С холодком в груди и посветлевшим взглядом Алибаев подумал:

«Егор... нету его. А хорошо было зародился человек! Только не иначе что была в нем другая кровь».

Из-за угла выбежал шустрый босоногий мальчишка.

— Дяденька, Григорь Петрович...

От распиравшей его жажды действия мальчишка не смог обойти вниманием лежавший на дороге камешек. Подхватил его, лихо размахнулся рукой и пальнул в небо, только потом закончил:

— ...Хозяйка твоя чай пить велела домой идти. Да только скорей, самовар уж на столе. А то, она говорит: ты ногами возишь-возишь, никак не довезешь. Айда!

ЖИВЫЕ ЧЕРТЫ ПОКОЛЕНИЯ

Удивительный это документ взбудораженной Революцией России — книга А. Топорова «Крестьяне о писателях». Особенно та ее часть, где крестьяне рассуждают о писателях, в произведениях которых нашла яркое отражение революционная ломка в городе и в деревне, с чьими именами мы связываем начало нового, социалистического этапа русской литературы.

В высшей степени поучительный документ, рассказывающий о настоящей просветительской роли литературы, о ее значении и назначении.

Листая эти страницы, иногда ловишь себя на мысли: как жаль, что учителю Топорову и его коммунарам не довелось прочитать ту или иную книгу, что в этом поразительном человеческом документе не зафиксировано отношение крестьян к некоторым произведениям, составляющим сегодня золотой фонд нашей советской литературы. Но среди тех, кто удостоился такой чести, мы находим имя одного из ее зачинателей — имя Лидии Сейфуллиной. Факт этот говорит о том, что имя ее стало популярным сразу после литературного дебюта, что дебют был успешным, что писательница была замечена даже в глухом сибирском селе и творчество ее тронуло за живое людей, только лишь приобщающихся к грамоте. Вот несколько суждений о писательнице, о ее героях, о языке ее знаменитых «Правонарушителей»: «Не знаю, с какого краю начать разговор, потому что везде у ней тут комар носу не подточит. Написано на отделку! Мартынов — настоящий грузило! Вот это делец! Этот любую стену лбом прошибет. Всякую бюрократию развоюет. Самый нужный по жизни человек этот Мартынов. Ему протоколы да бумажки не надобны. Он больше делом занимается...» «Веселья в книжке много, и покумекать есть над чем...» «Помужичьи эта писательница может здорово растабарывать...» «Не видавши так не напишешь. Сходственность полная с правдою есть...» «Про язык я так скажу: пущай все бы так писатели писали...»[1]

Говорили это разные люди, но какая чуткость к слову, точность реакции на героев и события, какое понимание социального назначения литературы!

Так приняли одно из первых произведений Лидии Сейфуллиной читатели. Так безоговорочно она была принята и критикой профессиональной, средой литературной. Нельзя сказать, что ее творческая, а значит и человеческая судьба была безоблачной, но вошла Лидия Сейфуллина в литературу без преувеличения триумфально. В предисловии к одному из собраний ее сочинений Ираклий Андроников восклицает: «Трудно представить себе сейчас, как она была знаменита! Какие вызывала ожесточенные споры! Начиналось с Сейфуллиной, кончалось политикой. Но, кажется, все сходились в одном — талант!»

Имя Лидии Сейфуллиной неразрывно связано с журналом «Сибирские огни» — одним из первых «толстых» журналов новой России. Само его создание являет пример особой значимости. В полуголодной, полуразрушенной стране, где была масса проблем и дел, казалось бы, несрав-

[1] Топоров А. Крестьяне о писателях. Новосибирск, 1963, с. 146—148.

нимо более важных, ценою невероятных усилий не только экономического, материального (не хватало бумаги, не было надлежащей технической базы и т. д.), но и организационного характера, в далекой Сибири рождается этот журнал, сразу же ставший тем ядром, вокруг которого собрались лучшие культурные силы обширного края. Сил этих было не так уж много. Их нужно было не только собрать и объединить, но главным образом пробудить, вырастить.

Этим благородным делом много и вдохновенно занимается Лидия Сейфуллина, взявшая на себя обязанности, как мы нынче называем, ответственного секретаря будущего журнала. Позднее, живя уже в Москве, став уже популярной писательницей, Лидия Николаевна вспоминала, как, в каких условиях рождался журнал «Сибирские огни», давший за многие годы своего существования путевку в жизнь не одному десятку советских писателей.

«Только теперь, в атмосфере столичных редакций, я понимаю, какой исключительной ценностью было отношение к журналу «Сибирские огни» всех его руководителей. Большая партийная работа возлагала на них множество обязанностей, много времени отнимали газеты, выступления на бесчисленных собраниях, работа в учреждениях, непосредственно им порученных, но не было ни одного не состоявшегося заседания редакционной коллегии, ни одного не выполненного обещания о сдаче в срок статьи, материала для номера... Я не могу быть заподозрена в запоздалом чиновничьем умилении, сообщая все эти подробности. Отмечаю их... чтобы ясно было, как удалось в те годы, в Сибири, еще не спокойной от сотрясений, в полубоевой обстановке, в самом начале восстановления хозяйства, возникнуть крупному издательскому делу и осуществиться мечте многих сибиряков — появлению сибирского литературно-художественного журнала. Была вокруг этого культурного большого дела настоящая товарищеская спайка»[1].

Может даже показаться, что первые произведения Лидии Сейфуллиной, опубликованные в «Сибирских огнях» и сразу принесшие ей успех, были созданы благодаря ее, так сказать, самодисциплине, рождены необходимостью заполнить страницы журнала прозой, которой к этому случаю не оказалось в редакционном портфеле. Да и факты, воспоминания тех, кто стоял у истока «Сибирских огней», казалось бы, располагают к такому заключению. И сама писательница вроде бы подтверждает это. «Я писала протокол заседания,— вспоминала Л. Сейфуллина.— Ручка у меня дергулась в руке как пьяная, я посадила жирную кляксу на протокол... Лет пять назад написала я было повесть, но Правдухин (муж Лидии Николаевны, писатель и литературный критик, тоже один из создателей журнала «Сибирские огни».— *В. Е.*), прочитав ее, сильно расстроился. Была она тягуча, сентиментальна, вообще ни к чему. С тех пор на писание рассказов я и не посягала...»[2]

[1] Сейфуллина Л. Собр. соч. в 4-х т., 4 т. М., 1968, с. 236—237.
[2] Там же, т. 4, с. 230.

Последнее, правда, не совсем так. Незадолго до заседания редакционной коллегии, о котором вспоминает Лидия Николаевна, ею был опубликован в новониколаевской газете «Советская Сибирь» рассказ «Павлушкина карьера», написанный профессионально и именно этим обратившийся на себя внимание. Таким образом, факт, что Лидии Сейфуллиной было предложено написать прозаическую вещь на открытие первого номера «Сибирских огней», не случаен.

Вспоминая то же знаменитое заседание редакционной коллегии, другой его участник — Г. Пушкарев — писал впоследствии: «Начался горячий разговор, выяснилось, что Лидия Николаевна имеет уже «заготовки» для повести, тема продумана... остается только «немногое»: написать.

Лидию Николаевну, по возможности, освобождают от всех нагрузок, в ее распоряжении свободные от работы часы, ночи...»[1] Надо сказать, что времени в ее распоряжении было совсем немного. «Горячий разговор» состоялся в самом начале 1922 года, а в марте того же года вышел первый номер журнала, в котором и была напечатана ее повесть «Четыре главы».

Энергично работалось, энергично и начиналась эта повесть: «Жизнь большая. Надо томы писать о ней. А кругом бурлит. Некогда долго читать и рассказывать. Лучше отрывки».

Вот и все вступление к повести, в которой вовсе не скороговоркой рассказывалось об очень серьезных событиях, происходящих в Сибири в канун Великой Октябрьской социалистической революции.

Повесть названа вроде бы чисто случайно, по количеству составляющих ее глав — их действительно четыре. Все вместе они вбирают в себя немало героев и событий, происходящих с этими героями. Действующие лица в каждой главе меняются — одни сходят со сцены, другие появляются вновь. И лишь два из них — Анна и Владимир — остаются постоянно в центре авторского внимания, а значит, и читательского тоже.

Кто же они, эти главные герои? Самыми общими словами можно сказать, что это люди, идущие в революцию. Только один из них — Владимир — идет в нее путем прямым, шагом твердым и непреклонным, его же сверстница, тоже сибирячка, тоже вышедшая из самых низов, идет по жизни как бы на ощупь, но жизнь один за другим преподает ей такие уроки, которые волей-неволей открывают перед ней тот самый путь, которым уже давно идет Владимир и который обязательно, неизбежно, неотвратимо приведет человека, серьезно мыслящего, кровно связанного с родной почвой, в революцию, в стан тех, кто озабочен подлинно народным делом.

Путь Анны не легок. Был у нее свой ад и свое чистилище, испытания физические и духовные, на многое она насмотрелась. В этой, в сущности, небольшой повести мы видим дореволюционную Сибирь — ее города, деревни, золотые прииски и даже тюрьмы. Через все это проходит героиня не как сторонний наблюдатель, а как человек активный, порой до болез-

[1] Л. Н. Сейфуллина в жизни и творчестве. Воспоминания. Статьи. Новосибирск, 1957, с. 61.

ненности остро переживающий и то, что касается ее непосредственно, и то, чему она является, казалось бы, просто свидетелем.

Повесть отмечена большим художественным тактом, тем чувством меры, которое не позволяет писателю сгущать краски или из богатой палитры брать лишь черную и белую.

Сложной, противоречивой, часто беспросветной показана Сейфуллиной жизнь дореволюционной Сибири, будь то золотой прииск или глухая, тайгой отгородившаяся от мира деревня. Тяжелы ее нравы. Вспомним, например, жуткие сцены на золотом приисках: «Нервы! Вот там нервов нет,— гневно говорит Анне в канун ее отъезда с прииска не один год работающий здесь доктор.— Взгляните в казармы. Иля в аул... Эх, барынька!.. Ну какие у вас страданья! Вон там рабочего запороли. Спирт нашли. А баба осталась сам-шест. А жрать нечего. Повыла да и на работу пошла. Киргизка родить долго не могла, они ее за ноги к косякам дверей кибиточных привязали, а за руки давай трясти. Ну я затрясли. Ребенок мертвый, и сама сегодня умерла. А киргизята воют. Вот это трагедия. А у вас и кусать есть чего, и жить будете с людьми, не с дикарями...» Или вспомним сцену самосуда над цыганами уже в деревне, куда с прииска сбежала Анна. Семь человек цыган — мужчин, женщин, даже семилетнего ребенка — на глазах ошеломленной Анны растерзала та деревня, «всем миром» терзали...

Конечно, на все есть свои причины. Одна из них — «века гнета, насилия, самодурство...». Не раз еще поразит Анну это «старое, вековое», но убедится она и в другом — увидит собственными глазами, сама почувствует, как нарождается новое в вековой темной деревне, будто живой водой вспрыснутая, она уже заговорит не о своем только, не об обиходном, заговорит иными словами, иным тоном.

Анна воочию увидит, как грядет в деревню правда, священный гнев, стремление отречься от старого. Но об руку со всем этим придет и другое — все больше начнут разгораться здесь страсти, все откровеннее будет обнажаться добро и зло, всплывать на поверхность то, что веками угнетения загонялось вглубь. Дойдут и сюда, в таежную даль, новые слова: «Учредительное собрание», «резолюция», «протест», запоют на деревенской «улице» неслыханные доселе песни. Словом, забурлит деревня и настойчиво, требовательно заставит каждого определиться в этой круговерти. Будет метаться, искать выхода и деревенская учительница Анна, но прибьет ее к берегу бунтарей: «Было в этих новых меньше привязанности к старому, меньше примиренности, больше гнева».

Емко, даже афористично скажет Лидия Сейфуллина о своей героине в конце повести: «Стала простой и мудрой». И этому веришь, потому что писательница не просто рассказала, а до зримости убедительно показала нам, как нелегко дались Анне и простота и мудрость. То и другое ею поистине выстрадано, приобретено дорогой ценой, а значит всерьез и прочно.

Я намеренно подробно остановился на этой первой повести Лидии Сейфуллиной. Нельзя сказать, что она обойдена вниманием критики и литературоведения, но упоминается о ней часто скороговоркой, она оказа-

лась как бы заслоненной последовавшими вскоре «Правонарушителями», «Перегноем», «Виринеей». Это не совсем справедливо.

Приводившееся выше трехстрочечное «вступление» к повести подобно камертону. Его стилистическая плотность точно соответствует дальнейшему повествованию. Емки здесь человеческие характеры, события — густой концентрации. Это как бы тезисы, конспект. Порой даже кажется, что писательница обкрадывает себя, отказываясь от детализации, более подробного развертывания событий. На самом же деле стиль этот намеренный, скупость оправданная.

Лидия Сейфуллина пришла в литературу человеком идейно и политически зрелым, имея за плечами богатый жизненный опыт. Ей было о чем рассказать, ее переполняли те жизненные впечатления, которые обрела она ко времени создания своих первых произведений. Может, именно отсюда этот «телеграфный стиль», эти сгустки событий и концентрированные характеры? Во всяком случае, в произведениях, последовавших за «Четырьмя главами», мы найдем немало жизненных явлений, человеческих характеров и судеб, прообразы которых в той или иной степени намечены в этой первой повести. Там будет определенная детализация, более подробное описание событий и явлений и иное их осмысление.

В данном случае нет необходимости (хотя и крайне любопытно) прослеживать, как, в каких произведениях этот процесс находит свое развитие. Суть не в том — повесть «Четыре главы» стала горячим, живым откликом писательницы на события тоже горячие, живые в памяти многих и разных людей, прошедших путями революции. Для нас же, людей более поздних поколений, эта повесть — произведение по существу историческое, а стало быть, особенно значимое в познавательном смысле. Тем более, что написано оно человеком наблюдательным, с цепкой памятью. Видеть же и запоминать Лидии Сейфуллиной довелось немало.

Она родилась в 1889 году в Оренбургской губернии недалеко от нынешнего Магнитогорска. Ее мать Анна Ивановна была русской крестьянкой, отец Николай Егорович — крещеный татарин. Его родители рано умерли, и воспитывался он в семье православного священника. Личность это была незаурядная, он много читал и знал, даже пробовал писать. Своим дочерям, тоже рано оставшимся без матери, он старался привить любовь к книгам, к классической русской литературе, к природе — вообще пробудить в них чувство прекрасного. В «Автобиографии» 1944 года Лидия Сейфуллина так пишет о роли отца в ее жизни: «...Личная моя судьба тесно связана с жизнью моего отца. Поэтому я должна подробнее рассказать о нем... Плохой вышел из него миссионер православия... Он долго был без места, потом начались его скитания по заштатным приходам. По недостатку средств ни я, ни моя сестра высшего образования не получили. Несмотря на свою профессию, отец мой жил бедно. Во время гражданской войны красноармейцы говорили, что это единственный поп, у которого во дворе нет ни лошади, ни коровы, а в дому мало-мальски приличной обстановки...»[1]

[1] Сейфуллина Л. Художественные произведения, воспоминания, статьи. Оренбург, 1959, с. 155—156.

Такие люди, как отец Сейфуллиной, очень близко стояли к деревенским труженикам, и, естественно, дети их тоже не были изолированы с самого раннего возраста от окружающих. В другой «Автобиографии», написанной раньше, Лидия Николаевна пишет об этом периоде: «Я — не крестьянка, не работница, не дворянка, не помещица, я — представительница низовой служилой интеллигенции. Мне надо было еще учиться, как крестьянину и рабочему; надо было бояться безработицы; приходилось всегда существовать при хозяине. Но мой труд, дешевый, легко заменимый при моем исчезновении, неприметный для привилегированных классов,— для крестьянина и рабочего царской России казался легким, барским. У меня не было *моей* социальной среды»[1].

Хотя Лидия Сейфуллина училась сначала в церковноприходской школе, а затем в епархиальном училище и гимназии, главным для нее было самообразование. Она рано приобщилась к книгам, много читала.

Трудовая деятельность началась тоже довольно рано. Работала она в разных местах России учительницей в сельских и городских школах, в воскресной школе для рабочих. Одновременно сотрудничала и в газетах, участвовала в любительских спектаклях, как актриса профессиональная, несколько сезонов разъезжала с гастролями по стране, но в 1912 году снова возвратилась к учительству в деревне, где и встретила Февральскую, а затем и Октябрьскую революции 1917 года.

В дальнейшем Лидия Сейфуллина много и энергично занимается культурно-просветительской работой в советских учреждениях, ликвидацией детской беспризорности, журналистикой. Важным событием в ее жизни этих лет стало участие в работе третьего Всероссийского совещания по внешкольному образованию, на котором выступал Владимир Ильич Ленин. Было это в 1920 году.

Речь вождя произвела на Лидию Сейфуллину незабываемое впечатление. Позднее она писала: «Для меня этот день стал жизненным откровением. Он определил мое трудовое место в стране, весь мой дальнейший рабочий путь — внешкольного работника, позднее — литератора»[2].

В 1922 году тридцатидвухлетняя Лидия Сейфуллина, за плечами которой был не один год самой разнообразной культурно-просветительской работы, становится литератором. Вслед за повестью «Четыре главы» в том же году и в таком же темпе, буквально для очередного номера «Сибирских огней» пишет она «Правонарушителей». И это произведение сразу же становится популярным и актуальным настолько, что по выходе журнала издается отдельной книгой небывалым для тех времен тиражом — 15 000 экземпляров — и рассылается в качестве методического пособия по школам Сибири.

Лидия Николаевна говорила, что «Правонарушителей» она писала, «как песню по своей охоте пела». Это и понятно. Писать было о чем. Кругом столько нови, столько еще не поднятой целины!

---

[1] Сейфуллина Л. Собр. соч. в 4-х т., т. 1, с. 39, 40, 42.
[2] Там же, т. 4, с. 146.

В «Правонарушителях» писательница поднимает иной по сравнению с «Четырьмя главами» жизненный пласт. Речь в этом произведении идет о явлении не менее для нее знакомом и важном, во всяком случае, весьма злободневном для начала 20-х годов — о беспризорных детях, жертвах войны, разрухи, голода и нищеты, о явлении, поистине превратившемся в народное бедствие. Тема беспризорничества, бедственного положения детей в эти годы волнует многих писателей. Ей посвящены сотни статей периодической печати, нашла она свое отражение и в целом ряде произведений художественных, например в книгах А. Неверова, Г. Белых, Л. Пантелеева, А. Макаренко. Одной из первых обратилась к ней Лидия Сейфуллина. Ее «Правонарушителей» по их социальной значимости и жанровым признакам точнее следовало бы назвать не рассказом, а повестью. Впрочем, многие исследователи так и считают — настолько масштабно это произведение, так четко, колоритно и оригинально решает в нем Л. Сейфуллина одну из насущных задач своего времени. Не случайно, что даже такой авторитет, как Макаренко, по прошествии многих лет после публикации «Правонарушителей» дает им высочайшую оценку: «Начнем с классической книжки Сейфуллиной «Правонарушители». Это небольшой рассказ, тем не менее он сыграл очень важную роль, гораздо более важную, чем «Педагогическая поэма». Почему? Потому что в этом рассказе впервые, и довольно неожиданно и смело, была высказана истина о правонарушителях, составляющая аксиому.

Что это за истина? Читая этот рассказ, вы во всем тексте, от первой до последней строчки, чувствуете, как звучит глубокая, искренняя вера в человека, вера в то, что не может быть прирожденной преступности, вера в лучшие человеческие качества — уверенность, которая теперь уже для нас составляет несомненную истину.

Эта вера в человека блестяще звучит у Горького, это то, что можно назвать оптимистической перспективой в подходе к человеку. Вот эта вера звучит в произведениях Сейфуллиной гораздо сильнее, несравненно сильнее, чем во всех остальных книгах, посвященных правонарушителям»[1].

Такова оценка педагога-профессионала, педагога-теоретика и писателя. Вспомним и приведенные выше оценки сибирских коммунаров. Поистине, «не видавши, так не напишешь...»

Лидия Сейфуллина не только видела беспризорных, работала с ними, переживала эту трагедию — чутьем художника она поняла, где следует искать выход из бедственного положения. С точки зрения «чистой» педагогики начальник колонии, воспитатель Мартынов, конечно, не идеал: резок, иногда даже груб. Но — практик, человек, любящий свое дело и детей. Вот это сразу почувствовали беспризорники, а почувствовав, поверили Мартынову.

Симпатии писательницы тоже на стороне Мартынова, но она, повторяю, вовсе не идеализирует его. В повести реально все — и герои, и обстоятель-

---

[1] М а к а р е н к о А. Собр. соч. в 7-ми т., т. 5, с. 365.

ства. Есть свидетельство и реального существования описанной колонии прототипов героев. Но не только достоверностью ценно это произведение Лидии Сейфуллиной. Новым словом в литературе 20-х годов оно стало благодаря своей идейной целеустремленности и тому гуманистическому пафосу, который был прямым следствием революционного преобразования жизни.

Лидия Сейфуллина выступает здесь не просто как талантливый бытописатель, но как человек, лично ответственный за судьбы попавших в беду детей, и тем самым пробуждает к ним и человеческий интерес и озабоченность, тревогу за их будущее.

Эта органичность, личная причастность к изображаемому, обнаружившиеся в ее первых произведениях, станут характерной чертой и творчества Лидии Сейфуллиной, и ее человеческой, гражданской позиции. В последующих за первыми произведениями повестях «Перегной» и «Виринея» мы находим тому убедительное подтверждение.

Русская деревня и ее обитатели были всегда предметом особого внимания отечественной литературы. Щедрую дань им отдавали лучшие ее представители. В числе первых советских писателей обратилась к этой необъятной теме Лидия Сейфуллина. Изображала же она ту деревню, которую видела и знала — бурлящую, революционную, ее бедняцкие, самые широкие слои. Изображала сочувственно, отстаивая их интересы. Эта характерная черта творчества Лидии Сейфуллиной отмечалась ее современниками в 20-е годы. Прозорливо указал на нее, в частности, критик А. Воронский: «Сейфуллина,— подчеркивал он,— бытописательница не деревни вообще, суммарной, не сибирского или оренбургского мужика, а деревенской бедноты, впервые реально ощутившей свою силу. В этом ее первая особенность как художника. Она сумела сделать Софронов и Артамонов не только жизненными, правдивыми, убедительными, она приблизила их к читателю с редким умением и силой... сумела посмотреть на деревню глазами простонародной женщины, как сестра, как дочь Софронов...»[1]

Все это невозможно было осуществить без досконального знания деревни, тех процессов, которые в ней зарождались в канун Великого Октября и бурно развивались в годы гражданской войны, пробудившие к активной жизни самые широкие массы деревенского люда. Трудные, отмеченные смертельными схватками в борьбе за жизнь были эти процессы. В них не участвовали лишь единицы, социальные группы — в стране, большинство населения которой было крестьянским, они стали повсеместными и приобрели массовый характер.

Отсюда стремление писателей, изображающих в своих произведениях гражданскую войну в России, показать движение народных масс как решающей силы в революции, показать сложность, противоречивость переломных моментов в их сознании. Содержание обусловливает свои формы, предопределяет и жанры и средства выразительности, в данном

[1] Воронский А. Литературно-критические статьи. М., 1963, с. 304—305.

случае соответствующие массовому движению в борьбе за революционное преобразование деревни.

Повесть «Перегной» — это эпическое повествование об эпических событиях. Оно отличается пристальностью писательского внимания не столько к индивидуальным характерам и их психологическому анализу, сколько к картинам именно многолюдным, народным, в которых наиболее отчетливо отразились общие устремления крестьянской массы. Это, разумеется, вовсе не исключает подробных характеристик отдельных героев, носителей той или иной идеи, сторонников определенных классовых позиций и конфликтов.

Ярче других в повести выписаны вожак бедноты Софрон, кулак-начетчик Кочеров и некоторые другие, но в целом главным героем в повести является народ, все обитатели расколовшейся деревни Тамбовско-Небесновской. Повествование начинается с массовой сцены, со схода, на котором обсуждается животрепещущий вопрос: быть ли земле «ничьей», отберут ли ее у богатых и передадут ли бедным.

В бореньях обретает новую жизнь деревня, торжествуют то одни, то другие, но сила за большинством, за справедливостью.

Среди массовых сцен в повести особенно впечатляет наиболее мирная, собравшая крестьян для общего труда. Видимо, не случайно Лидия Сейфуллина из многочисленных трудовых будней деревни выбирает сенокос — спокон века любимое и красивое крестьянское дело. На какое-то время забываешь о распрях в Тамбовско-Небесновской, Интернациональной тож, кажется, и люди, уставшие от них, находят упоение в этой работе, обретают какой-то особый, обновленный покой. «Весь день, хлопотливый, горячий, ароматом с поля обвеянный, был суматошно радостен. В одно утро выборные от коммун выехали луга делить. Шумной, говорливой толпой провожали их мужики и бабы. Выстроились верховые с деревянными саженями в руках.

— Ну, инженеры, не подгадьте мерялкой-то своей.

— Чо остерегашь? Сажни-то, знать, стары, меряны.

Гикнул передний верховой, отозвались остальные: мужики, выборные от коммун, и ребятишки — добровольцы. Из-за радости буйной степной с мужиками выпросившиеся. Взбрыкнули ногами сивки, каурки, бурки и понеслись шумным отрядом в степь».

Захватывает артельная работа, и люди вроде бы становятся добрее, жизнь радостнее, кругом видно дальше. Но рядом с этой картиной деревенского сенокоса, контрастируя с ней, в повесть врывается короткая, как стихийное бедствие, сцена расправы кулаков и казаков над коммунарами, над самыми активными строителями уже налаживающейся в деревне новой жизни. Расправы дикой, звериной, беспощадной: «Уже взошло жаркое солнце, когда двадцать девять человек в поганую отвальную яму кинули. Восемь живых еще ворошились под трупами. Всех завалили землей... Дарье Софроновой брюхо выпотрошили. Младенца свиньям кинули. Семьи большевистские вырезали... Глянуло страшное лицо деревни... Иван

Лутохин, пророк небесновский, уцелел. На поле был... Когда вернулся, только нагайками поучили. Застегивая порты, он глухо сказал:

— Земля нынче хорошо родит. Большевиками унавозили».

Так заканчивается повесть. Да, поистине перегноем легли в землю люди, начинавшие новую жизнь в деревне Тамбовско-Небесновской во главе со своим неистовым вожаком Софроном. Но дело их не остановится. И не потому только, что остался в живых Иван — кровное семя Софроново. Всем своим ходом события, разыгравшиеся здесь, показывают победу кулаков как временную — процесс коренной перестройки деревни необратим. Не Софрон один стоял за это великое дело — «миром» оно решалось, «мир», большинство и доведет его до конца.

Повесть «Перегной» была, как и другие ранние вещи Лидии Сейфуллиной, опубликована в «Сибирских огнях» в том же плодотворном для писательницы и — скажем без преувеличения — для молодой советской литературы 1922 году. Вскоре после этого Лидия Николаевна переезжает в Москву, а следующее ее крупное произведение — «Виринея» публикуется уже в столичном журнале «Красная новь».

Эту повесть Л. Сейфуллина считала лучшим своим произведением. Очевидно, так оно и есть. В ней писательница сосредоточивает внимание на главной героине, ее образ наиболее психологически разработан, судьба красивой, гордой кержачки Виринеи рассматривается и показывается в тесной связи с реальными обстоятельствами, окружающими героиню.

Лидия Сейфуллина снова обращается к теме, очень ее волновавшей — теме пути в революцию простой русской женщины, которая сама, течением всей своей жизни приходит к выводу, что так, как живет она, как живут ее односельчане, дальше жить нельзя. Нужны перемены. Отсюда ее стихийный протест, выражающийся порой неуклюже, даже грубовато, по-бунтарски и нередко во вред себе.

Виринея — крепкая, сильная натура. Есть в ее характере много озорства, смелости, граничащей с удалью. Правда, положение ее особое — она не привязана семьей к хозяйству, к определенному месту, жизнь у нее по-своему вольная, терять ей, пролетарке, нечего. Но, с другой стороны, она могла бы встать на иной путь, как, скажем, ее односельчанка солдатка Анисья, которая не прочь «пошалить» в жизни, но знает при этом границы дозволенного, не способна порушить какого-никакого, но своего хозяйства.

Как человек по-своему вольный, Виринея, действительно, зачастую руководствуется в жизни лишь эмоциями, наитием. Но это только на первый взгляд. Она не так проста. Ее жизнь сложилась трудно. С ранних лет — в людях. Многое узнала, на многое насмотрелась, о многом передумала она за свою, в сущности, небольшую жизнь. Но, доходя до всего своим умом, она зато и выводы делает не опрометчивые, поступки совершает сознательно, и диктуются они ее сильной волей, да еще и сдабриваются озорством и удалью, которые часто настораживают или даже отпугивают более смирных.

Конечно, Виринея не революционерка в общепринятом смысле этого слова. На путь борьбы она выходит стихийно, как, собственно, выходили на него многие люди из ее среды, руководствуясь собственным чутьем, так же как собственным чутьем они искали и находили себе союзников на этом пути.

Виринея не опускает крыльев перед трудностями, не разочарована в жизни, хотя мало видела в ней хорошего. Вот это активное отношение к происходящему вокруг выделяет ее из окружающей среды, характеризует как натуру самостоятельную, незаурядную, способную противостоять многому и многим.

Судьба распорядилась так, что Виринея в свои двадцать лет успела побывать в городе и в деревне, в услужении у господ, в наймичках у деревенских, поработать и на строительстве железной дороги. Словом, всего насмотрелась. Грамоту книжную постигла. Книжки всякие читала. И поняла из всего этого: одно дело, когда люди говорят,— другое, когда делают. Не все, конечно, но многие. И вот этих-то, последних, хорошо научилась распознавать Виринея. Распознавать и ненавидеть, презирать, резать им в глаза правду-матку. Ее бунтарский дух часто принимает формы прямолинейные, грубоватые, но по существу она в основном бывает права, у нее очень точная реакция на людей. Многих прельщает красота Виринеи, не один «пытался Вирку для услады в прислуги нанять». Да она хорошо усвоила эти господские повадки, умеет защитить себя. Не с одного доброхота срывает она маску добропорядочности, умеет даже покуражиться над такими, вроде барина, который к Вирке «ласково, с усмешкой в усах, подсыпался».

Не сразу, а исподволь, с подвохом, пытает она барина:

«— А семейство ваше сколько человек?

— Я один, без семьи на постройке. Вам не будет тяжело.

— Какая уж там тяжесть, одна сладость выходит. А прежней-то своей стряпке сколько платили?

— У меня повар военнопленный. Да вы не беспокойтесь: я говорю, что не скуп. Ему платил десять, а...

— Мне, стало, за бабью мою плоть десятку прибавки. Эх ты, лафа бабам! Ну, я гляжу, у черного народу совесть потвердей господской. Жидка она у господ, са-авсем жидка...

— То есть, позвольте... Я не совсем вас понимаю... Как?

— Из ученых ученый, а непонятливый. Семейство у него есть, а бабугулену не для блуда, а для святости жить в свой дом зовет! Нашенскому, из черного народу, совесть не дозволит про эдако дело голосом даже таким договариваться. Вот с того и мутит меня от вас. Эх вы, господа! И в пакости — чисто в святости. Это только низкий народ грешит, а вы и в грехе спасаетесь. Я те разумытую харю твою разделаю. Навек отметины останутся! Я те приголублю, старый хрен!..»

Да, такая сцена может шокировать не только потерпевшего. Но сколько здесь контрастного: с одной стороны — высокомерного, сласто-

любивого и эгоистичного, а с другой — чувства независимости, человеческого достоинства, ненависти и презрения!

Подобных сцен в повести немало. Одни из них резче, круче, другие, как, скажем, с Анисьей, невенчаным мужем Василием и его матерью — мягче, тише. Но нигде она не поступается своей совестью, не идет на компромиссы.

Все по-иному, без резкостей и обычной для Виринеи колючести, будет у нее лишь с Павлом, человеком строгим, деловым, в сущности, добрым, многому ее научившим. Но ненадолго свела их жизнь. Компромиссов не будет и здесь — потому что им просто нет места. С Павлом Виринея встает на путь организованной и целенаправленной борьбы за то же, за что стихийно боролась она в одиночку.

Виринея с Павлом погибли от рук врагов революции, и мы можем лишь догадываться, как распрямилась бы, широко развернулась в новой жизни богатая, незаурядная натура Виринеи, потому что всем своим существом: душевным опытом, природными данными, отношением к делу, за которое боролся Павел,— она была предназначена для роли большой и важной.

Анна и Владимир в «Четырех главах», юные «правонарушители» — дети сложных, трудных революционных лет России во главе со своим другом и спасителем Мартыновым, Софрон со товарищи из «Перегноя», Виринея, Павел и их односельчане — все это люди, разными путями пришедшие или идущие в Революцию.

Пути их были разные, но всех объединяет одно — шли они вперед, стремились к новизне и справедливости, не оставались равнодушными к окружающему, боролись, порой коряво, грубо, выявляя в себе «звериное», «жестокое». И всем этим Лидия Сейфуллина отнюдь не любуется, она реально отображает то, что происходило в самых широких массах в это грозное время. Многие ее герои по неподготовленности своей не могли бы дать объективную оценку себе и своим действиям, но это могла и делала Лидия Сейфуллина, хотя находились люди, которые пытались обвинить писательницу в излишнем приятии в своих героях стихийного начала, интуитивных, незрячих действий.

В свое время, споря с эстетствующими обывателями Воронежа, современник Лидии Сейфуллиной — Андрей Платонов говорил: «Я двадцать лет проходил по земле и не встретил того, о чем вы говорите,— Красоты... Это оттого я никогда не встретил Красоты, что ее отдельной, самой по себе,— нет... Мы растем из земли, из всех ее нечистот, и все, что есть на земле, есть и на нас. Но не бойтесь, мы очистимся... Вы видите только наши заблуждения, а не можете понять, что не блуждаем мы, а ищем»[1].

Думается, что под этими словами подписались бы не только многие герои Лидии Сейфуллиной, но и она сама, по-человечески любившая их, рассказавшая о них с горячим чувством подлинного художника и гражданина, ответственного за судьбы своей Родины, своего народа, отчетливо

---

[1] Платонов А. Течение времени. М., 1971, с. 9.

понимающего суть дела, на себе испытавшего, как нелегки они, пути в эпоху новых социальных ценностей.

Революция свершилась при активной помощи героев, подобных многим сейфуллинским. Такими революция была и защищена. В России настали иные времена, возникли новые проблемы и заботы. И уже они волнуют многих писателей 20-х годов. Задумывается над ними и Лидия Сейфуллина.

В этом отношении характерна ее повесть «Кани-Кабак» (1926 г.). В ней тоже идет речь о человеке, который принимал самое активное участие в революции, был признанным партизанским командиром. Но Лидия Сейфуллина говорит об этом как о факте свершившемся, ушедшем в прошлое. Крупным же планом она показывает своего героя во времена более поздние, в канун нэпа. Как и многие убежденные большевики, Григорий Алибаев не понял этого периода в истории страны. И хотя он является председателем волостного Совета, в его действиях еще много партизанщины, стремления к анархической вольнице. В уезде он устанавливает свои порядки, на добрые советы и замечания чекиста Степаненкова Алибаев отвечает: «Мне Москва не указ. Власть на местах, за что боролись? Пускай там господам потакают, мы буржуям не потатчики. Заново брюхо отрастить не дадим, ша-а-лишь!.. У нас как постановили, так и не сменяем: мужичий верх, а не господский».

Его стихийность — особая по сравнению со стихийностью других героев Сейфуллиной. Софрона она вряд ли могла привести в стан противников, в лагерь контрреволюционеров. Алибаева же привела. И хотя он раньше других понял свою ошибку, однако факт этот сам по себе знаменательный. За него надо держать ответ. И Алибаев ответ держать будет.

В конце повести мы увидим бывшего партизанского командира личностью деградировавшей, духовно разложившейся, и это психологически обосновано. Сейфуллина по-граждански сурова со своим героем, но такая суровость оправдана — отход от революции, измена ей не могли пройти для Алибаева даром.

Повесть проникнута подлинной тревогой Лидии Сейфуллиной за судьбы революции. Пусть опасения не подтвердились, но тревога была искренней, основанной на подлинной заинтересованности большого художника и глашатая новой жизни в лучшем будущем своего народа.

Лидия Сейфуллина активно проработала в литературе более тридцати лет. На ее творчестве отразились все сложности времени первых десятилетий нашей советской истории. Но до конца дней своих она осталась верной тем революционным идеалам, которые нашли свое яркое отражение в лучших ее произведениях, посвященных революции и гражданской войне в России,— годам, поистине великим в отечественной истории, и людям, стоявшим у колыбели ее нового этапа, этапа, отмеченного ломкой старого, отжившего, несправедливого и строительством иных экономических, социальных и культурных ценностей.

Владимир Еремин

1 р. 90 к.

СОВЕТСКАЯ РОССИЯ